

Павел Сиркес ■ ТРУБА ИСХОДА

Павел Сиркес

ТРУБА ИСХОДА

Книга выходит в авторской редакции.
Спонсор — ОАО «Бутовский комбинат».

То, что произошло дальше, запечатлено в моей памяти точно снятое рапидом: застывший, с раскрытым ртом дядя, ребята, вязнущие в загустевшем летнем воздухе, и опадающая наземь женщина. Она даже вскрикнуть не успела — пуля попала в сердце.

Так в первый раз у меня на глазах убили человека, женщина была беременна — убили двоих.

После обеда Шукшин... удивил — подошел, поздоровался.

— Если не возражаете, буду ждать вас в холле.

Там, как обычно, писательский треп с перекурком. Шукшин одиноко дымит в стороне. Двинулся к нему, едва волооча ноги. Он привстал, помог усесться рядом.

— Где это тебя?

— На картине.

— И ты — тоже?.. Вот я и говорю: кино хребты ломает. А мне не верят... Статью твою принял. Посоветовал венграм вместо предисловия к моему сборнику, который готовят в Будапеште. Что у тебя за фамилия

— Сиркес?.. Латыш?

— Нет, еврей. Ты разочарован?

— Как я могу? Мой учитель — Михаил Ильич Ромм.

— Вы — писатели! — Это кричал дядька. — Вы, жида, а не писатели! Россию Америке продаете!

В следующий миг Домбровский был рядом с ним.

— Ах ты, сука, сука! — почти шептал Юрий Осипович и носком ботинка ударял его по щиколотке. — Я таких в лагере своими руками душил...

Они сцепились. Я кинулся разнимать. Дядька вонзил когти в мои запястья, орал:

— Русский человек, зачем с жидами связался?

Книга Павла Сиркеса о тех истоках, где берут начало поистине страшные процессы национальной розни, с которыми мы вплотную столкнулись сейчас. В ней — боль, но нет злобы. Нет яростных обличений и призывов к мести.

Книга эта — обвинение той системе, в которой мы жили и которая сейчас не хочет сдаваться.

Лидия Либединская

Над многим заставляет задуматься книга Павла Сиркеса. Со многим тут можно поспорить. Но есть одно бесспорное, сердцевинное достоинство в ней: стремление докопаться до истины в себе самом. Этот путь не бывает легким: радость в нем — только через горечь, горечь, горечь.

Горечь померанца.

Лев Аннинский

Павел Сиркес

ТРУБА ИСХОДА

непридуманный роман

*Еще один исполнен срок.
Опять гремит труба Исхода.*

*Елизавета Кузьмина-Караваева
(мать Мария)*

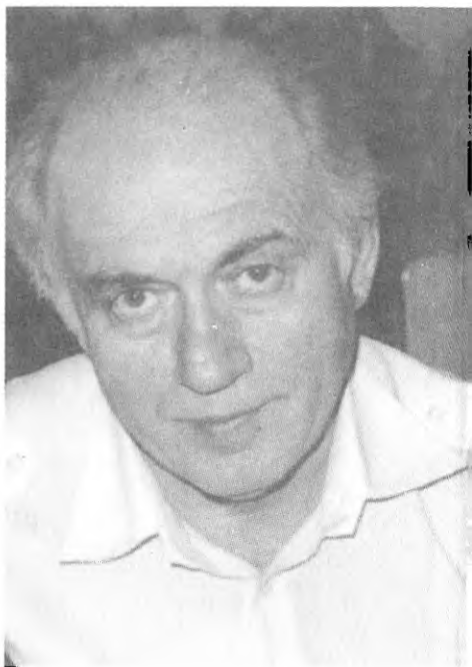
Москва,
РИФ «РОЙ»
1999



Павел Семенович Сиркес — кинодраматург и режиссер, лауреат российских и международных фестивалей. Окончил университет и Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

По его сценариям снято более 40 документальных фильмов, в их числе — «Чистого вам неба», «Люди и кони», «Лучше бы ты стал священником...» (об И.В. Сталине), «Котлован» (об Андрее Платонове), «Родина и чужбина».

Автор книги «Горечь померанца» и других.



Часть первая

ГОРЕЧЬ ПОМЕРАНЦА

Когда родилась Саша, ты спросила:

— Как запишем дочь?..

— Выйдет замуж, сама выберет, — помнишь, сказал я, — а пока пусть будет, как принято...

Ты ведь до сих пор носишь фамилию отца. Почему же усомнилась, может ли дочка, хоть до брака, оставаться на моей? Поверь, за пятьдесят с лишним лет мне ни разу не пришлось устыдиться, что принадлежу к клану Сирке. Скорее всего, мы люди простые. Затерянная в глубокой древности наша родословная никому не известна. Но в Молдавии меня не раз спрашивали:

— Вы из каких Сиркисов? Доктор Сиркис не ваш родственник?

Однажды в кино случайно оказался рядом с доктором.

— Простите, мы с вами не в родстве? — спросил у соседа. — Я ведь тоже Сиркис...

— Вашего деда звали Мойше? А прадеда? Тут мы и выяснили, что отец доктора и мой дед были двоюродные братья.

После сеанса вышли вместе. Доктор рассказал семейное предание.

Еще при турках, то есть задолго до 1812 года, когда Михаил Илларионович Кутузов Бухарестским миром хитроумно привел Бессарабию под власть русских царей, жила в Бендерах многодетная вдова, почтенная Сирке. Раньше у евреев, как и у мусульман, не приняты были фамилии. К имени человека присоединялось имя его отца, нанизывалась цепочка: Пинкус-бен-Шломо, Шломо-бен-Моше. И каждый должен был знать семь поколений. Так можно доискаться корней.

Супруг почтенной Сирке давно умер. Когда у ее отпрысков спросили, вы чьи, те ответили:

— Сиркес киндер (Сиркины дети).

Российский канцелярист решил, что первое слово — это и есть их фамилия. Так и записал. Впрочем, здесь не было единообразия. К концу прошлого века каждый из братьев деда прозывался на свой лад: один был Сирке, другой — Сиркес, третий совсем по-русски — Сиркин. У деда в паспорте значилось: Сиркис. Папа, естественно, тоже был таковым. Зато меня при выдаче метрики посчитали почему-то сыном папиного кузена Сирке.

До школы я обходился без фамилии, но пришла пора идти в первый класс, и тут отец настоял, чтобы меня числили Сиркисом.

Настало время получать паспорт. Как быть? Я вполне сознавал ответственность, которая ложится на единственного продолжателя рода. А мой тридцатилетний отец из-под деревни Кропоткино, из неведомой тогда Орловщины, взывал об обычном человеческом бессмертии, доступном каждому в детях.

Сначала я хотел уничтожить старую метрику и завести новую, правильную. Воспротивилась мама. У нее было боязливое уважение к любому документу. Мы помирились на компромиссе. Почерк у меня был переимчивый, и я попросту пририсовал в конце еще одно «с»: Сиркес — так более похоже.

И зашагал по жизни Сиркесом с ударением то на первом, то на втором слогe. И, кажется, не очень замарал эту самодельную фамилию, хотя всяко приходилось с ней...

В армии, когда мы побатарейно направлялись на учения или в столовую, старшина Драгонюк командовал:

— Ваня Сиркин, заспывай!

Старшина питал ко мне нескрываемую слабость, переноса, вероятно, на запевалу свою любовь к строевой песне.

Вечерами Драгонюк скучал.

— Ваня Сиркин, а ну, заходи до мэне у каптерку! — приглашал он, приподняв полог нашей палатки.

— Павел я, Павел Сиркес, товарищ старшина.

— Ты запомни: колы хлопец наравыться, я його Ваней алы Сашей зову. А колы нэ — Алешей чи Жорой. И шо цэ за хфамилия така — Сиркес? — удивлялся старшина. — Сиркиным будешь, раз начальство говорыть!..

В каптерке пахло сыроватым солдатским бельем и карболкой. Я усаживался на широкой табуретке, зябко поводил плечами. На них темнели беспросветные артиллерийские погоны.

Драгонюк снимал с гвоздя доброго сукна и офицерского кроя шинель и, точно бурку, набрасывал на меня, проявляя заботу о подчиненном, который справно несет службу, а заодно как бы поднимая до своего уровня: на его шинели золотые буквы: «т» — старшинские лычки, и со стороны могло показаться, что беседуют равные по званию.

— Закуривай, Ваня Сиркин, — протягивал Драгонюк пачку «Беломора».

Все вокруг смолили ядреную армейскую махорку. Папиросы были роскошью. Но я и тогда не курил, и потому отказывался.

— Знаю, что не занимаешься. И правильно робиш. Цэ для голоса добре. А колы начальство угощает, за честь должон считать. — Потом Драгонюк на своем суржике долго втолковывал мне, как надо жить на белом свете.

Кормили нас плохо. Даже скудный харч студента, перебивающегося, как я, на стипендию, выигрывал перед лагерным рационом. Под конец сборов, а продолжались они тридцать дней, совсем стало невоготу. Зарядили дожди. Столовая под открытым небом. Не успеваешь выхлебать жидкую баланду: сверху натекает быстрее.

— В последний раз ем эту гадость! — зарекался однажды за обедом.

— Так ведь не выдержишь, — подначил кто-то из ребят.

— А как же политические заключенные?..

В тот же день Драгонюк заглянул в палатку во время «мертвого часа».

— Сиркес или как тебя там?.. — В этом было что-то новое.

Едва переступили порог каптерки, Драгонюк обрушился на меня:

— Так твою разэтак!!! Какие заключенные объявляли голодовки?..

— Политические.

— Где, мать-перемать?.. — визжал старшина, срывая натренированный голос свержсрочника.

— В царских острогах, в румынских королевских застенках, а также в тюрьмах современного капиталистического Запада. — В моем ответе не было и тени юмора.

— То-то же! — облегченно вздохнул Драгонюк. — Болтают черт знает что, а доведись — дойдет до СМЕРШа?..

— Чего ждять, пока дойдет?.. Доложите. Только вам не поверят. Начальник парткомиссии армии полковник Холмин * знает меня лично...

— Як же, вспомнит вин тэбэ!.. И оком не моргнэ — виткажеться! — Украинские слова были знаком, что он помягчел.

Ссылаясь на полковника Холмина, я и вправду верил, что «доведись до чего», тот меня защитит.

Братья Холмины появились у нас в сорок девятом году. Младший, Виктор, стал учиться в моем, девятом классе, старший, Станислав, — в десятом.

Елена Николаевна Холмина, полковница, по активности природы очень скоро запредседательствовала в школьном родительском комитете. Я тогда был комсомольским секретарем. Поневоле приходилось вместе с Еленой Николаевной заниматься общественными делами.

Подружился я и с братьями. Они часто приглашали меня к себе. Я стеснялся к ним ходить. Стеснялся своей одежки — перелицованного румынского кителя и растоптанных солдатских сапог. Ну, кирзу заодно с портянками можно было сбросить в передней, напялив хозяйские шлепанцы. Китель же надевался прямо на нижнюю бязевую рубаху — его не снимешь.

Елена Николаевна заметила мое смущение и тайком, вкуче с другой полковницей, принесла матери вполне добротные галифе и гимнастерку. Другая полковница понадобилась потому, что форма с Холмина была бы мне мала, — к девятому классу я вымахал с коломенскую версту.

Председательница родительского комитета на том не успокоилась. Я был идеальным объектом для благотворительности: сын погибшего офицера, отличник и комсомольский секретарь. Мама получала на нас, троих детей, пенсию в триста шестьдесят плюс так называемая хлебная надбавка — еще шестьдесят. В поликлинике ей, регистратору, платили те же триста шестьдесят. Все понимали, что на такие деньги жить нельзя.

* Фамилии некоторых персонажей изменены.

Так вот, Елена Николаевна не успокоилась, пока ее комитет не справил мне костюм, телогрейку и демисезонное пальто. Телогрейка была сшита потому, что заказ на пальто срочно выполнить в мастерской не взялись, и когда грянули морозы, я снова, теперь поверх советской гимнастерки, надевал китель румынской королевской армии. Потом dospело и пальто. Я проносил его все студенческие годы, благодарно вспоминал Елену Николаевну и наш родительский комитет.

Человек, на которого изливаешь столько доброты, становится безразличен. Елена Николаевна, видимо, ко мне привязалась. Я обрелся уже в Кишиневском университете, на втором курсе. Однажды вызвали в деканат и сказали, что звонила товарищ Холмина — вот телефон, адрес, должно быть, что-то срочное...

Не знал, что полковник получил новое назначение, и они с Еленой Николаевной переехали в молдавскую столицу. Стасик учился в Саратове, Витя — в Москве. Затосковала ли Елена Николаевна без сыновей или в самом деле по мне соскучилась? Наверное, и то и другое. Я снова стал бывать у Холминых.

Теперь Елена Николаевна не ограничивалась тем, что кормила меня до отвала, заготавливала бутерброды впрок, запихивая их в карманы того самого пальто. Нередко находил под свертком пятерку, а то и две. И так уж устроен человек — мне легко удавалось убедить себя, будто обнаружили завалившиеся деньги.

Мы с Еленой Николаевной любили гонять чай. Порой она рассказывала о свежих кишиневских впечатлениях, из врожденного артистизма изображая, как малограмотная соседка-еврейка коверкает русскую речь. Получалось довольно натурально, можно бы и посмеяться, но меня это лицедейство отчего-то корбило. Заметив мою реакцию, Елена Николаевна возмущалась:

— И не стыдно, Павка! Ты же знаешь, как я отношусь к евреям. А уж тебя это и вовсе не касается. Никакой ты не еврей! Ну, что в тебе еврейского?

Я охотно соглашался, что, да, еврейского во мне, наверно, немного, раз все в один голос твердят: «Не похож нисколько». То хорошо — разговор на еврейские темы засим прекращался.

Спустя годы и ты внушала:

— Тут что-то не так. Согрешила какая-нибудь из твоих прародительниц... Мама-то курносая, светлоглазая. Неужели не случалось в вашем роду смешанных браков?..

Нет, ничего подобного не донесли семейные предания. Я мог бы, конечно, отшутиться, дескать, нечто такое и вправду приключилось с кем-то из прабабок — невелик навет, старушка бы снесла. А то мог бы последовать примеру сослуживца: у него отец был евреем, так всех уверял, что мать его прижила...

Однажды я забежал к Холминым, а те принимают командующего армией с супругой.

— Заходи, заходи, — обрадовался полковник. — Сын приемный, — представил меня Алексей Алексеевич.

Сын приемный... Захотел бы — и фамилию сменил и все остальное...

Помнишь тот телефонный звонок?

— Здравствуйте, говорит поэт Осип Колычев. Извините за странный вопрос — мы с вами не родственники? Колычев — псевдоним. А вообще-то я Сиркес. Вы родом откуда?

— Из Молдавии.

— А деда своего помните? Как его звали?

— Моисей.

— Точно. Выходит ваш дед и мой отец — двоюродные братья. Я прочитал в «Литгазете» фельетон «Бумажный кирпич». Подпись — Павел Сиркес. Уж не родственник ли объявился? Гены, знаете... Отец ведь был известнейшим в Одессе фельетонистом. Печатался и в петербургских журналах — в «Осколках», «Будильнике», где и Чехов...

— Очень интересно!

— Приезжайте как-нибудь. Со мной живет сестра. Она старше и все отлично помнит.

Так и не довелось побывать у Колычевых. Осип Яковлевич вскоре умер. А его сына видел в театре имени Ленинского комсомола. В программе значилось: заслуженный артист Юрий Колычев.

В «Словаре русских псевдонимов» отыскал и отца и деда артиста. Отец взял фамилию боярского рода, истребленного Иваном Грозным. Дед выступал в прессе чаще всего как Сириус. И только свою, кровную, не захотел никто. А ведь с нашей жить еще можно.

— Что это у вас за фамилия? — иногда спрашивают. Вот и отбреживаешься:

— Бог его знает! Может, испанская, как Веласкес, Маркес, а, может, греческая.

Но задающие такие вопросы обычно не отступаются:

— Нации-то вы какой будете?

Каково, однако, Берману, Шейну или Нусману? И появляются Медведев, Красов и Орехов. И Михаил Бубеннов призывает: «Раскроем псевдонимы!»

Константин Симонов ему возразил: нет, зачем же, каждый волен подписывать свои произведения, как считает нужным.

Симонову незачем прятаться за псевдонимом. И если из Кирилла стал Константином, то, вероятно, потому, что отмечен был дворянской картавостью. Впрочем, шофер его тестя, генерала армии Жадова, уверял меня:

— Еврей Константин Михайлович. Я и мать ихнюю видел — вылитая еврейка...

Это княжна-то Оболенская.

С самим же генералом Жадовым связана такая вот история.

Алексей Семенович происходил из крестьян Орловской губернии. А с фамилией вышла незадача: исконно русские люди, но Жидовы. Как бы там ни было, в армию Алексей Семенович ушел Жидовым. И честно служил, и дослужился до генерал-майора.

После Сталинградской битвы готовился победный приказ Верховного. Приносит командующий фронтом Рокоссовский проект Сталину. Тот увидел Жидова среди отличившихся и заартачился — не хочет подписывать.

— Что тут сделаешь, Иосиф Виссарионович, — это же фамилия?

— Что хотите, то и делайте.

Рокоссовский на свой страх и риск перерисовал «и» в «а». Командующий 66-й стал Жадовым, а армия 5-й гвардейской.

Но от подозрений Мехлиса генерал не избавился. Лев Захарович, приехав к нему, погорлопанствовал всласть, чем особенно и славился, а напоследок выговорил командарму:

— Слишком много у тебя евреев в политотделе и редакции! — Чуткий Мехлис угадал настроение Хозяина.

— С делом люди справляются. Куда же девать?

— В батальоны, в роты пусть идут политработниками, на передовую!

Услышав от меня рассказ Жадова, бывший главный редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (Вадимов) подтвердил, что такое вполне могло быть.

В сорок третьем году его самого вызвал начальник ГлавПУРа РККА Щербаков:

— В «Красной звезде» слишком много евреев!

— Уже стало на десять меньше, — ответил Ортенберг и протянул список убитых корреспондентов.

Ортенберг убежден, что даже решительный Щербаков не взял бы на себя инициативы в таком вопросе без прямого указания Сталина.

При рождении меня нарекли в честь дяди, убитого петлюровцами. Этот дядя считался гордостью семьи. Говорят, он и образованностью всех превзошел — закончил ешибот и русскую гимназию, стихи писал по-древнееврейски, был красивым и благонравным.

Петлюровцы ломились в жидовскую хату, «яка була краше иньших на вулиці», — спешили поживиться пархатым добром. Дверь не отпирали. Борцы за самостийну Украину стучали прикладами, кричали. Один от нетерпения стрельнул. Пуля попала дяде в сердце. Дядя женился всего три месяца назад. Его молодая жена была беременна.

У евреев существует обычай называть новорожденных именами дорогих покойников, как бы продлевая их жизнь. Мы с тобой и Сашеньке не выбирали имени — хотели почтить твоего отца.

Видимо, дядя Пинкус, Пиня в обиходе, был действительно замечательным человеком, если по нему назвали не только дочь, которая

вскоре народилась, но и меня через четырнадцать лет, и моего двоюродного брата Павла Манделя, через тридцать.

Сызмалу кликали Павликом, Пашей, потом Павлом — так сказать, русская аналогия Пини, он же — Пинехас, кстати, имя древнеегипетское.

Следующий брат отца — Хаим, в отличие от дяди Пини, учиться не желал ни по-еврейски, ни по-русски. И стихов поэтому не писал. Поэзией Хаима были кони.

Это трудно объяснить, но почти все дедовы отпрыски мужеска пола оказались поражены бациллой лошадиного. Как будто Мойше Сиркис был не добропорядочным купцом, торговцем кожей и изделиями из нее, а, прости Господи, цыганом.

Бабушка Идис вышла за деда, когда тот остался вдовцом с двумя дочками на руках, лишь потому, что была сражена величавостью его осанки и благородством манер. Так вот, одержимость трех своих мальчиков конюшней (кроме Хаима там пропадали Лейзер и маленький Шлоймеле) бабушка истолковывала тем, что призванный торговыми делами муж, скитаясь по дорогам в поисках товара, вдосталь нагляделся на конские хвосты.

Недоброжелатели брак Идис и Мойше считали мезальянсом. Не в имущественном смысле. Купец был заможнее своего тестя, провизора. Но о такой ли участи мечтал он для дочери, которая после гимназии почти как француженка жила в гувернантках у крупного арендатора? В уважаемом семействе провизора никто, естественно, не водился с лошадьми. Значит, без сомнения, причиной, что внуки метили в балагулы, а по-русски — в кучера, был какой-то дефект по линии зятя.

Хаим и Лейзер, предчувствие не обмануло провизора, действительно, стали балагулами. И всю свою долгую жизнь пребывали в этом замечательном состоянии. Мой отец избежал такой судьбы, благодаря бабушкиной хитрости. Надежды выгнать из лошадиного уже укоренившихся в нем старших сыновей не было никакой. И тогда Идис крепко задумалась о будущем младшего. Что же она сообразила? Купила мизинчику голубей, здраво рассудив, что победить любовь может только страсть.

Очень скоро мизинчик заделался ярим голубятником. На конюшню, а она находилась рядом, времени теперь не оставалось.

Расчет бабушки строился на том, что увлечение голубями должно с годами ослабевать. Если же, паче чаяния, этого не произойдет, профессионально подобным делом заниматься как будто нельзя...

Ослабленное голубиной охотой лошадиничество отца все-таки давало знать о себе даже через много лет. Помню, у него была верховая лошадь, когда строил укрепления на Днестре. Папа иногда приезжал на ней домой. Мне было три года. До сих пор чую головокружительный запах конского пота и дубленой седельной кожи.

Наверно, это раннее впечатление взбодрило дремавшие гены. Гос-тя после войны у дяди Хаима в приднестровской Рыбнице, как любил я возиться с его жеребчиком Мишкой! По утрам переплывал вер-

хом на остров. Мишка пощипывал травку, а я читал, укрывшись в тени раки. Сколько раз, носясь по отмели охлюпкой, легел через голову Мишки. Лишь сыпучий песок спасал — не то быть бы калекой.

Дядя Хаим, глядя на мои синяки, рассказывал, как папа в таком же, примерно, возрасте решил подзаработать, взял у него телегу, лошадей и нанялся возить сахар с рыбницкого завода. Время было тревожное. По округе рыскали бандиты. Как-то раз, под вечер, на пустынном шляху появилось двое всадников.

— Стой!

Испуганный подросток принялся стегать коней и в запале обронил вожжи. Соскочил с передка, стал лихорадочно распутывать ремни. Разгоряченная кобылица лягнула, да так, что он, обезумев от боли, прыгнул ей на спину и вцепился зубами в ухо. Безумие точно передалось кобылице. Та рванула, увлекая и мерина. От погони удалось уйти. Не помнил, как добрался до братова подворья. Хаим ножом разжал окровавленные челюсти...

Слушая рассказ дяди, я припомнил, что у отца сзади на голове была заметная вмятина.

— Ты мне еще як-нибудь пару коний купыш — батькин долг вернешь, — закончил дядя Хаим.

— Долг?..

— Та шуткую! — Дядя изъяснялся на смешанном русско-украинском наречии, распространенном в левобережном Приднестровье. Он почему-то предпочитал его и еврейскому языку, и даже молдавскому, которым владел лучше, чем родным.

— Нет уж, говорите, если начали..

— Втопыв вин пару конив. Переправляясь через ерик у ледохид и втопыв. Добре, що сам не пийшов пид крыгу...

Вообще-то он не очень был словоохотлив, дядя. Лишь иногда, за выпивкой удавалось его разговорить.

Впервые я увидел Хаима в тридцать седьмом, когда папа попал за колючку — строил Рыбинское водохранилище под Москвой. Дядя приехал за мной к деду с материнской стороны в Дубоссары. Там я провел лето и осень. А на зиму папина родня решила взять меня к себе, принимая свою долю забот о сироте при живом отце.

В Дубоссарах мы сходили с Хаимом в лавку. Он купил мне ботинки со скользкими блестящими подошвами. Жаль было обувать — ведь пропадет глянец... Пять рублей на личные расходы каким-то образом были связаны для дяди с моими годами, потому что он сказал:

— Подрастешь — больше получишь.

В Рыбнице я был отдан попечению тети Лизы. С дядей жить не мог. Он ведь вдовец. Хозяйство кое-как везет четырнадцатилетняя дочка Хаюся. А есть еще и младшая — Беллочка.

У дяди, несмотря на холодноватую запустелость его дома, было вольготнее, и я туда часто сбегал. Приходила бабушка Идис, чтобы испечь

хлеба. Доставала муку из ларя, замешивала, ставила тесто. Дядя Хаим тем временем приносил замерзшие, в искорках дрова, растапливал русскую печь—ойвн. У евреев, оказывается, для нее есть особое слово.

Когда огонь разгорался, бабушка задвигала в очаг большой казан с водой, — у нас говорят казан, а не чугу́н. От турок, наверно, осталось. Я стыдился тети Лизы — купать себя позволял только бабушке, потому мой банный день благоухал опарой и свежее испеченным хлебом.

Бабушка выгробала жар и золу. Прежде, чем посадить формы на горячий под, что-то таинственно шептала, перебрасывая с ладошки на ладошку тлеющий уголек. Начитавшись первых своих книжек, что двоюродные сестры носили мне из библиотеки, я жил в сказочном мире и воображал, будто моя бабушка — добрая колдунья и знает какие-то магические заклинания. Лишь через много лет тетя Лиза объяснила: бабушка молилась, благодарила Господа за ниспослание нам пищи земной.

Потом было купанье за припечком в большой дубовой лохани. А тут попевал и хлеб. Формы доставал дядя Хаим деревянной лопатой с длиннющим черенком. Горячий каравай приятно хрустел под острым ножом. Каждый из домашних получал пухлый ломоть. Мы с Хаюсей и Беллочкой смеясь щипали румяную теплую корочку.

Таковыми, веселыми и хохочущими, и запомнились: одна черноглаз-ка, а другая — голубоокая.

В тридцать девятом я снова был в Рыбнице, теперь с отцом — мы приехали на похороны бабушки. Отца только что досрочно освободили из лагеря. Он ушел в хлопоты, — заново надо налаживать жизнь, — и прособирался навестить живую мать. Тогда-то в первый раз и увидел, что папа умеет плакать...

Мы провели несколько дней в ба́шке, — так в Молдавии называют полуподвальное жилье, — где дед с бабушкой поселились после переезда из Дубоссар. Дети их были против «этого погребя». Дед же после потери имущества в годы революции и гражданской смуты ударился в религию, а в ба́шке, считал он, неприметнее, в ней вместо синагоги смогут собираться верующие.

В самом деле, каждое утро к нам приходили девять стариков. Облечившись в покрывала талэс и намотав на запястья ремешки твылн, они подолгу хором выводили печальные псалмы. Оказывается, есть молитвы, которые нужно творить вдесятером, иначе тугоухий еврейский Бог их не услышит...

Наверно, на один из дней выпал пост — йомкипур, потому что взрослые ничего не ели. Мне же дедушка дал краюху черствого хлеба. Я макал его в подсолнечное масло с мелко накрошенным луком. Всемогущий Ягве должен был с этим смириться, учтя мой нежный безгрешный возраст.

Дядя Хаим успел привести в дом жену. Когда я вырос, он как-то мне сказал, что выбирал мать дочкам. Новая хозяйка оказалась доб-

рой и заботливой женщиной. И к великой радости дяди родила ему сына. Недаром существует примета, что накануне войны рождаются мальчики...

Призвали Хаима в первый же день, двадцать второго июня. Необученного, необстрелянного бросили в пекло. Он и пообвыкнуться не успел — полк окружили немцы.

Тут не было выбора: еврей — получай пулю.

Внешность у Хаима такая, что и за украинца сойдет, и за молдаванина. Молдаване объявлены подданными Румынии, союзницы Гитлера. Дядя решил выдать себя за молдаванина. Ну, а станут проверять? У него был друг в селе Жура — Николай Вырлан, которого репрессировали в тридцать седьмом. Назвался его именем. Пошлют запрос в сельскую примарию, оттуда ответят: да, был Вырлан, пострадал от советов. Так оно и лучше...

После сортировки пленных дядю с группой подлинных молдаван передали румынским властям. Но прежде немцы устроили всем наружный осмотр. Что спасло Хаима? Нерадивость мойла, который обрезал ему крайнюю плоть? Или, может, фашисты установили, что так и должен выглядеть член у пожилого человека? Бог знает. Однако, пронесло.

Лагерь находился под Тимишоарой. Окрестные помещики — крестьяне были мобилизованы в армию — быстро смекнули, что пленные — это очень дешевая, дармовая рабочая сила, нужно договориться только со сребролюбивыми соратниками Антонеску. Ведь сам диктатор, не считаясь с Женевской конвенцией, одобрял эксплуатацию заключенных.

Дядя Хаим с двумя товарищами попал в обширное поместье. Владелец относился к ним терпимо, точно они обыкновенные батраки. Приглядевшись, выделил Николая, угадал дельного человека, знающего толк в хозяйстве и особенно в лошадях. Его назначили старшим на конюшню. Ну, не длань ли какого-то доброго ангела влекла его туда с детства?..

Иногда посылали за пределы помещичьих владений, например, покупать на ярмарке фураж. По врожденной склонности дядя вел расчеты с неукоснительной честностью. Как-то после упрямого торга выгадал на овсе изрядную сумму и возвратил хозяину. Тот удивился, сказал:

— Это твои деньги. Они тебе еще пригодятся...

Отныне Николай пользовался его полным доверием. Однажды позвали к боярыне.

— Садись. Не забыл?.. Сегодня ведь праздник. А по такому случаю не мешает и выпить, — говорила помещица, наполняя цуйкой рюмки. — Лэхаим!

Он оторопел. Где тут было вспомнить, что «лэхаим» по-древнееврейски означает «за здоровье»?.. И первого слога не расслышал: узнали его настоящее имя! Вот она, смерть...

— Не губите, госпожа!

— Я давно поняла, что ты не тот, за кого себя выдаешь, — сказала боярыня. — Еврейское сердце почувствовало. Я ведь еврейка, но здесь об этом и не догадываются. Тебя выдали глаза — в них скорбь нашего народа.

Шел сорок четвертый год. Наступающая Красная Армия приближалась к Румынии. Хаим начал готовиться к побегу. Осторожно, исподволь выведывал, какое настроение у товарищей — если уходить, то вместе.

— При сильном ветре доносит артиллерийскую канонаду... Что думаешь делать? — спросил у Петри, пожилого мрачного молдаванина.

— А ты?

— К своим надо подаваться... У меня собрано немного денег — на дорогу хватит...

— Прости, Николай! — упал на колени Петря. — Грешен перед тобой. Я о твоих деньгах узнал давно и подбивал напарника: давай, уьем боярского прихвостня, заберем леи — и к нашим. Прости, друг!

Через несколько дней Николая потребовал к себе помещик.

— Русские близко. Здесь вам нельзя оставаться. Бери кэруцу, коней, я дам бумагу, будто едете по делам усадьбы — и с Богом. Пробирайтесь навстречу советам.

Пленные вышли к своим где-то под Яссами. Их допросили — кто да откуда и зачислили в строй.

Дядя пробыл в действующей армии до конца войны. Теперь-то он нем и вспомнил уполномоченный контрразведки: еврей, а уцелел, как? И очутился Хаим в фильтрационном лагере, откуда его послали на строительство Волго-Дона. Домой в Рыбницу он вернулся в конце сорок седьмого. И лишь тогда услышал о детях и жене.

Рыбницкая наша родня — семьи дяди Хаима и тети Лизы (тетя, ее хромой муж — одна нога короче другой на девятнадцать сантиметров, а покалечило его еще в юности на разработках известняка, шестилетняя дочка) и дед Моисей эвакуировались на подводе. Ехали днем и ночью. Добрались до Днепра. Мост был запружен беженцами и отступающими войсками. Фашисты сбросили десант, перерезали дорогу. Наши очутились на оккупированной территории. Им, как и остальным гражданским, приказали отправиться по месту жительства — там разберутся.

Двинулись в обратный путь. Было голодно. Кормились позабытыми в поле початками кукурузы, невыкопанной свеклой.

В Дубоссарах ретивый румынский жандарм задержал деда, приняв его за раввина. Раввинов почему-то отделяли от паствы.

Потом дубоссарские знакомые рассказали о деде. Его зачем-то водили по улочкам местечка, где он увидел белый свет, где прошла большая часть девяностолетней жизни, где вел честную торговлю с крестья-

янами окрестных сел, где родил многочисленных детей и нянчил внуков. Старика водили по улицам, а он не понимал, чего от него хотят.

Расстреляли дедушку надо рвом, в котором, как подсчитали после войны, свалено восемь тысяч евреев. Памятника там нет и до сих пор.

В Рыбнице наши узнали, что евреям надлежит селиться в гетто — для этого огородили колючей проволокой несколько кварталов. Здесь негде было работать. Люди перебивались тем, что, рискуя жизнью, удавалось выменять на вещи у приезжающих в городок молдаван. Отовсюду ползли слухи о массовых расстрелах. Румынский комендант требовал хабара, то есть взятки, якобы для откупа немецким карателям.

Нервное напряжение было чрезмерным. Жена дяди Хаима подавалась тайком с детьми в село Жура, надеясь укрыться у друзей мужа. Тетя Лиза, фаталистка по натуре, удерживала ее, доказывала: чему быть, того не миновать, разлучаться нельзя да и легче всем вместе. Удержать невестку не удалось...

Кто, по какому побуждению, из какой корысти выдал несчастных моих близких, не известно. И ходит по земле неопознанный. Жура видела, как фашисты повели на берег Днестра истерзанных девушек и женщину с маленьким сыном на руках. По свидетельству сельчан, перед казнью палачи при матери надругались над дочками.

Как же долго я не догадывался, что принадлежу к гонимому, преследуемому, обреченному на пытки и смерть племени!

Дядя Хаим надеялся. Он надеялся в плену, на фронте и в советском лагере. Как не умер, когда узнал о своих, Бог ведает... Несколькими годами дядя был точно не в себе.

Тут родные вспомнили о древнем еврейском обычае, по которому свободный от брачных уз мужчина брал в жены вдову брата, чтобы печься о его детях. Так, думали родные, удастся спасти Хаима. Деликатно намекнули маме. Но слишком все свежо было... Да и далеко-то мы убрели.

А дядя Хаим выстоял. Со временем привел в дом женщину. Она родила сына и дочь. И осталось от него четверо внуков.

Не поверишь, помню себя с двух лет. И помню, что в нашей семье всегда говорили по-русски. Лишь иногда родители переходили на невнятный язык. Я считал, что у них есть своя речь для сокрытия взрослых тайн.

Случалось, мама ласково называла меня какими-то непонятными словами... Впрочем, смысл проясняли интонации, взгляд, жест. Я не разумел, что мы не такие, как все. Во дворе жило много семей, подобных нашей. Мы, дети, сознавали себя советскими. Других не было вокруг.

Племянник Андрюша в таком возрасте ощущал себя уже совсем по-иному. Дед, Андрей Дементьевич, долго ему внушал, что он украинец. Отставной подполковник — добрейшей души человек в по-

хвалу своей снохе Иде говорит с придыханием: «Ах ты, мое жидэня!» Но внук его, считает Андрей Дементьевич, должен и сознавать себя и быть щирым украинцем.

Андрюша поверил деду и заявил в детском саду:

— Я украинец.

— Какой же ты украинец, если у тебя мать — еврейка? — возразила правдолюбивая воспитательница. Андрюша стал допытываться у деда:

— Ты зачем меня обманул?

— Я сказал — украинец, значит, ты — украинец! — отрезал Андрей Дементьевич

И Саша сызмалу прекрасно разбиралась во всем этаким. А помнишь, наша второклассница вернулась из школы возбужденная и рассказала об учительнице, которая спросила на уроке у ребят, знают ли, что происходит на Ближнем Востоке. Восьмилетние международники отвечали: да, конечно, там война.

— А кто с кем воюет? — Бывшая сержантка батальона аэродромного обслуживания поднаторела в педагогике.

— Арабы с Израилем! — хором выкрикивали дети.

— А кто за кого болеет? — не унималась учительница.

Все болели за арабов. Лишь одна девочка оказалась на стороне Израйля.

— Вон из класса! — напустилась учительница на юную сионистку, кстати, совсем не еврейского происхождения. — И не приходи без родителей...

Случайно свидетелем этой сцены оказался директор школы. Он проявил сдержанность — не прореагировал.

Поднял руку Слава Троссман, отличник и примерный октябренок.

— Тебе чего, Троссман? — недовольно спросила учительница.

— Я тоже болею за арабов, — сказал Слава, — но я должен защищать маленьких ребят.

Через день или два меня пригласили на родительское собрание. Выступали и отцы и матери. Но никто не коснулся происшествия во втором «а». Промолчал и я — как бы не отразилось на ребенке.

— Вы думаете, мне не известны ваши домашние разговоры? — Учительница пронизательно смотрела на нас, скрючившихся за партами-недомерками. — Дети — они, как стеклышки. Через них все видно...

Родители виновато цепенели в ответ. Немудрено, что Саша стала специалисткой по национальному вопросу и большой дипломаткой.

Случай с няней.

— Есть-то что будешь? — спросила та у Саши, вернувшейся из школы.

— Съела бы кусочек курицы, — сказала дочка, которая накануне помогала матери готовить обед на завтра.

— Ишь, курочки захотела, точно еврейка какая-то! — пошутила няня, но Саша не поняла такого юмора.

— У меня дедушка был еврей.

— Это какой дедушка?..

— У меня оба дедушки были евреи.

Потом дочка делилась с родителями:

— Тут я почувствовала, что няне это почему-то не понравилось.

— Ну, и ты?..

— Что тут скажешь?.. Но вдруг догадалась: «Здорово я вас разыграла?»

Как-то мы были в писательской поликлинике. Ровесница—полукровка, услышав Сашину фамилию, спросила:

— Ты кто, еврейка?

— А у тебя дома какие растения? — как в еврейском анекдоте, вопросом на вопрос ответила сообразительная третьеклассница.

Вот он, подлинный интернационализм!.. В следующем поколении.

Отца арестовали, а я был увезен в Дубоссары к бабушке и дедушке с материнской стороны. В Дубоссарах-то вдруг и обнаружилось, что тамошние мои сверстники знают тот самый взрослый язык, причем, усвоили его не из желания проникнуть в секреты родителей — эти дети просто не умели говорить по-иному. Когда впервые вышел погулять и обратился к соседскому мальчику, бабушке пришлось переводить меня. Переводила она через пень колоду, потому что до конца своих дней так и не научилась сносно изъясняться по-русски. На ее перлах — «я чуть сама с горы не сошла» (я чуть с ума не сошла от горя), «дай Бог всем такого зада» (такого зятя — о моем отце) оттачивали свое остроумие и дети и внуки.

Должно быть, нет лучшей языковой школы, чем ребячья болтовня. Очень скоро я уже понимал идиш. Диалект, или жаргон, был в ходу у жителей местечка. Немало встречалось молдаван, украинцев, русских и даже цыган, которые живя бок о бок с евреями усваивали их момы лушн, то есть материнскую речь.

Дубоссары были типичным еврейским местечком. Такими они стали задолго до того, как царское правительство объявило о черте оседлости. Как, с какими остановками на тысячелетних путях рассеяния предки дубоссарских евреев прибывали к днестровскому берегу, установить, вероятно, невозможно. Видать, в своих странствиях не миновали Германии — отсюда и их язык, и схожие с немецкими фамилии.

Мои пращуры жили здесь с незапамятных времен — ремесленники, которые обменивались с крестьянами результатами личного труда, торговцы, служившие посредниками между первыми и вторыми и доставлявшие товары со стороны.

Исаак Бабель писал о типе «южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино». Этот тип сложился в силу особых обстоятельств. В благословенной земле отошли душевно, распрямились физически беглецы от инквизиции и феодалов, бывшие

затворники средневековых европейских гетто. Коренное население относилось к пришельцам хорошо, потому что нуждалось в их мастерстве и коммерческой сметке и вследствие обычной своей терпимости, вызванной привычкой к вавилонскому смешению языков в краю, где издавна находилось место сынам многих народов. Крушеван еще впереди...

Сделавшись подданными Российской империи, ищущей выхода к полуденным морям, наши евреи сохранили присущие им черты.

Ну, а вообще, откуда в России евреи? В исконных русских пределах их вроде никогда и не бывало. Под скипетр царей они попадали вместе с приобретенными территориями — бывшими областями Польши и Прибалтики, Украины и Молдавии, Бессарабии и Закавказья. Потом — и Средней Азии. Еще при Петре Первом сын толмача посольского приказа Шафиров, вице-канцлер, был единственным известным евреем в Московии.

Несколько лет назад дачная хозяйка растапливала печь ветхими журналами. Я выпросил у нее стопочку книжек. Среди них оказался и один из номеров «Еврейской старины» за 1909-й, кажется, год. Большая часть публикаций была посвящена призыванию евреев в Россию. Не исключено, что в этом печатном органе вопрос освещался тенденциозно. Но приводились документы, они доказывали: Екатерина Вторая обращалась к рижской, к некоторым прусским и другим еврейским общинам с предложениями выделить семьи, желающие переселиться в ее владения. Императрица обещала всяческие льготы и привилегии.

Льготы и привилегии сохранялись недолго и постепенно приняли весьма своеобразный характер. Уже в период новейшей истории евреи испытали здесь всевозможные унижения, подверглись ограничениям и запретам: вместо гетто была черта оседлости, погромы устраивались время от времени, а нравственные издевательства не прекращались никогда. Вот почему из евреев рекрутировалось столько противников режима. Вот почему им довелось сыграть заметную роль в свержении царизма.

Энгельс указывал, что антисемитизм есть признак отсталой культуры и потому встречается лишь в России и Австро-Венгрии. Австро-Венгрия распалась. Уничтожено еврейское население составлявших эту империю стран. Россия стала Советским Союзом. Кажется, должен бы умереть антисемитизм?..

Да, я сберег память о евреях юга, сильных и жизнелюбивых.

Второй дед, Нухим, в молодости кузнечил. Он отличался необыкновенной физической мощью. И состоял в отряде еврейской самообороны, когда разразились погромы. Говорят, дед на спор мог согнуть тремя пальцами серебряный полтинник.

Отправившись в деревню на заработки, Нухим провалился в полынью, застудился и, мучимый астмой, вынужден был сменить про-

фессию. Стал столярничать. И всех сыновей, а было их четверо, с малых лет приучал. Так и трудились они семейной артелью.

Этот дед любил строить. Сооружая жилища для других, он мечтал возвести дом и для себя. Его мечта сбылась поздно, когда выросли дети, — с их помощью. И сейчас можно увидеть в Дубоссарах каменный особняк, где на парадных дверях дед собственноручно вырезал свои инициалы — Н. К. — Нухим Кацевман.

В строительстве дома участвовал и мой отец, причем, он помогал не просто как зять — тестю. Отношения у них были давние и сложные...

Своевременно перешибив лошадиничество младшего сына голубями, бабушка Идис — нужда навалилась — в пятнадцать лет отвела его учеником к соседу-столяру. В прежние времена такая карьера была бы немыслима для купеческого отпрыска, но экспроприированные отцовы старики смирили гордыню. По местечковой иерархии быть столяром считалось не так уж плохо. Портной и сапожник — вот кто стояли в самом низу ремесленной пирамиды.

Значит, занятие — не из последних. А семья, куда отдавала она сына, слыла хорошей. Это для бабушки Идис было очень важно. Но как очень скоро выяснилось, в семье и таились неожиданности. У Нухима-столяра подрастали три дочери. В среднюю, Хану, отец влюбился с первого, как говорится, взгляда. Неужели не видел прежде соседской девчонки? Видел, да только теперь вдруг понял, что это она... Хане недавно исполнилось тринадцать лет. Высокая и стройная, она казалась совсем взрослой. А уж красивая — слов нет... И кровь с молоком. Ходила в еврейскую семилетку, дружила с одноклассниками и, казалось, даже не заметила, что у отца появился подмастерье...

Уже старенькая мама мне призналась как-то, что и ей он понравился сразу же, хотя жутко его боялась: голубятник, оседлал маковку церкви — полез за яйцами сизарей.

Однажды подмастерье ни с того, ни с сего побил самого назойливого из школяров, провожавших Хану после уроков, и таким образом обнаружил тайное чувство. Деда столь оригинальное проявление любви к дочери вывело из себя. Не хотелось ему терять способного и работающего помощника, но крутой был у него характер — выгнал.

Оставшись не у дел, юный мастеровой набрал артель из таких же, как сам, молодцов. Двинулись в поисках подрядов по селам. Столярничали и плотничали на крестьянских дворах все лето и осень.

В воздухе уже кружились белые мухи, когда папа подъехал к дому бывшего учителя на телеге, доверху заваленной тугими мешками. Часть поклажи была быстро выставлена на крыльце у Кацевмана, так быстро, что никто не успел воспрепятствовать самовольным дарам. Пришлось деду Нухиму идти к достопочтенным Сиркисам.

Папа подготовил бабушку Идис к его визиту. Она посоветовала доброму соседу рассматривать содержимое мешков да и саму тару как

плату за учење. Дед отказывался, говорил, что сроду не держал наемных работников, слава Богу, обходится силами своей семьи.

— Да ведь и мы не чужие, — убеждала бабушка Идис, намекая на какую-то неясную и достаточно отдаленную возможность.

Изложенное выше мне, тогда подростку, ровеснику отца в пору его ученичества у деда Нухима, рассказала другая бабушка — Сима.

— Можешь поблагодарить революцию, — заключила она. — Без нее тебя бы и на свете не было... Разве эти гордецы, эти ихис (благородные, — П. С.) Сиркисы породнились бы с нами, если бы не переворот?..

Бабушка Сима считала себя демократкой. И у нее имелись на то основания. Ну, взять хотя бы ее брак...

С дедушкой Нухимом бабушка познакомилась на пароходе по пути из Аккермана в Одессу. Ей глянулся молодой красивый ремесленник. Ремесленник!.. Об этом как раз она и не догадалась. Внешне дед производил впечатление преуспевшего в этой жизни человека.

Когда выяснилось, что жених — всего лишь кузнец, а правду открыть он не спешил, восстала бабушкина родня. Делать, однако, было нечего, да и терять тоже: приданого ей не обещали. И влюбленная демократка пошла замуж, вопреки воле тетки, которая ее взрастила.

У прабабушки дети почему-то умирали, все умирали во младенчестве. При рождении же Симы, чьим уделом также было срочно переселиться под райские кущи, ее попытались спасти для земной юдоли. По совету раввина прибегли к старинному средству: дабы обмануть смерть, надо было не только изменить ребенку имя, но и передать того на воспитание в родственную семью. Так маленькая, названная сначала по-другому, стала Симой и приемной дочерью своей же тетки.

Дед Симы был николаевский солдат. Тянул армейскую лямку полных двадцать пять лет и закончил службу полным георгиевским кавалером. Закон и ему, и потомству его предоставлял право селиться вне черты оседлости. Блага этого никто из наших так и не оценил: уж слишком были привязаны к малой своей родине — Бессарабии. А бывалый солдат прожил сто пятнадцать лет, получая семьдесят из них государеву пенсию, усмотрев в долговечности способ возместить принесенный царю и отечеству прок. Бабушка Сима вспоминала, что дед ее напоследок стал слаб глазами, не различал день и ночь и иногда обращал молитвы к спящему Богу. Справедливости ради, она признавала, что ум старика сохранял ясность, он единственный поддерживал влюбленных неслухов...

Выходит, и эта бабушка не в пример деду Нухиму могла гордиться родословной, но как женщина мудрая не часто возвращалась к щекотливой теме. Мне же о прошлом рассказывала охотно. Я был мал, памятьлив.

Мы часто ходили с бабушкой в гости к ученому соседу — шойхету. Думал, это фамилия, оказалось — профессия: резник. Шойхет и ба-

бушка толковали о Библии — Священном писании. Старуха колебалась между верой и неверием, старик укреплял ее дух.

В сорок первом шойхета расстреляли фашисты. Его казнь надолго, если не навсегда, подорвала религиозность бабушки.

— Если б Он был, разве допустил бы убийства детей и праведников? — Такой вопрос я не раз слышал от нее после войны.

Ну, а пока все еще раскручивается тридцать седьмой страшный год. Папу уже арестовали. Скоро возьмут и дядю Пали Марковича... Отвлекаясь от повседневных тревог, шойхет с бабушкой говорили об Иосифе Прекрасном, о злом сановнике Амани, задумавшем истребить евреев. Амана постигла жестокая кара — побитие камнями. Так рано или поздно бывает с любимым, кто посягает на наших соплеменников... Говорили о Вавилонской башне и вселенском смешении языков. Не здесь ли следует искать истоки несовершенств современного мира? Заходила речь и о Христе. Он рожден еврейкой Марией в семье благочестивого плотника из Назарета, значит, сам еврей. Новая религия, основанная им, видимо, не лишена смысла, многим она подходит как нельзя лучше. Он ведь с пеленок поражал всех необыкновенным умом. Но так ли уж то, что он проповедовал, отличается от учения древних пророков?.. И почему его муки и кровь пали на евреев? Приговорил к распятию Понтий Пилат, вершили казнь римляне... Старики рассуждали, как папа Иоанн XXIII в знаменитой энциклике.

Скажешь, слишком ты был мал, чтоб понимать такие речи, не мог запомнить подробностей и имен. Произошла аберрация памяти, и более поздняя информация наложилась на ранние впечатления. Возможно. Недавно, перечитывая Боккаччо, я вспомнил, что и притчу о трех перстнях слышал в детстве. Не стану уверять, что рассуждения шойхета и бабушки об этой притче были оригинальнее, чем у Лессинга. Между тем, в ответе Мельхиседека Саладину заключено нечто глубокое, чего не понял султан Вавилона. Да, перстни — и подлинники и копии, уподобленные трем главным всемирным религиям, неотличимы, но ведь о религиях известно, какая была первой и послужила прототипом двух других.

Христианство могло развиваться лишь благодаря еврейской веротерпимости. Утратив государственность, древние иудеи уповали на один только дух — он станет оплотом народа, сохранит его. Ессеи вбирают в себя отступающих от канона. И так даже лучше: происходит очищение. Язычников новое учение привлекло позднее...

Папа и дядя Маркович сидели. Причиной папиного ареста дедушка Нухим и бабушка Сима считали его лихой характер. Может, не было бы никакого лагеря, если б не нашли при обыске незарегистрированный бельгийский браунинг?.. Сема — любимый зять, хотя сорвал Хану из девятого класса, показал на что способен, выбился в люди. Кто поверит, что он враг народа, когда вырос буквально на гла-

зах у местечка?.. Столяр, а после рабфака заделался коммерческим директором на большом заводе. И где — в столице, в Тирасполе?! А револьвер? Представьте, Сема сумел доказать, что не мог без него обойтись. Когда у тебя бывает на руках до миллиона наличными, как еще уберечься от бандитов? Ничего, пять лет пролетят. Может, даже лучше, что нашли этот пистолет...

У Пали Марковича ничего не нашли, разве что книги Маркса и Энгельса на немецком языке, и дали десять лет без права переписки. Да, он еврей, но все-таки иностранец. Бог знает, что тянется за ним из-за кордона?..

Бабушка сетовала на тетю Розу:

— Не хотела выходить за своего, дубоссарского!.. Такие мальчишки за ней бегали — куда там! Ей нужно было что-то с бантиком...

Дядя Пали Маркович был словацкий эмигрант, переправленный в Советский Союз Коминтерном. Мамина старшая сестра — красавица Роза работала тогда машинисткой в Молдавском ЦИКе. Здесь ее и познакомил с Марковичем один из руководителей автономной республики доктор Сатмари. Сатмари знал Марковича еще по австро-венгерскому коммунистическому подполью. Он и был посаженным отцом на свадьбе. А в тридцать седьмом-тридцать восьмом годах оба оказались посаженными. Вот как каламбурит жизнь...

Должен повиниться перед тенью доброго дяди Пали. Молодые гулены-родители частенько подбрасывали меня степенной тете Розе. Проснувшись среди ночи, я видел дядю Пали, прильнувшего к радиоприемнику. Потом, когда общая шпиономания захватила и меня, каюсь, не раз думал: наверно, просто не разобрал на малолетству, что Маркович выходил в эфир с помощью вмонтированной в приемник рации — не могли же его арестовать без причины?.. Специально был заслан к нам и на тетке женился, чтобы больше доверяли...

А славный улыбчивый дядя Пали ни в чем не был виноват. В шестидесятые годы тете Розе сообщили, что «необоснованно репрессирован», выдали бумагу о реабилитации «за отсутствием состава преступления», выдали и компенсацию в размере двухмесячной зарплаты мужа. Компенсацию за жизнь человеческую, за муки и унижения, которые двадцать с лишним лет терпели жена и дочери «врага народа»...

Я тоже рос без отца. Когда спрашивали о нем, с гордостью отвечал: «Папа погиб на фронте». А что могли сказать двоюродные сестры Корвина и Галя?..

Как десять лет без права переписки обернулись смертью неизвестно где и когда?! Не сохранилось даже фотографии дяди Марковича. Я по памяти рисовал Гале ее отца — она родилась после его ареста.

Году в семидесятом один знакомый, собирая материал для диссертации, обнаружил в архиве дело Марковича. В нем был снимок — дядя Пали с женой и дочерью. По словам тети Розы, этот снимок он всегда носил при себе.

Не знаю, хватились ли в архиве фотографии. Теперь она хранится в семье. Другой Пали, Павлик, внук, убедился, что он очень похож на деду.

У Марковича оставались родные в Словакии. После войны не раз внушал тете Розе:

— Надо разыскать.

— Что я им скажу?.. — колебалась она.

Как-то удалось добыть адрес Чехословацкого Красного креста. Мы составили с тетей запрос. Ответ пришел через несколько месяцев: «Семья Марковичей вывезена оккупантами в неизвестном направлении».

Извели всех. Но есть Павлик. Правда, его фамилия Боярский.

*У подножья белых невозмутимых гор, в Алма-Ате,
переезжал в новое здание республиканский партархив.
Солдаты в форме пограничников
перекладывали с рук на руки картонные коробки —
чуть больше канцелярской папки каждая.
Оцепление из автоматчиков.
Два офицера в защитного цвета плащах.
Справа сзади у них топорщилось.
Коробок было много. Клади одну на другую — рядами.
Наполнялся крытый брезентом армейский грузовик.
Солдатам нравилась работа:
перекладывание коробок походило на игру в ручной мяч.
Ребята улыбались.
Может, они не знали,
что в каждой коробке —
дело расстрелянного в тридцать седьмом?
Расстреливали и до и после.
Что известно об этом молодым солдатам?
А грузовики подъезжали и подъезжали.
И продолжалось это всю неделю,
пока я ходил в архив,
чтобы смотреть в кинозале военную хронику.*

Вернемся, однако, в Дубоссары, в только что выстроенный дом душики Нухима. Несмотря на беды, жизнь продолжалась. Я замечал за родичами: в несчастье они меж собой дружнее и не поддаются унынию. Дед весь день столярничал в сарае, где устроил себе мастерскую. Бабушка вела хозяйство. Последыши — сын Шмилик и дочь Рива были совсем юными, но уже давно работали: первый — краснодеревцем, вторая — почтовой служащей.

Вечерами в просторной зале собирались друзья брата и сестры. Шипел старинный граммофон с широким раструбом в медальях, танцевали. Музыкальный Шмилик играл на скрипке.

Дедушка спускался в погреб, нацеживал вина. Бабушка выкатывала на стол каленые грецкие орехи — прямо из оивн, подавала штру-

дель и лейкех. Вино и печенье были домашнего изготовления. Крестьяне чаще всего платили деду за его поделки натурой — привозили на возах всякую снедь, корзины винограда. Столько не съешь. Вот и обращали ягоды в хмельную влагу. Помню, усаживались семьей вокруг большого деревянного чана, ощипывали загорелые и точно припудренные грозди. Потом содержимое чана отправлялось под пресс. Он был общей собственностью местечковых виноделов и переходил от соседа к соседу. В Дубоссарах вино не переводилось в каждом доме. Сок сливали в бочки, а выжимки оставляли на корм курам и прочей живности. Случалось, выжимки успевали забродить. Тогда по двору шатаясь бегали пьяные петухи и кочки с цыплятами.

Молодежь не скучала и без выпивки, но дедушка не мог не выставить угощения. Бабушка одобряла вечеринки, веря, что веселье отгоняет напасти: не удержаться горю под крышей, где раздается веселый смех. Да и соседи пусть убедятся: не так уж плохо у Кацевманов с зятьями...

Пелись песни — еврейские и молдавские. А разговоры велись только по-русски: среди гостей почти всегда оказывались командиры с погранзаставы. Дубоссарские ребята и девушки не упускали случая попрактиковаться в языке, который понадобится, когда наконец вырвутся из штэтл — из местечка.

Старики отсиживались на кухне, чтобы не мешать молодежи. Меня же бабушка неизменно отправляла в залу и потом дотошно расспрашивала, что там происходило. В этом был тонкий расчет. Я, конечно, едва ли мог своим присутствием стеснять Риву и одного из бравых командиров, а их разговоры пересказывались бабушке в доступных ей словах. Таким образом, она узнавала больше, чем если бы даже слышала все сама... С некоторых пор этот лейтенант слишком пристально смотрел на Риву. Новый зять, пограничник, был бы сейчас как нельзя кстати. Но бабушка была убежденной противницей смешанных браков и старалась пресечь скоропостижно развившуюся у дочери привычку ощущать на себе настойчивый командирский взгляд.

Тетя и ее ухажер, вероятно, догадывались об отводимой мне роли на вечеринках и о бабушкиных происках.

— А не сходить ли тебе на новую картину? — вдруг предлагал пограничник.

Я получал на руки двадцать пять копеек, — ровно столько и стоил тогда билет в кино, — и убегал к старикам: чтобы реализовать идею, требовалось согласие бабушки.

— Ты еще маленький для вечерних сеансов, — твердила она, когда я начинал канючить про фильм. — Дядя ему дал двадцать пять копеек!.. Столько и я могу. — Извлекала монеты из карманов необъятного капота. — На, возьми. Добавишь завтра на конфеты.

Теперь, подкупленный каждой из заинтересованных сторон, я все-таки настаивал на кино. Без дедушки тут было не обойтись — вечером детей пускали только со взрослыми. Но уговорить его было лег-

ко: в ту пору он меня обожал и ни в чем не отказывал. С годами дед сильно ко мне охладел. Я не понимал, в чем причина, искал ее в себе — в приобретаемых с возрастом пороках. А объяснялось все просто: деду хватало любви к последнему, меньшому внуку. Появлялся новый мальчонка — ему она и доставалась.

Молодежные посиделки устраивались когда угодно, только не в канун субботы. Бабушка готовилась к ней, как к празднику, приберегала самое вкусное, пекла, варила. В пятницу вечером зажигали свечи в надраенных мелом до сияния бронзовых шандалах.

— А гитн шобыс (доброй субботы, — П. С.), — говорил дедушка под трепыхание легких ароматных язычков пламени.

С этого момента и до воскресенья никто не смел в доме запалить огонь. Пицца разогревалась на поду — он долго не остывал после выпечки хлеба. Как ни скромны доходы, субботний обед отличался от обедов в остальные дни. За столом собирались своей семьей, забывая обиды и недоразумения. Казалось, над домашним очагом витала некая духовная эманация. Каждый лучился добротой и радушием. И от этого, наверное, возникало сознание: ты не случайно появился в мире, тебя хотели и ждали, и твоя жизнь — необходимое звено в неразрываемой родовой цепи.

Естественна и самоуспокоительна мысль, что ты из новой породы — советских людей, лучших и равных. Таких никогда не было прежде на земле. Они родились лишь после нашей революции. Мы — интернационалисты. У нас все общее. Но почему в тебе эта захлестывающая волна, когда звучат еврейские песни?.. Ты раньше их не слышал, отчетливо же мелодия отворяет душу, и в ней поднимается что-то, будто известное давно и позабытое, всплывает, как из другой жизни?..

Признайся, тебя и судьбы евреев как-то по-особому волнуют. Да разве такой уж грех принять в сердце тревоги гонимых, пусть они и твои соплеменники?!

Заглянул на огонек старый, еще с университетских лет товарищ. Вышли на балкон — покурить ему захотелось.

— Послушай, Паша, ты состоишь в двадцатке? — вдруг невпопад спросил он.

— В двадцатке?..

— Говорят, все евреи объединены в двадцатки — такие организации. Ну, взносы и прочее..

Мне оставалось только руками развести.

— Ты, старичок, не обижайся. Сам знаешь, я не антисемит.

— Да как ты мог поверить?.. Когда-нибудь замечал, чтобы я отдавал кому-нибудь предпочтение из-за того, что он еврей?.. Постой, вспомнил. Я однажды уже имел дело с двадцаткой — и именно из-за тебя.

— Это когда же?

— Статья «Именем бога Ягве». Помнишь?..

— Да ведь ты был моим соавтором.

Он появился тогда вдвоем с ответственным секретарем редакции.

— Прочти, пожалуйста, и поправь, чтоб душка не было, — попросил секретарь.

Я слегка прошелся по тексту, что-то предложил убрать, против чего-то выставил на полях вопросительные знаки. Речь шла о злоупотреблениях в Кишиневской синагоге; в совете религиозной общины, так называемой двадцатке, орудовали жулики — в статье были ссылки на документы, приводились денежные суммы, украденные конкретными людьми.

Ответственный секретарь и автор согласились с моими замечаниями и предложили:

— Не возьмешься ли подработать материал — лучше ему идти за двумя подписями.

Перечитал сейчас то, что тогда опубликовали. Все правда. Выступление газеты было, пожалуй, полезным. Но ясно, что мое имя использовали, чтобы пресечь подозрения в тенденциозности.

У товарища и так не чувствовалось душка — антисемитизм был ему органически чужд. Наша замглавного редактора злилась:

— Отчего это ты всегда за евреев вступаешься? Что-то больно уж подозрительно у тебя волосы кучерявятся!..

Правда ли сей чистокровный русак похож на еврея? По-моему, нет. Но в университете, когда нас, что называется, водой было не разлить, помнитса, приятели-геологи приставали ко мне:

— Что ты все с этим еврейчиком ходишь?..

Вскоре, обыгрывая мнимое еврейство, мы немилосердно подшучили над хозяйкой его квартиры. Муж нестарой этой женщины вернулся с войны израненный, вот ее и тянуло к молодежи. Соберемся, бывало, в комнате товарища, она тут как тут. А товарищ наделен замечательным даром звукоподражания. На том и строилась хохма.

— Придет хозяйка, — наставлял я «еврейчика», — ты посиди немного, а потом встань и скажи: «Их гей хопн а лыфт» (я пошел вдохнуть свежего воздуха). Повтори. — Он мигом усвоил еврейскую фразу, причем, произношение странным образом оказалось лучше моего. — Сделает удивленное лицо, спросишь: «Вус кикт ир азой аф мир?» (Что вы на меня так смотрите?) — Столь же блистательно было затвержено и это. — Окончательно теряет способность говорить — тебе остается лишь попрощаться: «Ну, зайтчи мир гезынт!» (Ну, будьте мне здоровы!)

Хозяйка не заставила себя ждать. Появилась принаряженная, улыбаясь, уселась за стол, предвкушая веселую беседу со студентами. И тогда «еврейчик» выдал первую реплику. Реакция оказалась даже сильнее, чем предполагалось. Его она только подзадорила. Закончил монолог, вышел. Бедная женщина выпалила ему во след:

— Он что — еврей?

— Вы только теперь узнали? — притворно удивился я.

— Боже, мы с мужем такое при нем говорили! — убивалась хозяйка. Утешить ее было невозможно.

А началась наша дружба еще на первом курсе. Встретились случайно на Комсомольском озере солнечным теплым утром.

— Давай соревноваться — кто быстрее проплывет стометровку кролем, — предложил он, щелкая никелированным секундомером.

Первым с тумбочки прыгнул я. Он засекал время. Потом роли поменялись. Ничего не стоило остановить стрелку чуть позже, чтобы победа досталась мне, но такое и в голову не пришло. Его, как впоследствии признался, сразила честность соперника. С того утра в меня и поверил...

Шесть последних университетских семестров все время отдавал журналистике, но на выпуске был среди первых. Дипломную работу «Лев Толстой и Михаил Шолохов» защитил на «отлично». Подоспело распределение. Заведующая кафедрой литературы рекомендовала преподавателем вуза или техникума, на худой конец — в печать. У комиссии таких назначений нет. Замминистра просвещения предлагает место учителя русского языка в молдавской сельской школе. Согласился, хотя строил совсем иные планы...

Тут не обошлось без второго моего друга — Володи Татенко. Мы сблизились в общих комсомольских делах. А жить в общежитии привелось совсем с чуждыми мне людьми. Так было целых два года...

В тот вечер, как обычно, пришел из университета поздно, голодный. Принес с кухни кипятку — там всегда клокотал «титан». Достал из тумбочки припрятанные от себя самого с утра полбуханки арнаута и пятьдесят граммов колбасы. Чай, хлеб с краковской — роскошный ужин! Прихлебывал чаек, наслаждаясь, распарило в тепле после январской кишиневской промозглости. Нет заварки, поллитровая стеклянная банка из-под консервов вместо стакана, сахару вприглядку — какая беда! Но тоскливо в одиночестве...

Почему в нашей комнате не составилось компании? Не мне было ее сколачивать. Я самый бедный и не гожусь в сотрапезники. А другие предпочитали съесть единолично привозимые из деревни продукты. Случалось, просыпался по ночам от энергичного хрумканья. То кто-то уничтожал в темноте немалые припасы, перепадавшие ему от отца. Догадываюсь, этим гурманом был нынешний директор крупной молдавской библиотеки. Итак, я благодушно чаевничал при общем молчании.

— Слышал, что твои натворили? — бросил с койки университетский активист Миша Дарий, царство ему небесное — умер Миша.

Кроткая твоя мама, и она как-то вспомнила, что было в тот вечер, в тот самый вечер за полторы тысячи километров — в Москве. Возилась у газовой плиты на кухне вашей густонаселенной квартиры. Проществовал сосед — ответственный партийный работник, как громко себя называл, всегда во всем уверенный, не знающий сомнений Петр Иванович. И вдруг вернулся, приглушив голос, спросил:

— Марья Федоровна, что нам с евреями делать?..

Его жена, с которой состоял в браке двадцать лет и родил двух детей, как и твой отец, из-за происхождения оказалась причастна к злодейству, и сосед растерялся.

— А что делать? — ответила скромный бухгалтер. — Жить.

Сразивший меня активист на объединенном историко-филологическом факультете считался крупной фигурой. Каким-то образом он исхитрился вступить кандидатом в партию еще в педучилище после семилетки и теперь занимал руководящие позиции. Занимал их и потом: был оставлен в аспирантуре, преподавал основы марксизма-ленинизма, или научный коммунизм, как это со временем стало называться.

Замечу к слову, что студенты-молдаване послевоенной поры находились в привилегированном положении. Республика «ковала национальные кадры». Первый призыв молдавской интеллигенции, эти быстро смекнули, что к чему. Оседали в городах, формируя бюрократию, заполняли вакансии во многочисленных учреждениях. Ждали же от них, что устремятся в родные деревни, горя жаждой просвещения своего народа, который так в нем нуждался. Не было соревновательности, потому учеными, журналистами, писателями становились люди, не обязательно отмеченные способностями. А ведь генетики доказали, что талантливых в каждом поколении — примерно один и тот же процент. Тут потребность превышала возможности. Культуру заполняла посредственность и впоследствии не пушала по-настоящему даровитых ребят.

— Кто — мой? — спросил я Мишу.

— Еврейские врачи — вот кто!

— Они не еврейские врачи, а классовые враги, — отвечал я, не сбитый с прочной коммунистической платформы.

— Но почему именно евреи оказались нашими классовыми противниками? — подключился другой сосед, четверокурсник (теперь он доктор исторических наук), забыв о том, что у него самого в тридцать седьмом посадили отца.

Что возразить, как защититься? И я не нашел ничего лучше:

— Завтра же пойду в партбюро, расскажу, какие вы партийцы, — пригрозил, едва сдерживая слезы. Кроме Миши членом партии был еще демобилизованный старшина, не снимавший регалий. Подействовало — меня оставили в покое.

А в начале третьего курса я с радостью переселился к дипломникам на свободную койку — к Ване Сеферову, Леве Яруцкому и Мише Плотному. С нами делил комнату еще Коля Кожин, бывший офицер, отсидевший за что-то, — не говорил за что, темнил. Вернувшись с войны, Николай женился. Супруга бросила его сразу после ареста. Не простив предательства, писал мстительную бесконечную пьесу «Ада Подноготная». Прежде Кожин учился в Киевском университете, тоже КГУ, но рангом выше нашего. Из тюрьмы туда возврата не было. Держался Коля особняком. Остальные четверо крепко подружились и дружат до сих пор.

Володя Татенко зачастил к нам на правах земляка Сеферова, мариупольского грека. Ваня с детства хром, тем не менее сохранил добрый нрав, задушевно играет на баяне. Тогда-то мы с Володией окончательно и закорешевали.

Татенко окончил университет по биолого-почвенному факультету и на год раньше меня. Назначение было в Караганду, в областное управление сельского хозяйства, землеустроителем. Мы стали переписываться. Случилось так, что его сманили корреспондентом в сельхозотдел редакции «Социалистической Караганды». Он удивленно сообщал о своих первых успехах в журналистике, звал к себе — весной и я прощался с альма-матер.

Володя заговорил с ответственным редактором о моем приглашении в Караганду. Тот сказал:

— Вызова твоему другу не пошлю, подъемных не обещаю, придет — приму.

На случай, если потом откажется от этих слов, было вызвано о двух местах в комсомольской газете, договорено и с ее шефом.

Попав на прием к замминистра, предъявил одни Володины письма, попросил отпустить меня с миром на целину.

— В молдавских школах не хватает учителей, — вяло напомнила деятельница просвещения.

— Целина теперь — передний край, не легкого хлеба ищу, — был ответ.

— Ладно, приходите завтра. Я доложу министру. Может, мы вас и отпустим.

На другой день получил такую справку: «Выпускник Кишиневского государственного университета Сиркес П. С. освобождается от педагогической работы на территории Молдавской ССР».

Оставалось добраться до Караганды.

Ехать решили вдвоем с Лимоновым. Этот мой сокурсник нацелился на комсомольскую газету: диплом ему выдали, ну, а дезертирство с учительского фронта спишет добровольный десант на целинные земли...

Денег для путешествия наскрести не удалось. Последней полуторамесячной стипендии — четырехсот пятидесяти дореформенных рублей — на билет было мало. И вдруг стало известно, что формируется студенческий отряд — убирать большой казахстанский урожай. Обратились к секретарю университетского комитета комсомола.

— Поедете, но надо выпускать в пути эшелонный листок.

Зашел напоследок в «Молодежь Молдавии», где печатался.

— Может, останешься? У нас как раз есть место, — сказал редактор Федор Дмитриевич Рощин.

— Поработаю в Караганде, почувствую себя журналистом — там видно будет...

— Как с гонораром? Тиснул что-нибудь в текущем месяце?

— Госэкзамены сдавал.

Он извлек из стопки номер с разметкой гонорара и написал наискосок на каком-то тассовском материале мою фамилию и против нее — 100 (сто) рублей.

— Это на проводы.

Девять суток тянулся на целину добровольный эшелон. Случались и короткие и долгие стоянки. На долгих всех водили в оборудованные для кормежки новобранцев бараки, наваливали в алюминиевые миски солдатской каши с мясом.

Ночевали мы с Лимоновым в телятнике на устланных сеном нарах, а листок готовили в штабном пассажирском вагоне. На третий день начальник эшелона предложил:

— Переходите, ребята, сюда. Редакция — тоже руководящий состав. — В штабном ехали командиры отрядов кишиневских вузов, врач и медсестра — свободных полок много.

Лист ватмана с поездной оперативной информацией ежедневно появлялся в окне штабного вагона, карикатуры бичевали нарушителей дисциплины. На стоянках сбегались студенты, хохоча оценивали юмор редколлегии. Но мы, кроме того, еще и успевали посылать корреспонденции в «Молодежь Молдавии», Рошину.

Наконец, станция выгрузки — Смирново Северо-Казахстанской области. Здесь отряды были распределены по совхозам.

Попрощались с университетскими. Дальше добираться самим.

Ближайший поезд на Караганду часа через полтора. Билеты — только в «мягкий».

— Пять тысяч километров позади — осталось всего восемьсот. Тряхнем, Лимонов, мощной, — разошелся я, готовый ополовинить свою наличность.

— Раскошелимся!

Чумазые, в прокопченных спортивных костюмах вваливаемся в купе. Единственный пижамный пассажир шарахается от нас, прячет вещи под сиденьем.

Находчивый Лимонов достает из чемодана новехонький бостоновый пиджак — костюмную пару справили родители к выпуску, вешает на плечики. Поблескивает вузовский ромбик.

— Молодые специалисты? — приободряется сосед.

— Точно. Следуем к месту службы, — в тон отвечает Лимонов.

Ромбик его успокоил. Достал жареную курицу, прочую снедь. Беспечным акулам пера оставалось лишь слюнки глотать: вагона-ресторана в поезде не было.

Только под вечер, в Кокчетаве, удалось раздобыть банку частичка в томате, поздно ночью, в Акмолинске, — буханку черного хлеба. Подхарчившись, уснули до самой Караганды.

Татенко представил меня ответственному Федору Федоровичу Боярскому:

— Вот, прибыл товарищ, о котором говорили...

Боярский нажал кнопку, вызвал секретаршу, попросил пригласить своего зама — Илью Ивановича Колчина.

Сам и зам были полной противоположностью друг другу. Первый — цыганистый, с крупными чертами лица, тронутого оспой, выглядел попом-расстригой. Таких, как второй, справедливо зовут бледной немочью.

— Разберись с парнем — литсотрудником хочет...

Колчин увел меня к себе. Сесть не предложил, вопросы задавал хмуясь:

— Печатался? Где?

— В университетской многотиражке «Сталинец», в газетах «Молодежь Молдавии», «Молдова Социалистэ», «Советская Молдавия».

— Вырезки захватил?

— Захватил.

— А оригиналы? Знаем мы, как в редакциях правят...

Это уж точно — он знал! Его так переписывали литправщики, что ничего своего не оставалось.

К счастью, весь мой нехитрый архив находился при мне — надо же было чем-то наполнить студенческий чемоданишко.

— Принеси вместе с анкетой. И публикации захвати.

На следующее утро все требуемое доставлено.

— Зайдешь через пару-тройку дней.

Минула неделя. Колчин, когда к нему заходил, мямлил, не говорил ни да, ни нет. У меня осталось пятьдесят рублей. Как жить? Не переходить же на иждивение к Татенко или Лимонову, который уже работал в «Комсомольце Караганды»!..

— Далась тебе партийная газета! — говорил Лимонов. — Айда к нам.

Посоветовался с Володей.

— Сходи еще разок к Федор Федоровичу. Скажи, что не можешь больше ждать. Он человек резкий — тут же все решит.

Снова явился к грозному ответственному редактору, изложил все как есть. Зама он опять вызвал с помощью секретарши. Колчин пришел, молча сел справа, за приставной стол.

— Познакомился с парнем?

— Писать умеет.

— Ну, что, возьмем?.. А то он уже приуныл: вдвоем с другом приехал, так тот — неделя, как в «Комсомольце» работает.

— Да ведь тот русский, а этот еврей.

— Ну, что ты, Илья Иванович, — урезонил его мягко Боярский. — Неси-ка бумаги — посмотрю и я.

27 июля 1956 года был издан приказ: зачислить Сиркеса П. С. литсотрудником отдела промышленности и транспорта с двухмесячным испытательным сроком.

В войну на нашей Гаражной улице озоровал оголец Колька, по кличке Кулак. Его даже взрослые сторонились.

В то утро я вышел за ворота в начищенных до глянца сапожках. Эти сапожки заказывал еще отец. Нога выросла, теперь сапожки жали, но берег их, холил и ваксил, точно догадывался, что папа ничего мне никогда больше не справит.

Кулак выскочил из-за угла и стал топтать мой блеск своими грязными прохорями. Было и больно, и обидно, да как сладить с таким верзилой?..

— Не бойсь, лупить не буду, — вдруг сменил Кулак гнев на милость. — Ты хоть и еврей, да у тебя мать русская..

Когда после похоронки я стал чистильщиком обуви на привокзальном рынке, Колька иной раз подходил, требовал несколько рублей. Получив дань, говорил:

— Кто тронет, сразу беги к Кольке — в обиду не дам!..

Нравилось мне быть чистильщиком. Старался. Клиенты были довольны. А щедрее всех платили командиры, приезжавшие в отпуск с фронта.

Только недавно приняли в пионеры, потому, наверно, по пояс я голый, а на шее — красный лоскут.

Пожилой грустный капитан ставит на ящик чиненный, но аккуратный сапог.

— Почистим?

— Почистим.

— Сколько стоит?

— Сапоги — десять, ботинки, туфли — пять.

— Послушай, а почему ты в галстук?..

— Я же пионер!

— Отец, конечно, на войне?

— Погиб смертью храбрых 26 июля 1942 года в бою у деревни Кропоткино Ливенского района Орловской области, — повторил я текст извещения.

— Это хорошо, что матери помогаешь. Но галстук на работе не носи. Понял?..

— Понял.

Сапоги уже сияли, как не сияли и новые.

— Вот тебе за усердие, — сказал капитан и протянул красненькую — тридцатку — была такая купюра до сорок седьмого года.

Чего только не насмотрелся, сидя летом с утра до вечера, весной и осенью — в свободное от уроков время за своим ящиком на привокзальном базарчике! Здесь хозяйничали инвалиды. Один из них. Костя-морячок, жил тем, что пел песни. Помню, как он закатывая глаза выводил:

*— Я встретил его близ Ахтырки родной,
Когда там была наша рота.*

*Он шел впереди — автомат на груди,
Моряк Черноморского флота.*

Мне нравились Костины песни. И он сам нравился — белокурый, с кудрявой прядью. Бескозырки не носил, а форменка на ладном морячке сидела тесно. Костя совсем не походил на инвалида — руки, ноги целы. Говорили: контуженный. У других на груди, с правой стороны — желтые и красные нашивки за тяжелые и легкие ранения, у Кости — синяя, едва заметная на выношенном сукне.

Обычно он незлобив и добр, но на этот раз в него точно бес вселился. И все из-за того, что выпил. Пить ему запрещено. Костя приставал к прохожим, обзывал их нехорошими словами. Особенно не понравился ему один старик, погнался за ним:

— У-у, жид пархатый!

Старик пустился наутек и упал, споткнувшись о трамвайный рельс. Костя несколько раз пнул по стариковской спине, затянул, нарочно картавя, на мотив «Моей красавицы»:

*— Старушка не спеша
Дорожку перешила...*

Тут подросла милиция.

Потом мы ходили смотреть, как судят Костю-морячка. Сначала никто не верил, что будут судить — подумаешь, оскорбил старого еврея, ну, малость помял, судачили рыночные торговки. Но когда стало известно, что уже и день назначен, повестки свидетелям разосланы, базар заволновался:

— Глянь-ка, из-за какого-то жида морячка хотят под закон подвести, защитника родины...

— У них — всюду рука. Заметут, сведут счеты.

— В тылу околачиваются — для них медаль «За оборону Ташкента» учреждают...

В самом ли деле евреи отсиживались в тылу, правдами и неправдами уклонялись от мобилизации? Взять нашу семью. Папа погиб. На фронте были два маминых брата. Третий, действительно, находился в Ташкенте, учился в военно-политическом училище. Свою смерть принял в сорок четвертом. Об остальной родне мы мало что знали — война разметала.

Помню, дед привел за руку молодого бледного земляка, дубоссарца. Тот только что выписался из госпиталя. Встретились случайно. Звали земляка Хаим-Дувид. Да, он по старинке откликнулся сразу на два имени. Хаим-Дувид был одноклассником Ривы. У него не осталось никого из близких. Вот и прилепился к нам.

Фамилию я запомнил. Можно бы спросить у тетки, но так, под именем Давидовым, судьба эта и типичнее, и символичнее.

Как услышал спустя годы, и двоюродный дядя Аркадий Кацевман, и будущий Ривин муж — Аркадий Сандлер начинали свою армейскую жизнь в точности так же. Вместе с Хаим-Дувидом окончили десятилетку в ту весну, после которой Молотов полюбил сниматься с Риббентропом, а прозорливый Сталин заключил с Гитлером пакт о ненападении.

До сих пор кое-кто твердит: благодаря пакту страна два года выиграла для укрепления обороноспособности. Как это происходило, мы видели у себя дома, на Днестре.

Верхом на лошади отец ездил, когда работал в УНР. Не ведаю, что значила аббревиатура, но занималась папина организация строительством укреплений вдоль старой государственной границы. Даже и сегодня близ Тирасполя и Слободзеи торчат искореженные ДОТы, возведенные отцом.

В сороковом, при молчаливом согласии Гитлера, СССР предъявил румынам ультиматум об эвакуации из Бессарабии не позже, чем через сорок восемь часов. Как ответят на ультиматум, не начнутся ли боевые действия? Никто не сознавал серьезности момента.

Гаубица стояла во дворе, где жила тетя Роза. Молодой артиллерист, командир расчета, улыбался:

— У бояр кишка тонка — куда им с нами тягаться!..

Под защитой пушки и краснозвездных бойцов в самом деле было совсем не страшно.

А утром к Днестру двинулись колонны со знаменами. Сметено ограждение из колючей проволоки на двадцатидвухлетней границе, затоптана вспаханная полоса. Освободители на лодках и вплавь переправлялись на другой берег.

Бессарабия наша. ДОТы, оснащенные по последнему слову техники, что так кропотливо создавались советскими людьми вдоль Днестра, были разоружены. Но на Пруте линии долговременных огневых точек возвести не успели. Куда же девались демонтированные орудия и пулеметы?..

Железобетонные ДОТы еще послужили потом... фашистам: в сорок четвертом войска II Украинского фронта с большими потерями овладевали здесь плацдармами для Яско-Кишиневской операции.

Когда это еще будет?! Выпускники же дубоссарской средней школы предвоенных годов — первые в местечке еврейские юноши и девушки, окончившие русскую десятилетку, двинулись в большие города, в институты. Аркадий Кацевман поступил в Одесский мукомольный. Когда объявили добровольный комсомольский набор в танковое училище, не долго раздумывал — подался туда. Аркадий Сандлер сразу выбрал артиллерийское. Хаим-Дувиду выпал самый тяжкий жребий — пехотное, значит, быть общевоинским командиром, «ванькой- взводным».

О первых двух речь, может, впереди. Здесь хочу рассказать историю третьего. Училища Хаим-Дувид окончить не успел. Фашисты подошли к Одессе. Курсантов бросили против отборной эсэсовской дивизии.

Делая фильмы о войне, я беседовал с десятками людей — от солдата до генерала армии, прошедших через тяжелые сражения. Но ни разу не встретил участника рукопашного боя. Хаим-Дувид ходил в штыковую атаку. Мальчонкой слышал от него, как неокрепшим нашим ребятам пришлось стоять против матерых гитлеровцев. Лицо в рваных шрамах от тесака, говорит, с трудом размыкая изуродованные челюсти:

— Ничего страшнее не бывает...

У нас с Хаим-Дувидом дружба. Я чистил ему сапоги. В пенсию он баловал меня гостинцами.

Поздней осенью открылась рана в легком — снова пришлось лечь в госпиталь. Там он и умер. Мы с дедом похоронили Хаим-Дувиду на русском кладбище. Дед, не веря, что доживет до Победы, наказывал запомнить могилу, чтобы показать ее, если объявится кто из семьи. Никто не объявился — все погибли в Дубоссарах.

Недавно узнал: в войсках антигитлеровской коалиции сражалось более миллиона евреев, около пятисот тысяч из них — в Красной Армии. Сто семьдесят тысяч воевавших на Восточном фронте евреев награждены орденами и медалями, сто тридцать три удостоены звания Героя Советского Союза, сто пятьдесят стали генералами. Откуда же легенды об окопавшихся в Ташкенте, правда ли, что среди тыловиков было много евреев? Может, намозолили глаза бессарабцы, пока их брали только в трудармию? Или польские евреи, что обитали в Западной Украине и Западной Белоруссии, и те, кому удалось к нам прорваться из оккупированной Польши? До организации дивизии имени Костюшко в женской базарной толпе, разбавленной инвалидами, мужики-иностранцы, действительно, были заметны.

...Наступил день суда над Костей-морячком. Маленький зал не мог вместить желающих поддержать обвиняемого. Милиционеры сдерживали натиск толпы. Рискуя, что задавят, я все-таки протиснулся, влез на подоконник.

С улицы и из зала доносились возбужденные возгласы:

— Ишь, нагнали милиции!

— Погрома боятся...

— Инвалиды своего в обиду не дадут!

— С евреями связываться — греха не оберешься...

— Встать! Суд идет! — Слова секретаря покрыли настороженный гул. Председательствующий и заседатели требовательно глядели на публику.

Конвоиры ввели Костю. Он был стрижен под нулевку и походил на великовозрастного запаршивевшего детдомовца.

Вызывали свидетелей. Те показывали: да, видели, сидящий на скамье подсудимых гражданин несколько раз пнул пострадавшего правой ногой... Самого старика в зале не было. Его уже и на белом свете не было — не выдержал экзекуции.

— Покуражился фронтовик, силушки не рассчитал... — сказал кто-то громко.

— И так бы сдох, — ответили ему. Председательствующий тряхнул колокольцем, потребовал тишины.

Потом выступил представитель военкомата. Он заявил, что подсудимый на фронте не был, его инвалидность, якобы вследствие контузии, документально не подтверждается. К злостному хулиганству прибавлялось дезертирство, мошенничество, незаконное присвоение прав инвалида войны. Особо прокурор выдвинул обвинение в антисемитизме — была в советском уголовном кодексе такая статья. Поскольку подсудимый совершил и воинское преступление, было решено передать дело военному трибуналу.

*Нас сотни тысяч, крови не жалея,
Прошли бои, достойные легенд,
Чтоб после слышать: «Это те евреи,
Которые в тылу сражались за Ташкент...»*

Ходившие в списках и приписываемые Эренбургу эти немудрящие стихи считались ответом на послевоенную поэму Алигер «Твоя победа».

Приятель из рыбацкого детства — Фридик рассказывал, как пытался встретиться с Маргаритой Иосифовной, как в телефонном разговоре с ней упомянул о поэме, надеясь в личном общении разрешить свои еврейские проблемы. Алигер отказала ему. Возможно, приняла неуклюжего Фридика за провокатора. Ведь тогда «Твоя победа» была признана официальной критикой идейно порочной и националистической.

*Дни стояли серые, косые,
Непогода улицы мела,
родилась я осенью в России,
и меня Россия приняла.
Напоила непокорной кровью —
водами степного родника,
обожгла недоброю любовью
русского шального мужика.*

*Отвечайте мне во имя чести
племени, проклятого в веках,
юноши, пропавшие без вести,
мальчики, погибшие в боях,
вековечный запах униженья,
причитанья матерей и жен.
В смертных лагерях уничтоженья
наш народ растерзан и сожжен...**

* Привожу, как запомнилось.

К нам в Тирасполь фрагмент поэмы попал в конце сороковых годов. Его размножали от руки, читали девочкам на свиданиях. В Виннице, знаю со слов другого приятеля, сакраментальные строки поэмы звучали даже на заседании школьного литкружка. Что за этим воспоследовало, о том позже.

У Эренбурга нет стихов про Ташкент, но есть такие в книге «Дерево»:

*За то, что зной полуденной Эсфири,
Как горечь померанца, как мечту,
Мы сохранили и в холодном мире,
Где птицы застывают на лету,
За то, что нами говорит тревога,
За то, что с нами водится луна,
За то, что есть петлистая дорога
И что слеза не в меру солона,
Что наших девушек отличен голос,
Слова не те, и выговор не тот,
Нас больше нет. Остался только холод.
Трава кусается. И камень жжет.*

Потому-то, наверно, молва и присвоила Илье Григорьевичу ответ Алигер. В провинциальном Кишиневе соплеменники горячо восприняли и его выступление по радио в день семидесятилетия:

— Я еврей и останусь им, пока на земле существует хотя бы один антисемит.

А как часто именитые евреи отрешаются от национальных корней, игнорируя то, что происхождение и судьба схвачены причинно-следственной связью! Уж не опасаются ли, вконец обрусев, подозрений в неистребимой еврейской заскорузлости?.. И прорыв к общечеловеческому кажется возможен лишь ценой отказа от своего, народного.

Впрочем, не так ли было и с «немцами» — Марксом, Гейне, Берне?

Твой дядя Витя вспоминал, что ему и брату мама запрещала говорить на идиш. Боялась, не испортили бы сыновья себе русскую речь — не возьмут в гимназию, не примут в университет. В императорский университет еврею было нелегко попасть. Вот если креститься... Крещение она отвергала. Не из-за приверженности вере праотцов: претило отступничество. Племянника, перешедшего в православие, отлучила от дома.

Российское произношение братьев было отменным и в старости, хотя младший смолоду мотался по заграницам. Старший, будущий тесть, обретался в Москве, но в недолгие дни моего жениховства, почему-то счел необходимым вставлять в разговоры со мной, выходцем из местечка, отдельные еврейские выражения, усвоенные в детстве, будто устанавливал между нами некую общность, которую вскоре предстояло скрепить родственными узами. Вместе с тем, однажды

он едва ли не гордо заявил, что всегда не любил еврейской кухни и еврейских женщин — в такой последовательности. Гастрономический вкус — бог с ним! Но еврейской женщиной была и родная мать. Что это — Эдипов комплекс навыворот?..

И все произошло в течение жизни одного только поколения.

Когда в октябре сорок первого мы, наконец, осели в Алма-Ате, прервав бегство с берегов Днестра, начавшееся еще в июле, первое пристанище нашли в домовладении Домны Павловны на одиннадцатой линии. Нашли не сразу...

По расчетам мама должна была разродиться в конце августа. Страх, что попадем к немцам, видимо, поборол естество. И вот теперь влеклась вдоль прямой улицы, точно названной линией, выкатив вперед тяжелый живот, — просилась на постой. Я и Мара тянулись следом.

— Эвакуированные мы, — объясняла мама крепконогим семиреchenским казачкам, унимавшим потревоженных собак.

— Самим тесно, — отказывали хозяйки.

У Домны Павловны сердце дрогнуло. А ночью маму увезли в роддом.

С утра Домна Павловна искала в голове у дочки, раздвигая пряди волос кухонным ножом, потом тем же ножом принялась шинковать капусту. В кухню заглянула бабушка.

— Вы кто такие? — спросила наша благодетельница.

— Какие — такие?

Балаболите не по-русски...

— Мы евреи, — с достоинством сказала бабушка.

— Жиды, значит. Где же ваши рога? Слышала, у жидов рога...

Дед и в Алма-Ате надумал строить — приглядел свободное место на улице Гаражной, слепил глинобитную мазанку — кибитку на казахский манер. И через месяц мы уже съезжали от Домны Павловны. Та выставила на прощанье миску квашеной капусты. Бабушка вежливо поблагодарила, но от угощения отказалась.

В новом дворе всем командовала домоуправ Денисова. Прибывали эвакуированные. Без согласия домоуправши не пропишешься. Чтоб задобрить, люди дарили ей кто сберегаемый на черный день отрез материи, кто последние довоенные туфли.

Однажды Денисову обокрали. Она выскочила из сеней, ругаясь и тряся вещественными доказательствами — замком с подпиленными штифтами и четырехгранным напильником, забытым впопыхах воров.

— Уркаганы, тра-та-та! — орала Денисова, расцвечивая ругань непревзойденной русской матерщиной. — Понаехали, голь перекатная, жиды проклятые, тра-та-та!

— Да ведь это Васька, — шепнул я деду, который от греха подальше затаскивал меня в землянку.

- Цыц! Ты откуда знаешь?
- Его напильник, Васькин. Видел у него.
- Ничего ты не видел! Понял?..

Никому не говорил о своей догадке, только Васькина сестра Райка, моя ровесница, будто чувствовала, что знаю, кто вор. Она дразнила меня, нарывалась на драку.

- У-у жид! — кричала Райка и убегала домой со двора.

Не удержался, бросил вдогонку гладкий обкатанный гольш. Пока летел, я напрягся, точно внутренним усилием можно изменить траекторию. Поздно, не промахнулся. Райка заревела, схватившись за голову. Дед всыпал мне по первое число, приговаривая:

- Никому не спускай, когда тебя оскорбляют! Никому!

Уже в Тирасполе, когда я учился в пятом классе, у нас случилось ЧП: Володька Брестюк обозвал жидом Леньку Каминкера. Тот отколоматил обидчика. Брестюк пожаловался директору.

Михаил Петрович Чернобривченко горел в танке, из-за ожогов казался невероятно строгим:

- За что ты его?
- Пусть сам скажет, — ответил Ленька.
- Я повторю, а ты опять врежешь, — осторожничал Брестюк.
- Теперь понятно, Михаил Петрович? — спросил Каминкер.
- Это, конечно, не метод... Чтоб подобного в нашей школе не было больше, — сказал директор и отпустил обоих.

В тираспольской школе такого впоследствии не бывало, может потому, что среди учеников много водилось евреев и они себя в обиду не давали. Но, наверно, и учителя во главе с Михаилом Петровичем этому способствовали.

Жаль только, что простой расклад школьной поры редко сопутствует нам в зрелые годы. После Райки ни разу не слышал «жида» в свой адрес: кому не известно, что я еврей, тот не догадается, а кто знает, не отважится сказать и в злобе. Вот безотносительно — в рассказе ли, в анекдоте оскорбительное словцо стерпеть доводилось. Клянусь себя за то, да как прикажешь поступить в такой, к примеру, ситуации?

Мы снимаем картину на Центральной студии документальных фильмов. Кинооператор жалуется мне, что бывший сокурсник зачитал у него книгу:

- В Израиль жидяра увез!

— Может, тебя в Москве не было, когда он уезжал? Оставил, наверно, кому-нибудь, еще передадут...

— Как же, передадут!.. Держи карман шире! Ну, ничего, пусть едут, собираются до кучи. Легче будет кончить со всеми одной атомной бомбой!

Каюсь, не дал ему в морду. Я, к стыду моему, даже не нашел в себе твердости, чтобы не подавать ему руки.

Директор нашей съемочной группы любил поговорить о судьбе России.

— Царя-батюшку расстреляли, церкви порушили, культуру испоганили... Вспомни, — призывал он меня, — кто кашу заваривал. Им ли было жалеть наше кровное — троцким, зиновьевым, каменевым?..

— Вот и отпустили бы тех, кто хочет в Израиль...

— Раньше и я так думал. Но на «Тайном и явном» был у нас неофициальный консультант, — фамилии не назову — фигура, генерал КГБ, — так он меня просветил: зачем, говорит, их отпускать, ведь они наши потенциальные враги? Лучше — придет час — здесь перестреляем! Мудро?..

Этот директор — антисемит, так сказать, идейный.

Знал интеллигента, сына генерала медицинской службы, который стал антисемитом, не влюбив отчима жены, внучатого племянника поэта Константина Бальмонта. Почему-то он не сомневался, что родство с Константином Дмитриевичем изобличает еврейское происхождение: придуманное еврейство помогло объяснить изъяны некровного тестя. Испортились и с женой отношения — ушла к сослуживцу, который, как на грех, оказался евреем. Ну, как не превратиться в убежденного юдофоба?..

Сотрудник в женском журнале покойный Сергей Семенович Кухаренко возненавидел евреев из зависти. Не столь давно он работал корреспондентом ТАСС в Мексике, но, злоупотребляя текилой, местной дешевой разновидностью водки, не удержался на заграничной службе. К нам попал, точно в ссылку.

— Еврей никогда не сопьется, — откровенничал со мной Сергей Семенович. — Хитрое племя... Об одном жалею, что помешали Гитлеру в окончательном решении еврейского вопроса.

Причины у каждого свои, а вариантов не счесть.

Между тем, Денисова пустила к себе квартиранта. Это был средних лет инвалид, только что из госпиталя. Во дворе поговаривали, что он хахаль Денисовой.

Видимо, неловко ему было перед соседями.

— Ничего не поделаешь, жизнь берет свое, — на еврейско-белорусском диалекте оправдывался он перед дедушкой. — Когда я узнал, что жена и детки не успели эвакуироваться, совсем потерял голову. Через то меня и ранило...

— Жить надо, — соглашался дед.

Инвалид оказался искусным сапожником, доставал где-то кожу, шил на продажу сапоги. Стоили они тогда не меньше трех тысяч.

— Богач!.. И такой человек попал в лапы этой хулиганки Денисовой! — вздыхала бабушка, горюя о двух вдовых дочерях и третьей — девушке на выданье.

Сапожник исчез так же неожиданно, как и появился. Почти одновременно пропала и собака Денисихи. И тут же домоуправшу обо-

крали во второй раз. Новые воры действовали в точности, как Васька, будто он их и научил из тюрьги: под дверью опять валялся распиленный замок. Кроме вещей хозяйки похитители утащили и все пожитки отсутствующего квартиранта.

Трюк с замком не остался незамеченным.

— Вернется богач, а барахлишка его нет, — говорил дед.

Вскоре во двор нагрянула милиция с ищейкой. Принюхавшись в сенцах, собака потянула в денисовский подпол, где и были обнаружены присыпанный землей трупик хозяйкиной Жучки, а рядом — останки сапожника.

Зачем Денисова порешила квартиранта, с которым жила как с мужем? Он зарабатывал много, отдавал все деньги. На суде выяснили, что и припрятывал кое-что на случай, если отыщется семья. Из-за этих-то сбережений его и убила Денисова. А чем виновата бедная Жучка? Выла по ночам, не давала спать — пришлось и ее.

Денисова созналась в совершенном преступлении, надеясь на снисхождение судей: ведь не человека пристукнула — еврея. Так и сказала в заключительном слове. Получила десять лет.

Война обострила национальные противоречия. Не действовала ли фашистская пропаганда? И именно с этого времени это чувство — ты неугоден чем-то. И выработывалась мимикрия, готовность не выдать себя, и жалкая радость, что, к счастью, ты светлорус, нос без горбинки, глаза серы. И если не очень пялиться на окружающих и спрятать предательскую грусть во взоре, никто не признает. И говор перемчив, и подевалась куда-то южная тягучесть речи, и сами собой выскакивают казацкие присловья.

Мы вернулись в Тирасполь 26 ноября 1944 года. Дом, где жили до войны, сожгли при отступлении немецкие факельщики — чернел обгоревший остов. Дедова же недвижимость, купленная в сороковом на деньги от продажи последнего самолично выстроенного дубоссарского особняка — с инициалами на дверях, стояла целехонька. В ней квартировали солдаты городской комендатуры. Сарай же пустовал. Там нам приткнуться разрешили. Одиннадцать душ — пятеро детей и шесть человек взрослых — поселились в захламленном неотапливаемом помещении, хотя по утрам уже случались заморозки.

Мама была тогда молодая и, как говорила бабушка, умела отпирать запоры. Управу на бессердечного коменданта она нашла в лице генерала, начальника гарнизона. Дедов дом освободили от постояльцев.

Спали на полу, едва прикрыв тряпьем выщербленные доски, вповалку, потому что ни кроватей, ни другой мебели не сохранилось. Ночью раздался стук с парадного крыльца.

— Открывай, проверка!

— Какая проверка? Вы кто? — спросил дед сдавленным голосом.

— Комендатура!

Оснований для дедова страха было достаточно. С наступлением темноты, говорили, шалит «Черная кошка». А называется банда так потому, что будит обывателей нестерпимыми кошачьими воплями.

Страхов хватало и днем: то затеют драку со стрельбой и сабельной рубкой проходящие через город донские казаки и матросы Дунайской военной флотилии, то кто-нибудь выпустит вдоль улицы автоматную очередь трассирующими просто так, по бродячим псам.

Проехали полстраны, чтоб попасть на родину, именно на родину, близился конец войны. Не довольно ли опасностей?!

В Алма-Ате бабушка причитала:

— За что, Господи, ты забросил моих детей на край земли?.. Дай им вернуться. И мне с ними. Поцелую родные камни — согласна умереть.

Однажды бабушка, перебрав бобы для супа, сказала:

— Запомните, дети, было такое время, когда фасолина стоила пятнадцать копеек...

Я не забыл этих бабушкиных слов и алмаатинские ее обещания помнил. И, слыша жалобы на тираспольские напасти, жестокосердно говорил:

— Не видел, чтоб ты целовала камни, значит, бог не позволит тебе умереть...

Жизнь была беспокойная, но на удивленье сытая. А, может, так казалось, потому что не переводилась мамалыга, о которой мечтали три с лишним года. Бабушка вываливала ее из огромного казана прямо на выскобленный добела стол. Ели с брынзой и маслом, с чесноком и молоком, с черносливовым взваром и иногда даже с мясной подливкой. Рынок поражал изобилием: ведь только что молдавская земля вынесла оккупацию, волну отката сначала румын, потом немцев и мощный вал советского наступления.

Когда ехали сюда, уже на Украине к поезду выходили бабы с жареными курами, с кринками ряженки и глечиками сливочного масла. Любой продукт можно было получить лишь в обмен на соль. Мы, к счастью, по чьему-то совету запаслись ею у Эльтона и Баскунчака.

На тираспольском богатом базаре все было намного дешевле, чем в Алма-Ате. Это вначале. Но еще не успели подкормиться, как точно Мамай прошел по рыночным рядам. Торговля кончилась. В левобережной Молдавии восстановили колхозы. Обобранные крестьянские дворы, оставшиеся к тому же без мужской рабочей силы, мало что могли дать городу.

Потом коллективизация перекинулась и на Бессарабию, ее очистили от кулаков, то есть крепких, толковых хозяев. После засухи сорок шестого года, а закрома выгребли до доньшка, голодной смертью умерло больше двадцати тысяч человек.

Это был второй голод на коротком моем веку. Первого не помню: мама еще не отлучила меня от груди. Он тоже почему-то совпал с колхозами.

Дом деда в Тирасполе находился рядом с пристанью. Речной вокзал заняли под дистрофическую больницу.

В городе учредили и особые столовые. Их тоже именовали дистрофическими. Раз в день там можно было получить миску супца с рыбьими глазами. Давали по справке, что ты признан врачом дистрофиком. И долго еще у ребят было в ходу обидное слово «дистрофик».

Я пытался расколоть пень на задворье и вдруг услышал за изгородью странные звуки. Прильнул к щели. Из больничного погреба выносили голых мертвецов и бросали в кузов грузовика. Мерзлые тела гулко ударялись о деревянное днище.

...Дед, трясясь от страха, все еще стоит за дверью парадного.

— Открывайте немедленно!

Чего они ищут в мирном спящем доме далеко от линии фронта?.. Филенки трещали под ударами прикладов.

Дедушка отодвинул засов. Из темноты шагнуло несколько фигур в плащпалатках. Луч фонарика скользнул по углам, на миг ослепил.

Должно быть, мы являли жалкое зрелище, кое-как прикрытые тряпьем на щербатом полу. Ночные гости ушли. Среди них был и комендант. Ушли, громыхая сапожищами.

Уже наступил сорок пятый, когда куда-то запропали и щеголеватый капитан, возглавлявший комендатуру, и его блондинистая жена, которая прогуливала по центральной улице дымчатого трофейного дога. Исчезновение совпало с прекращением налетов «Черной кошки». И потому, наверно, по городу прокатился слух, что в банде верховодил комендант.

Мама повела меня в школу — записываться в четвертый класс. Директор сказал:

— Принесете стул, приму.

Возвращались мы невесело. По дороге встретился пожилой солдат.

— Отчего пригорюнились?..

— Да вот, без стула в школу сына не берут, — ответила мама.

— Пойдем со мной, парень, — сказал солдат. Он велел подождать его у казармы и скоро вынес добротную табуретку на круглых ножках и с прорезью в сиденье, чтоб по-немецки удобно было переставлять. Проблема моего дальнейшего образования была решена.

Учительница четвертого класса, сухошавая и строгая, оказалась по специальности математичкой. На уроках в основном занимались решением арифметических задачек.

Неожиданно учительницу убрали. Не стало и директора. Оказалось, они работали в школе и при румынах. Обоих выслали в Сибирь, как тогда говорили, за сотрудничество с оккупантами.

Однажды я повстречался на улице с довоенным дворовым другом. Рассказал маме. Она надумала сходить к бывшим соседям, расспросить, не знают ли, куда подевалось наше добро. Дом, где мы жили,

ведь стоял цел-невредим до вражеского отступления — факельщики подожгли его напоследок.

Теперь семья моего дружка занимала особняк, владельцы которого убежали с фашистами. Дальше кухни маму не пустили.

— Нет, не до чужого было, дай Бог, свое уберечь... И не видела, кто забрался в брошенную квартиру, — отнекивалась хозяйка. — Воры орудуют по ночам, а в темноте — как их разглядишь!..

Мама, ступив через порог, сразу узнала кухонный шкаф. Его, правда, перекрасили из белого в коричневый, но, несомненно, это был сделанный отцом (не забыл уроков тестя!) шкаф — такого и не купишь нигде.

— Да вот, кажется, у вас стоит моя вещь? — сказала мама.

— Простите, Анечка, нечистый попутал. Уж мы к вам попали, когда все растащили... Шкаф да перина остались. — Она ушла в комнаты и принесла в охапке пышную пуховину — мамино приданое. Так к нам вернулась часть нашей собственности.

После войны по Тирасполю ходила комиссия, составляла списки утраченного имущества, оценивала его. Мама насчитала на восемьдесят тысяч. Ей вручили копию иска.

— Ждите, со временем разбогатеете.

Этот иск долго хранился у мамы вместе с квитанцией на сданный чуть ли не в первый день войны приемник 6Н1 — папину премию за успехи завода. Потом, видя в кино, как французы или англичане слушают по радио сообщения с театра военных действий, я недоумевал: откуда аппараты? Не заботятся западные правительства о душевном покое своих граждан...

Весна в тот год наступила торопливая, дружная.

Мигом все зазеленело, точно листья были вложены в почки готовенькими.

Мы любили играть в футбол. Играли прямо на мостовой: на нашей улице, которая впадала как бы в Днестр, машины проезжали редко. Гоняли часами. А вывернет откуда автомобиль, хватать мяч — и на тротуар. Берегли свою забаву и, как индусы, гоняли босиком, хотя брусчатка — не трава под ногами.

Старшина спускался сверху, из центра. Шел, заплетаясь, видно, здорово налакался, но вдруг выскочил на дорогу, отнял нашу кожаную драгоценность.

— Товарищ старшина, отдайте, у нас нет другого!

Пьяный не обращал внимания на просьбы. Дядя одного из футболистов сидел на лавочке у дома, наблюдал за ходом бесконечного матча. Ветеран гражданской и старый партиец, он не мог не вступить за мальчишек.

— Старшина, и не стыдно тебе обижать пацанов?

— Не встрейвай, жидовская морда! — отрезал военный.

— Ах ты, бандит! — крикнул дядя, вскакивая с лавочки и размахивая тростью.

Тут старшина выхватил из кобуры ТТ и, не целясь, выстрелил.

То, что произошло дальше, запечатлено в моей памяти точно снятое рапидом: застывший, с раскрытым ртом дядя, ребята, вязнущие в загустевшем летнем воздухе, и опадающая наземь женщина. Она даже вскрикнуть не успела — пуля попала в сердце.

Так в первый раз у меня на глазах убили человека. Женщина была беременна — убили двоих.

Возможно, старшина не думал стрелять — хотел только припугнуть нашего заступника, но подвел предохранитель. Не сразу сообразил, что случилось. А когда дошло, кинулся убежать. Он убежал дворами.

Подоспел комендантский патруль и перерезал ему путь. Заломили руки, связали за спиной ремнем и повели старшину в кутузку, избивая по дороге. Почему так остервенело? Он был свой. Солдаты сводили с ним счеты.

Русский — единственный мой грамотный язык. Потому и пишу на нем.

*Когда умирал,
— Мама! — позвал я по-русски.
А ведь слово похоже звучит .
На всех языках, которые знаю.*

Я и думаю по-русски. Значит ли, что думаю, как русский? Речь не о складе ума. Мне кажется, обрусевшим представителям других народов все-таки открыто и что-то свое, особенное. Примеры? Фазиль Искандер или Олжас Сулейменов, их творчество.

Но русская самобытность — постижима ли она теми, кто прилепился к российской почве? Не остается ли непреодолимым некий психологический барьер?

Давно известно, что инородцы, как их прежде называли, изучившие русский язык, говорят на нем правильнее, чем природные русские люди. Тут само напрашивается обвинение в обезьяньей склонности усваивать чужое, в книжности, неорганичности, искусственности.

А евреев еще корят: ну, зачем встреваете, бросили родную землю, потому и утратили подлинно национальную жизнь и путаетесь в ногах у других.

Да, мы рассеяны по белу свету, но разве не было борьбы Маккавеев, подвига Мосады, восстания Бар-Кохбы? Наша вина, что сумели уцелеть в потоке времени. Из народов-ровесников кто еще жив сегодня? Разве ассирийцы, айсоры — московские чистильщики обуви?

Что верно, то верно: мы себя не ограждали от влияний, ассимилировались, как никто, готовно и до конца.

Бабушка Сима вот уже два года внушала маме:

— Пора пристроить парня к делу. В старое время вдова с тремя детьми, будь дом у нее хоть под золотой крышей, отдавала всех учиться ремеслу. Пусть идет в сапожники. А еще лучше — в заготовщики. У тех заработки лучше.

Мама меня жалела.

— Маленький он, вот окончит семилетку...

Наконец, свидетельство о завершении неполного среднего образования получено. Сплошь пятерки. Мама, ничего мне не сказав, отправилась с ним в Кишинев. Сам того не ведая, я стал студентом строительно-энергетического техникума. Перед первым сентября мы долго говорили с мамой о моем будущем. Согласился: надо ехать. На пропитание выдано было пятьдесят рублей.

— Стипендию обещали числа десятого — сто сорок. Продержись, сынок...

Большинство на курсе составляли демобилизованные, прошедшие войну солдаты, сержанты, офицеры. Таких, как я, малолеток было немного. Общежитие располагалось тут же, в здании техникума. После занятий обитатели нашей комнаты, а было нас человек двенадцать, сотворив во дворе очаг из двух котельцов, варили суп в оцинкованном ведре. Отужинав, садились за уроки.

Недавние воины позабыли математику, физику и все прочее, я же щелкал задачки легко, охотно объяснял решения. Благодарные товарищи избрали меня заместителем старосты курса.

Деньги вышли, а стипендии не было. Не помирать же с голоду — в субботу подался в Тирасполь. Поезда осаждали безбилетники. Кондукторы шугали нас из тамбуров, гнали с подножек. Не давали «зайцам» спуска и контролеры. Мы взбирались на крыши вагонов по узким железным лестницам, бегали вдоль составов. Мне укрыться от погони удалось в паровозном тендере. Здесь, на угле, и доехал до Бендер. Оставшиеся восемь километров прошел пешком. В третьем часу ночи измотанный, отощавший, присыпанный черной пылью, я постучался в родительский дом.

Мама заплакала, метнулась к печке — разогреть чайник. Она будто чувствовала, что нагряну в конце недели, что-то оторвала от себя, от дочек — мне на ужин.

Отоспавшись, собрался в магазин канцелярских принадлежностей — купить карандашей, чертежных перьев, как требовал преподаватель, служивший при румынах в гимназии. Он был строг, этот преподаватель. На центральной улице 25 Октября, до сих пор по старинке называемой горожанами ее дореволюционным именем Покровская, встретил завуча нашей первой мужской школы Зиновия Марковича Каменира.

Зиновий Маркович читал историю. Он появился у нас в сорок пятом в кителе из английского хаки, какие носили тогда советские офицеры, с двумя рядами орденских планок над левым карманом. Тщедушный Зиновий Маркович всю войну был политработником и, должно быть, на фронте обнаружил свою храбрость — ордена были боевые. Ученики любили Зиновия Марковича за справедливость и добрый нрав. Преподавал интересно, хотя слабо было ему, с отрочества захваченному пропагандой общественного переустройства, окончившему захудалый провинциальный пединститут, подняться до неортодоксальных взглядов. В окопах кое-что понял, наверно. Нас берет — ничего не говорил сверх дозволенного...

В последний раз видел Зиновия Марковича в начале семидесятых. Он недавно похоронил жену, болел. Поцеловал меня, уколов многодневной щетиной. От него пахло неопрятной старостью.

Посидели, перебирая блажные послевоенные годы.

— Сходим в школу, — предложил Зиновий Маркович.

— Перешли через улицу, поднялись на второй этаж. Завуч отпер классную комнату, где был наш десятый, просеменил к парте, за которой я некогда сидел.

— Не забыл?..

В коридоре пожилой учитель вешал диаграммы на стены.

— Наш питомец, — гордо представил меня Зиновий Маркович.

Учитель приветливо улыбнулся, всмотрелся.

— Нет, не знаю. Я ведь пришел через год после выпуска Павлика Сиркиса.

В каждом, даже очень маленьком городе, да что там! — в любом селе, где есть школа, есть и свой Павлик...

А тогда, встретившись на Покровской, мы поговорили немного о техникуме.

— Мама дома? — почему-то спросил завуч.

— Дома.

— Пойдем к вам.

Маму удивил приход завуча.

— Анна Наумовна, — начал он с порога, — и учителя, и ученики очень жалеют, что вы взяли Павлика из восьмого класса. — Звук «ы» он брал с разбега: «ывзяли».

— В техникуме стипендия, через четыре года — специальность.

— Техникума он не закончит — заберут в армию после третьего курса. А стипендия... Обещаю: мы найдем ему работу рублей на двести в месяц.

— Спасибо, Зиновий Маркович! — просияла мама.

В понедельник я объявил в техникуме, что бросаю учебу.

Завуч сдержал слово. По его совету, меня пригласили репетитором родители упитанных близнецов-пятиклашек.

Занятия в школе начинались в полдень, поэтому к состоятельным братьям приходил с утра. Их мамаша кормила нас завтраком.

Затем под моим наблюдением лентяи готовили уроки. Платили две сотни.

Так, переменяясь то репетиторством, то рисуя наглядные пособия, а летом состоя воспитателем в пионерском лагере, и дотянул до аттестата зрелости.

Двадцать пятую годовщину окончания школы отмечали в мае семьдесят шестого. В Тирасполь приехали почти все, кто был тогда жив и кого удалось оповестить. Сходились к своей первой средней выдавшие виды мужчины. Многих я не встречал со дня выпуска.

— Это ты?..

— Бреясь и сам не узнаю свое отражение...

— Ну и пузо!

— Не пузо, а комок нервов, панымаешь!

— Где твой чуб, дружище?

— Волос, он и на срамных местах растет...

— Глянь, у Шкета медаль «За трудовое отличие»!

— Стараюсь.

Из учителей наших никого не осталось — вышли ни пенсию, умерли.

— Ты... вы... Павлик Сиркис? — обратилась ко мне немолодая полная женщина. Я узнал ее сразу — Валентину Игнатъевну, школьного военрука из сорок четвертого года. Тогда ей, недавнему санинструктору, юной и красивой, но ужаленной свинцом, пришлось заниматься с нами, мальчишками, изучением русской трехлинейки и строевой, потому что не нашли демобилизованного по ранению мужчины. Валентина Игнатъевна заохала, вспоминая, как мы с ней прочесывали карьер — искали старосту нашего класса Володю Бабичева. Он лежал далеко от воронки без рук и ног, в запекшейся крови.

Тираспольский карьер, где до войны добывали песок, после отступления фашистов превратился в пацаний арсенал. Трофейные команды свезли туда брошенные оккупантами оружие и боеприпасы, а охраны не поставили. Вот мы и таскали из карьера гранаты и мины, винтовки и патроны. Мудрено ли, что среди нас были безрукие и беспалые, одноглазые и в рубцах от ожогов. И это казалось обычным: ведь еще продолжалась война.

А еще через год, помню, мы глушили рыбу в Днестре. Вставляли запалы с бикфордовым шнуром в противотанковые взрывные устройства, опускали их на глубину, швыряли лимонки в заводах, чтобы потом нанизывать на кукан всплывших кверху брюхом карпов и маринок.

В то лето, лето Победы, обнаружили на дне реки баржу, груженную снарядами. Она затонула, наверно, в сорок первом. Ныряли, доставали фугасы, вывинчивали с помощью скобы сырые детонаторы, извлекали фосфор. Порох для просушки спрятали на чердаке: его, как известно, надо держать сухим... Когда он совсем просох, мы ре-

шили устроить салют. Поджигал товарищ. Мне досталось бросать в поднебесье туго набитые шелковые мешочки.

Открыл глаза после яркой вспышки. Мои руки были пусты и черны. Товарищ плакал.

— Умывай лицо! — крикнула подоспевшая соседка и плеснула на меня простоквашей из глечика. Я потерял сознание.

Очнулся дома — лежу на кровати. Мама подводила набежавших родных и знакомых, спрашивала:

— Кто это?.. Скажи, кто это... Пересиливая боль, размыкал обгоревшие веки, угадывал. Но мама не верила, что я вижу.

Вернемся, однако, к нашему юбилею и к Валентине Игнатъевне. Она вспоминала:

— И всегда-то вы что-то находили на свои головы!.. А ты был высоконкий, худенький — одни глаза...

Узнали адреса еще живых учителей и разъехались приглашать их на встречу.

В шесть вечера все были в сборе. Мы, выпускники 1951-го, волновались за столами для акселератов, — в наше-то время были парты. Педагоги сидели перед нами как бы в президиуме. Встала Валентина Игнатъевна, посмотрела на нас сквозь слезы.

— Дорогие ребята, сегодняшний урок был вам задан четверть века назад... Пусть первым выйдет к доске... Павлик, иди ты...

Я вышел, пытался что-то сказать и не мог. Заедало, рвалось, заклинывало звуковую дорожку, как иногда бывает на монтажном столе, когда пускают пленку с предельной скоростью. Потом все-таки справился с собой, заговорил об иллюзиях юности, обманутых надеждах, благодарил.

Поздно ночью на набережной, после банкета, рядом со мной оказался один из моих доброжелателей.

— Не хотелось бы тебя огорчать... Короче, Левка Дронин сказал, что ты сионист.

Назавтра по программе отправились с утра на другой берег Днестра, в лес, куда не раз бегали с уроков в школьные годы. Лес под боком у города — самая симпатичная достопримечательность Тирасполя.

Был пикник на лоне природы, возлияния, клятвы в вечной дружбе и любви, слезы сожаления о молодости, которая пронеслась, — все было. На обратном пути нас с Дрониным прибило друг к другу в беспорядочной мужской гульбе.

— Послушай, Левка! Мне передали, что ты назвал меня сионистом. На каком основании?

— Да, назвал. И в глаза повторю. Такой человек, как ты, не может не быть сионистом!

— Чего же медлишь — напиши донос...

— И написал бы, да время сейчас не то.

— Дать бы тебе по роже...

— Не стоит, Пашка. Подеремся — праздник испортим. Еще встретимся... по разные стороны фронта, еще стрелять друг в друга будем. Вот какой получился разговор с Дрониным.

Дронин попал в нашу школу, когда мы были уже в седьмом классе. Приехал с родителями откуда-то из России и сразу же доказал свою незаурядность: учится легко, без натуги, силен в математике, а сочинения пишет — ну, просто Писарев, так оригинально. Бывал у него и дома. Отец, инженер-мелиоратор, крепко пил, опустил, но чувствовалось, что знал человек лучшие времена, многое помнил и интересно рассказывал — ведь образование получил в Москве, живого Маяковского слышал.

Наступили экзамены на аттестат зрелости. Молдавский язык Дронину не вытянуть на «пятерку»: как-никак мы зубрили его с четвертого. Значит, чтоб получить серебряную медаль, все остальное нужно сдать «кругом отлично». И сдал. На беду, оценку по литературе в министерстве просвещения срезали.

— Это несправедливо, — доказывал я, — мне — золотую, а Леве — никакой...

— К сожалению, от нас сие не зависит, — сказал директор школы. — С министерством не поспоришь...

— Это почему же?..

— Вот что, Зиновий Маркович, — вдруг решил директор, — поезжай с нашим смельчаком в столицу. Авось, что-нибудь выйдет...

На следующий день вдвоем с завучем отправились в Кишинев. Заместитель министра, выслушав доводы в пользу Дронина, затребовал Левкино сочинение, просмотрел его при нас и добавил недостающий балл.

— Молодец, что вступился за товарища. Сам-то куда думаешь поступать?

— В Московский университет, на отделение журналистики.

— Лучше бы в наш, Кишиневский.

— В нем не готовят журналистов.

— Мы тоже ему советуем не уезжать далеко: сын погибшего, без отца вырос... — вставил слово Зиновий Маркович.

— В белокаменную рвешься?.. Ладно, попробуем тебе помочь, — заключил добрый замминистра и приказал выдать мне бесплатную туристскую путевку для путешествия в Москву и пятьсот рублей наличными.

В назначенный срок присоединился к группе учительских детей — экскурсия устраивалась для них, двинул в МГУ. Едва прибыли, разместились на турбазе, не утерпел — помчался на Моховую. Строгая классика бело-желтых университетских зданий настраивала на высокий лад: так вот где сподобился учиться!..

Наутро, чуть свет — я у дверей филфака. Дождался открытия. Секретарь приемной комиссии, русопятая красавица с венком пергид-

ролевой тусклой косы вокруг головы, взяла документы, недоверчиво вглядываясь в каждую букву.

— А это что? — спросила она, дойдя до характеристики.

— Комсомольская характеристика.

— Почему не по форме — на бланке горкома и подписана его первым секретарем?

— Так положено: я член городского комитета комсомола.

— За бумажки прячетесь?..

Я с четырнадцати лет горел на общественной работе — готовил вопросы на всякие бюро и проворачивал различные мероприятия, боролся за поголовный охват несоюзной молодежи и выступал с пламенными речами на активах, составлял проекты резолюций и месил грязь в инспекционных проверках первичных и вторичных организаций, торчал часами на заседаниях, корчась от голодных спазмов в желудке, и срывал голос, подхлестывая и убеждая нерадивых. И вот — дождался.

Скользнула по мне следовательским взглядом.

— Собеседование по иностранному языку сегодня, по специальности — завтра.

Преподавательница немецкого дала прочитать и перевести довольно сложный текст, погоняла по грамматике и отпустила.

«Специальную» подготовку ревизовала представительная комиссия. Возглавлял ее доцент Ухалов. Он и задал первый вопрос:

— Скажите, вы не финн по национальности?

— Нет.

— А кто?

— Еврей.

— Если не ошибаюсь, вы из Молдавии? Там есть университет. Почему поступаете в МГУ?..

— В Кишиневе нет отделения журналистики.

— В общежитии нуждаетесь? У нас мест нет.

— Частной квартиры я не осилю: отец погиб, у матери — еще двое.

— Поговорим о вещах профессиональных, — нарушил наш с Ухаловым диалог один из членов комиссии. — Каким размером написано первое вступление в поэму Маяковского «Во весь голос»?

— Маяковский придерживался тонического стихосложения.

— А вы все-таки попробуйте, разбейте на стопы первую строфу. Возьмите мел, изобразите на доске.

Воспроизвел четыре строчки, оговорив, что не помню разбивки лесенкой, проставил ударения, разделил слова на слоги, пытаюсь определить размер. Ничего не получилось.

— Довольно, — сказал задавший вопрос.

— Вы свободны, — добавил Ухалов.

Результат узнал на другой день.

— Вам отказано в приеме за отсутствием общежития, — безразлично сообщила тусклокосая красавица.

«Неужели не нашлось для меня захудалой койки?.. Где же справедливость?.. Вот, повесили портреты Белинского, Лермонтова, а ведь первого исключили из университета, второй оставил его сам...» — думал я, потерянно бродя по коридорам филфака, пока не уткнулся в дверь с табличкой «Партбюро». — «Господи, это-то мне и нужно, здесь мое спасение!»

Секретарем партбюро оказался тоже член комиссии, не проронивший на собеседовании ни слова. Теперь он был даже по-своему участлив.

— Скажите, у вас и отец, и мать — евреи?

— Да, евреи.

— Жаль.

— Почему жаль?

— Будь хоть один родитель из молдаван, мы могли бы принять вас в счет лимита вашей республики. А так — нет мест. В будущем году сдадут здание на Ленинских горах. Попытайтесь снова.

Получил обратно документы. К ним была приколото бумажка со следующими записями: «Немецкий язык знает хорошо».

«Знания в русском языке неуверенные.

Прием на отделение журналистики нежелателен».

Уж который час вышагивал по улицам Москвы, забыв об обеде. Ну, верно, провинциальная школа... Но разве наши выпускники не поступали каждый год в московские вузы?.. И, собственно, как могла комиссия судить о моих знаниях, если спрашивала совсем о другом?..

На Кировской, кажется, обратил внимание на вывеску: «Военно-механический институт». Стенд у входа завлекал повышенной стипендией и общежитием для всех нуждающихся. Вот и отлично, неожиданно решил я: сейчас зайду, напишу заявление. Военно-механический — значит, причастен к армии, в армии справедливость и порядок. И жилье будет, и повышенная стипендия.

Все отняло пятнадцать минут. Человек с офицерской выправкой взял у меня бумаги, а возвратившись, сказал:

— Принять не можем.

Вон из этого бездушного города! Помчался на турбазу, собрал чемодан, черкнул прощальную записку экскурсантам — и на Киевский вокзал. Билет купил до Одессы — там, в водном институте училось несколько моих старших друзей. Займусь практическим делом, буду кораблестроителем.

Прибыв в Одессу, тотчас отправился в гуртожиток водного, разыскал одного из ребят.

— У нас и койка освободилась, — радовался он. — Тут и поселишься. Чудо, что меня застал. Каникулы проходят, а я загораю в институтском комитете комсомола. Сбегай, сдай документы — и мигом назад. Отметим твое поступление.

Ответственный секретарь с вислыми гайдамацкими усами процедил на мови — даю перевод:

— Решение приемной комиссии будет завтра.

Земляк познакомил меня в общежитии с соседями по комнате. Он еще не оставил мысли затеять сабантуй, отметить начало моего студенчества, но я твердо отказался.

Утром гайдамак из приемной комиссии возвратил многострадальные папери. На них была резолюция: «В приеме на кораблестроительный факультет отказать».

Друг-земляк не верил собственным глазам.

— Такого еще не бывало! У нас и серебряных медалистов всегда брали. Нет, тут что-то не то. Пойдем в комитет комсомола.

Комсомольский лидер водного института, выслушав своего комитетчика, поспешил в партком. Пока он объяснялся с партийным начальством, я томился в коридоре.

— Иди сюда, — позвал ходатай, выглянув из дверей.

Парторг был сухощав, подтянут. Цивильный костюм сидел на нем, как военно-морская форма.

— Рассказывай, только без утайки, — предложил парторг. — Может, какие изъяны в биографии?..

Я поведал свое короткое жизнеописание.

— Ну, хорошо. Подождите, я скоро.

Он вернулся минут через сорок.

— Пришлось дойти до директора. Тебя примут. На любой факультет, кроме кораблестроительного. Выбирай. На первых двух курсах программа одинаковая. Потом переведешься.

В тот же день я был зачислен на факультет механизации портов и водных сооружений Одесского института инженеров морского флота, с предоставлением общежития.

В Тирасполе каждый встречный спрашивал:

— Журналистом будешь?

— Нет, я поступил в водный.

— Как же МГУ? Не принимают евреев?..

Я спорил, доказывал, что национальность здесь ни при чем, говорил про здание на Ленинских горах.

Больше всех огорчилась мама.

— Ты же мечтал писать. Как же так, сынок, не посоветовавшись ни с кем, можно ли?.. Если уж не Москва, то и не Одесса, где у нас ни души родной. Еще не поздно. Переводись в Кишиневский университет. Там тоже филфак, конечно, похуже московского, но при желании — в общем, все зависит от человека... И дядя Фима рядом.

Маме вторили школьная учительница литературы Клавдия Яковлевна и завуч.

— А твои стихи? — спрашивала учительница. — Ты же по складу характера гуманитарий...

— На инженера выучится любой человек с нормальными способностями, чтобы заниматься словесностью, нужна божья искра... — добавлял Зиновий Маркович.

Убедили. Я поехал в Кишинев и снова предстал перед ответственным секретарем приемной комиссии, на сей раз — КГУ. Этот кавказец был и начальником учебной части университета. Узнав о моих метаниях, он заметил, что на филфаке золотых медалистов пока нет, так что могу отправляться за аттестатом. Общежитие обещает твердо. Говорил кавказец тихо, размеренно. Акцент придавал его речи привычную убедительность.

Снова повлекся в Одессу. И снова возник перед гайдамаком.

— Нэ виддам паперив. Парторг за тобэ хлопотава, до нього и иды.

Опять сижу у партийного секретаря, каюсь в непостоянстве.

— Что ж, видно, не судьба тебе у нас учиться... — Снял трубку, позвонил в приемную комиссию. — Верните Сиркесу документы.

Кавказец, когда явился к нему через день, встретил меня с все той же восточной невозмутимостью. Спустя минуту я был зачислен студентом филологического факультета «с предоставлением частной квартиры».

— Как это?..

— Так написано для проформы. Общежития распределяют общественные организации. Вы что, не верите моему слову?.. Будет вам место. Приходите 31 августа прямо ко мне.

В канун учебного года стою перед кавказцем, прошу обещанного ордера на общежитскую койку. Смотрит, будто впервые видит, потом, должно быть вспомнив, достает из ящика стола папку.

— Пойдем в ректорат.

В просторной комнате трещат секретарши и пишущие машинки, не смолкают телефонные звонки.

— Подождите здесь.

Кавказец отсутствует долго, а появившись, велит машинистке:

— Допечатайте его на русское отделение, — и протягивает папку — забытое, как теперь становится ясно, мое досье. — Ну, теперь все в порядке. — Последние слова обращены к новоиспеченному студенту. — Но об общежитии и не заикайся: еле уломал ректора...

— А жить где?

— Потерпи. Улягутся страсти, что-нибудь придумаем.

Я ночую у ребят с курса, у родственников и, отчаявшись, сообщаю маме о своем бесприютстве.

— Ты просто не умеешь объяснить людям наше положение! — кричит мама на том конце провода.

В субботу у филологов военный день. Держу равнение в строю у гаубицы и слышу зов дневального.

— Курсант Сиркес, к полковнику!

Откуда, думаю, он знает о моем существовании и за какие грехи требует к себе?.. В кабинете начальника военной кафедры против полковника сидит мама. Полковник занят телефонным разговором.

— А я настаиваю — обеспечить сына погибшего офицера койкой вы просто обязаны! — Полковничье лицо рдеет от возмущения. —

Нет у вдовы денег на частную квартиру... Уполномочен теми, кто не пришел с войны. До командующего округом дойду, но не отступлюсь!..

Свирепо нажимает на кнопку, вызывает лаборанта.

— Этот курсант, — я вытягиваюсь перед начальством по стойке «смирно», — будет спать здесь, пока не получит общежития.

Потом мама рассказывала, как попала к полковнику. Ректор выслушать ее не пожелал. В слезах полпелась на военную кафедру, прочитав в расписании, что у первокурсников-филологов занятия именно там. Дожидаясь перерыва, сидела на скамейке вблизи милитаризованной территории, где маму и увидел дежурный майор. Подошел, спросил, что случилось, доложил о плачущей женщине начальнику.

Лаборант, как было приказано, ежедневно оставлял для меня ключ от кабинета. После лекций, с половины десятого, я располагал продавленным диваном, спал, постелив газеты на покоробившуюся клеенку. Приходя на кафедру первым, старый полковник деликатным покашливанием будил незадачливого постояльца.

Сильна была комсомольская закваска, несмотря на московские удары. Узнав, что Костю Простосинского, бывшего партизана и первого секретаря Тираспольского горкома, избрали вторым секретарем ЦК ЛКСМ Молдавии, обратился к нему за помощью.

— Сейчас подготовим письмо ректору — завтра же будешь с жильем, — сказал Костя, выслушав историю моих злоключений. — Сам и отнесешь в запечатанном конверте. Так вернее.

Отнес. За результатом велено было навеститься через несколько дней.

— Просьба передана в комитет комсомола, — объявили в ректорской приемной в назначенный срок.

Университетский комсомольский секретарь был студентом четвертого курса исторического факультета. Участник войны, он неизменно носил в лацкане пиджака орден Боевого Красного Знамени.

— Если б Простосинский обратился лично ко мне, все было бы улажено, а теперь жди решения общественности...

В один из вечеров ключа в условленном месте не оказалось. Побрел к дяде. Его жена не на шутку встревожилась: не застрял бы племянничек надолго, и без него тесно впятером в двух смежных комнатах.

— Садись и пиши заявление на имя председателя Совета Министров, — сказала тетка, машинистка в секретариате главы молдавского правительства. — Об остальном позабочусь сама.

Еще через день я превратился, наконец, в полноправного студента с койкой в общежитии, поселился с будущими историками.

А еще можно вспомнить, как после первого курса, заглушив в себе боль прошлых обид и уповав на посулы партийного деятеля из МГУ, на летнюю стипендию снова поехал в Москву. На отделении журналистики снова сказали, что с Ленинскими горами и нынче не-

управка и потому министр высшего образования запретил переводы, затем в приемной проректора показали список переведенных: не поняв, чего добиваюсь, мне просто предложили убедиться, что моей фамилии в перечне счастливых нет.

Согласись, на пути к университетскому диплому я проявил подлинно еврейскую настырность.

Исаак Бабель с горьким юмором писал, как его хотели засыпать на экзамене в подготовительный класс, а он, будто заколдованный, отвечал на все вопросы. И тогда у почтенного учителя вырвалось:

« — Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит».

До революции была процентная норма.

Паустовский в автобиографической повести «Далекie годы» приводит такое свидетельство: в киевской Николаевской гимназии православные выпускники нарочно получали «четверки», чтобы золотые медали достались их товарищам-евреям. Медалистов принимали в университет сверх нормы. В 1951 году не помогала и золотая медаль.

Во «Времени больших ожиданий» Константин Георгиевич передаст пронзительное признание автора «Конармии»:

« — Я не выбирал себе национальности, — неожиданно сказал он прерывающимся голосом. — Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного никак не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом».

Когда много позже познакомился с питомцами МГУ, как раз с того курса, на который мне попасть не удалось, они удивлялись неосведомленности провинциала, дерзнувшего с подпорченными «пятым пунктом» сунуться к ним на отделение журналистики. В Москве всем было известно, что еврею туда хода нет, если отец у него не подонок типа Давида Заславского.

Полукровки — те иногда проходили. Это было до иезуитской новинки бюрократов, придумавших, правда, для ведомственного употребления, остроумное словосочетание — латентный еврей. Теперь достаточно стало четвертинки, восьмой доли еврейской крови, чтобы не приняли в институт, не взяли на работу. Ограничения распространялись не на все вузы и учреждения, но выяснить, где именно действуют, можно было только эмпирическим методом проб и ошибок...

Популярна точка зрения — зачем нам готовить кадры для Израйля? Она не закреплена ни в письменных распоряжениях, ни в циркулярах, указания давали устно.

Сестра плакала, рассказывая, как в Запорожье, в машиностроительном, перед набором 1977 года, а у нее сын — абитуриент, ректор собрал подчиненных и приказал принять не более одного процента евреев. Бдящий администратор возродил дореволюционное установление.

Впрочем, при царе процентная норма была выше. С 1887 года в черте оседлости она составляла десять, вне черты — пять, в Москве и Санкт-Петербурге — три из ста. Распространялась как на средние, так и на высшие учебные заведения. А если куда доступ был и закрыт, объявлялось о том во всеулышание. Открыто. Ханжеством не пахло.

Бабушка Сима пережила погром в Кишиневе. Дедушка вывез ее, тогда еще невесту, из этого города сразу после потрясших Россию событий. Молодую долго мучили по ночам неотступные кошмары. Но и через десятилетия, в старости, с дрожью в голосе говоря об окропленных кровью улицах, бабушка убеждала меня:

— Это страшнее войны...

Нашел у Короленко очерк «Дом № 13», написанный по горячим следам трагедии в июне 1903 года. Вот первое впечатление Владимира Галактионовича о губернском центре Бессарабии: «Все может случиться в Кишиневе, где самый воздух еще весь насыщен дикой враждой и ненавистью. Евреи охвачены страхом и неуверенностью в завтрашнем дне». Гуманист Короленко спрашивал: «Действительно ли гнет ростовщика легче, если он не носит еврейскую одежду и называет себя христианином?» Впрочем, уже было ясно, что при попустительстве полиции погромщики обрушились прежде всего на кварталы, где ютились ремесленники и мелкие торговцы. В доме, давшем название очерку и более других пострадавшему, жили неимущие трудяги. И их убили. «А теперь нужны будут годы, — предрекал Короленко, — чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое воспоминание о случившемся, таким грязно-красавым пятном легшее на совесть кишиневских христиан».

Приезжая в Кишинев навестить маму, встречался с молдаванами — однокашниками и коллегами.

— Как тебе наша столица? — спрашивает прозаик, с которым некогда служили в газете.

— Хорошеет! Но, послушай, что тут у вас творится? Почему так бегут еврей?.. Молдавия, кажется, на первом месте в Союзе по числу эмигрантов.

— Да, евреи нас покидают. Мы этому не совсем рады, потому что в квартирах уезжающих поселяют офицеров-отставников... — Писатель, хранитель народной нравственности, он выразил тревогу своих сограждан об исходе соотечественников.

А как же «подлое воспоминание»? В девятьсот пятом был еще один погром. И потом ненависть сменилась безразличием?.. И мне, чьи предки появились на берегах Днестра никак не менее трехсот лет тому назад, бывало, недвусмысленно намекали: чужой ты здесь и прав ни на что в сих пределах не имеешь.

Злопамятная бабушка Сима, не забывающая кишиневских ужасов, изводила меня:

— Женишься на гойке, рано или поздно услышишь от нее слово «жид». И от детей услышишь...

Я возмущался ее предсказаниями, она не унималась:

— Никто и нигде нас не любит.

— А ты кого-нибудь любишь, кроме евреев? Почему всех называешь оскорбительно — гоим?

— Гой — значит иноверец, никого этим не обижаю, просто говорю, что мы молимся разным богам.

— В Одессе во время погрома православные прятали у себя еврейские семьи.

— А ты откуда знаешь?

— Из повести «Белеет парус одинокий».

— Рядом с моей тетей жили молдаване. Пока жена нас прятала, муж таскал ковры из жидовских домов...

— То было при старом режиме.

— Всякая власть от Бога, — возразила бабушка. — Эта от него оказалась. Ну, посуди сам... — И рассказала, сочтя, что я уже достаточно взрослый, историю, которую дедушка Нухим скрывал.

Кузина и молочная сестра Маня не повторила Симиной глупости, то есть вышла замуж не за мастерового, а за торгового человека по фамилии Розен и уехала с ним в Америку. В 1919 году разбогатевшие Розены прислали шифскарты на всю семью Кацевманов, приглашая в Сент-Луис.

— Разве дед мог когда на что-нибудь решиться?! — полувопросила-полувоскликнула бабушка. — Ведь надо взять Днестр!.. Переправа у Дубоссар еще действует — только плати, пограничники в доле с перевозчиками... Короче, мы не поехали. Если революции помогла твоему рождению, так тут оно висело на волоске: Сиркисы же не думали бросать свое имущество, которое у них уже, кажется, отняли... Как бы Шлоймеле женился на нашей Хане?..

Разразился голод двадцать первого года. Розены слали в Дубоссары посылки и переводы — за валюту в Торгсине отпускали дефицитные продукты.

— Тетя вскормила меня. Маня не дала умереть моим детям, — признавала бабушка.

Но деда Нухима доллары заокеанских свойственников едва не погубили. В Чека обратили внимание на столяра, который несколько раз посетил Торгсин. Дед был взят на цугундер. Оперативник требовал зелененьких, а они все были истрачены. Тогда представитель власти вытащил наган, большим и средним пальцем левой руки разомкнул челюсти, сунув в образовавшийся зазор вороненый ствол.

— Сознавайся, Нухим-хухим, где притырил валюту? Не скажешь, пристрелю, как собаку! — приговаривал чекист и для убедительности вращал при этом указательным перстом барабан револьвера. Надо пояснить: хухим — древнееврейское слово, в переводе на русский —

умница, умник, так что следователь не только владел рифмой, не был чужд ему и язык Библии...

Видимо, недейственность крайней меры утвердила палача в безгрешности жертвы: выстрела не последовало.

Этот рассказ бабушки пролил свет на эпизод, который произошел в Тирасполе в конце войны или сразу после нее. Почтальон принес письмо: на конверте — красивые заграничные марки, внутри — отпечатанный на машинке текст. Какая-то еврейская организация (а не пресловутый ли Джойнт?), по просьбе семьи Розен, запрашивала о судьбе семьи Кацевман.

Дед Нухим собрал детей, вошедших в сознательный возраст внуков и сказал:

— Мы ничего не получали. — Затем бросил письмо в печку, а когда оно сгорело, перемешал золу, старательно шуруя кочергой.

Биологи считают, что на генетическом коде условные рефлексy не отражаются. Должно быть, это верно. Как-то обнаружил в Москве «Бюро по розыску иностранных родственников советских граждан Советского Красного креста и Красного полумесяца». Мама дерзнула воспользоваться его услугами, — что, мол, возьмешь с пенсионерки, — уточнила у старшей памятливой сестры, как прозывались дети тети Мани, написала. Ответ пришел через полгода. Потомков Мани и Элиаса Розенов в США не оказалось — так сообщили из бюро.

— Ну, а что ты об этом думаешь? — спросила бабушка Сима, закончив о муках деда Нухима в ГПУ. — Разве так должна милиха обращаться с людьми?.. Поэтому евреям надо держаться от нее подальше. Не приняли тебя в Москве — ты горюешь, а надо радоваться: ближе к своим — оно лучше...

Слово «милиха» я знал. На древнем нашем языке им называют государство. Молох — производное от него, наверно?..

Накануне засиделся у сокурсников, снимавших комнату. Уговорили переночевать. Утром, чуть свет, разбудил сосед.

— Слышали, тяжело заболел Сталин — кровоизлияние в мозг?

Один из нас, наиболее эмоциональный, как привстал на кровати, так и закачался, точно отбивая поклоны, запричитал:

— Черная туча надвинулась, черная туча... — и за голову схватился.

Казалось, не до смеху; но все разом прыснули, глядя на столь неподдельное кликушество.

Следующие два дня в общежитии не выключали репродукторов — ждали бюллетеней о здоровье. Пятого марта услышал сквозь сонное забытие душераздирающие рыдания. Открыл глаза. За окном темно. По радио передают правительственное сообщение.

«Что же с нами теперь будет?» — думал я и втихомолку плакал под траурный шопеновский марш.

Вспомнились слова отца из его фронтowego треугольника:

«Сынок, если погибну, то за Родину, за Сталина, за правое дело».

В последний раз мы виделись четвертого апреля сорок второго года. Уже в Алма-Ате установилась теплынь, а он ввалился в ватнике, в стеганых брюках. Тяжелая кобура оттягивала ремень.

Мама дома не оказалось.

Отец поцеловал сестренку. Младшей было шесть месяцев. Я часто потом представлял перед ней в лицах эту последнюю нашу встречу.

На прощанье прижал к груди, отдал аттестат, пачку денег и вскочил в кабинку грузовика.

Знал ли я своего отца? Говорят, он был добр, бесшабашен, смел до дерзости. Второго мая ему исполнился тридцать один год.

В августе получили не треугольник — письмо в обычном конверте. Мама разорвала его и беззвучно повалилась навзничь. В листок, где сверху типографский оттиск «Извещение», твердым писарским почерком внесена бесстрастная формулировка: «Младший лейтенант Сиркис Шлем Моисеевич погиб смертью храбрых 26 июля 1942 года в бою у деревни Кропоткино Ливенского района Орловской области, похоронен в селе Троицкое (садик)».

Мы все надеялись: после похоронки снова приходили треугольники, даже в сентябре.

Глубокой осенью было еще одно письмо — от комиссара полка майора Пырина. Он интересовался, в чем нуждается семья павшего боевого товарища, предлагал помощь.

С ответом мама не медлила. Попросила сообщить хоть какие-то подробности об отце, написала и о том, что наспех слепленная дедом мазанка размокла от дождей — ночью обвалилась часть стены, засыпало сына. Меня, действительно, слегка придавило, больше натерпелся страху под ватным одеялом. Пролом зашили досками, набив между ними глины.

Пырин обратился в горком партии. Оттуда пришла комиссия. Нас переселили в комнату, которая освободилась в доме напротив. Но еще раньше маму вызвали в военкомат, передали расчетную книжку отца и фотографии, что были при нем на фронте. Книжка поплыла кровью у корешка — папиной кровью.

Кровь на корешке книжки из левого кармана гимнастерки убеждала, что отца нет, но даже через годы и годы мы уповали на его возвращение. Нельзя человеку без этого... «Папа жив, — внушал я самому себе, — попал в плен раненый, оказавшись в окружении, случилось же такое с дядей Хаимом. А после войны — скитания перемещенного лица: Европа, Новый Свет, Австралия... Где-то мыкается, тоскуя обо мне, о сестрах, о матери... Пусть! Только бы живой...»

Как доставало отца мальчишке и — еще больше — взрослому! Мы понимали бы друг друга, несмотря на взаимную отчужденность, глухоту, разделившие сейчас поколения. Скольких ошибок и заблуж-

дений можно было бы избежать, будь он рядом!.. Так казалось, кажется до сих пор.

И Саша. Она называла дедушкой разве что твоего дядюшку Витю.

Никто из наших не видел могилы отцовской, обелиска с его именем...

Первый раз в Орловщину я поехал только в шестьдесят четвертом, перед рождением дочери. Сначала учился вдалеке от тех мест и не было денег, потом работал в Казахстане, в отпуск спешил к маме. Она тосковала, звала. Отец ждал...

Никогда себе этого не прощу. За окном поезда стелется среднерусская равнина — города, полустанки, деревни, избы... И каждый кров для кого-то отчий.

Следы последней войны на этой земле заметит, да и то не всегда, лишь очень внимательный взгляд. В надломе старого дерева. В оспинах от пуль и осколков на кирпичной кладке водокачки. В плохо замазанном «Проверено, мин нет».

Осевший холмик с пирамидкой, увенчанный жестяной звездой.

В скверах при станциях — стандартные фигуры автоматчиков в цементных складках склоненных знамен. Значит, братское кладбище. Кто здесь лежит, сколько их?..

Это ли не военные отметины?

Вертятся, грохочут на стыках колеса. И разное навевает из прошлого. Многократно повторенный гудок локомотива слышится воплем сирены: «Воздушная тревога!» Поневоле вздрогнешь, когда пролетит рейсовый «Ту» — его тень кажется похожей на силуэт выползшего из детства «мессера».

Тянется вдоль состава дым, исторгаемый стареньким паровозом, заволакивает все вокруг, и уже видятся сполохи тех пожаров. Сквозь них мчится эшелон. Он везет к передовой бойцов — сколько таких эпизодов сняли фронтовые кинооператоры!

До сих пор, смотря ту хронику, до рези в глазах вглядываюсь в каждый кадр. Форма делает людей одинаковыми. Этот лейтенант чем-то отдаленно напоминает отца... Останавливаю мгновение. Но нет. В сорок втором еще было не до съемок...

После шестичасовой духоты в рабочем поезде от Орла до Ливен я пересел в автобус на Троицкое. Троицкое — конечная остановка. И название знакомое. Но не вспомнил, почему оно мне известно. В голове засело Кропоткино. Туда и стремлюсь. Надо будет, говорят, еще километров пять-шесть пройти пешком.

А вот и околица Троицкого. В садике перед церковью — братская могила. Такая же, как и другие. Памятник — неуклюжая стандартная поделка. Надпись: «Вечная слава героям!» Кто схоронен, не сказано. Постоял у оградки и заспешил по проселку вдоль жнивьа.

Прошагал час. В полях безлюдье. Только на горизонте ползает одинокий трактор.

Наконец, встречный расхлябанный «ЗИЛ», волокущий за собой за-
весу пыли. Поднимаю руку — шофер наверняка знает дорогу.

— Ни, мы — полтавськи, прыгнули сюды на буряк...

То двигалась колонна. Третий или четвертый водитель оказался из
местных.

— Садитесь, подвезу.

Лесозащитная полоса привела к свекольному бурту. Вокруг жен-
щины перебирают клубни, обрезают ботву.

— Сами кто будете? — спрашивают.

— Из Москвы я.

— Из самой Москвы!?

— Из самой... Есть тут у вас солдатские захоронения?..

— Есть, как не быть. Кого ищите?

— Отца.

Сбежались мальчишки, предлагают свои услуги:

— Пойдемте, дяденька, покажем, тут близко...

Деревенька — в низине, и потому словно вырастает из вечного чер-
нозема. Ряд изб образовал одностороннюю улицу.

Место, которое когда-то было садом, — пни торчат.

Пологий склон, лысый, выбитый копытами скотины. На нем едва
заметны проплешины. Можно догадаться: заброшенные могилы.

Их оказалось три. И все были безымянными. На покоробленной
измятой полоске цинка вкривь и вкось выведено: «Вечная слава».
Больше — слово «героям» — не убралось в строку.

Я вернулся к бурту, стал допытываться у женщин, не помнят ли
имен покойников.

— Надо Митяя Бородина поспросить. Они с Дмитрием Семено-
вичем приезжали пшеничку выкапывать. Мы-то были в отступе.

Молодайка вызвалась проводить к Митяю.

В четырехстенке копошились на полу в подсолнечной лузге го-
лопузые дети. За длинным дощатым столом сидела на лавке
старуха.

— Вот, из самой Москвы человек приехал. Отцов след ищет... У нас
тут от немца убит, — сказала молодая с порога.

— А наш Иван где?! Где его косточки посеяны?.. — заголосила ста-
руха.

Появился Митяй. Узнав в чем дело, спросил:

— Твой отец был кто, часом, не лейтенант?

— Младший лейтенант.

— Крайняя его могила.

— Там две крайние.

— Пойдем, покажу. И Дмитрий Семенович подтвердит. Я-то ма-
лой был, а Дмитрий Семенович председателем у нас тогда работали
— не даст соврать...

По дороге мы зашли к бывшему председателю, тоже Бородину.

Он начал издалека, с коммуны, которую, по его словам, сам же и организовал здесь еще до колхозов в честь революционера князя Кропоткина.

— Фронт здесь долго стоял, месяцев восемь, — придвинулся, наконец, Дмитрий Семенович к интересующему меня времени. — А хлеб мы перед эвакуацией в землю зарыли. С собой взяли немного. Когда съели, пришлось просить военное начальство, чтоб разрешили откопать запас. Приехали под вечер, на подводах. Тут, аккурат, лейтенанта хоронят. Других так в землю ложили. Ему гроб сколотили...

— А какая его могила?

— Не скажу. Мы издаля смотрели, салют слышали.

— Митя говорит — крайняя.

— Может, и крайняя. Давно это было...

Митяй пригласил на ночлег. Мы долго сидели, пили вонючий свекольный самогон, говорили о своих отцах.

Утром я был среди почерневших пней прежнего сада. Частью его вырубил на обогрев солдаты, когда лютой зимой сорок второго-сорок третьего годов удерживали здесь натиск немцев. Остальное — сами кропоткинцы после войны. Невмоготу стал налог — вимали за каждое дерево.

Подсыпал холмики, ровня их лопатой, обложил дерном.

Ждал: может, сердце подскажет?.. Не подсказало. И выбрал: пусть эта, крайняя слева. Ведь должна же какая-то быть его...

Митяй дал мне не только лопату, но и другой нужный инструмент, предложил досок, красной масляной краски.

Я сбил деревянную пирамидку, укрепил на теперь уже своем холмике. Спереди приладил фанерку:

Младший лейтенант

Сиркис С. М.

2.5.1911—26.7.1942

В Кропоткине тогда было тринадцать обитаемых изб — все больше малые ребятишки да старики. Подошел какой-то дед, молча постоял, посмотрел, как работаю, осенил меня крестным знаменем.

В обед прибежал Митяй.

— Пойдем, поснедаем. Теперь, Паша, не беспокойся, — твердил добрый Митяй, — не более душой. Доглядать буду, как бы родной отец в ней лежит...

Сфотографировал самодельный обелиск и повез карточку маме.

Минуло еще несколько лет. Мы с мамой разбирали старые бумаги и нашли одно из двух пыринских писем. А что, если попытаться разыскать майора? Не известны его инициалы, зато достоверны номер полка — 229, должность — заместитель командира по политчасти, номер дивизии — восьмая стрелковая.

Написал в Центральный государственный архив Советской Армии. В апреле 1969 года ответили, что запрашиваемых данных не имеется, заявление переслано в архив Министерства обороны СССР, в город Подольск Московской области.

Через два с небольшим месяца приходит на официальном бланке: «Пырин Владимир Федотович, 1911 г. рождения, уроженец г. Ферганы, подполковник, бывший комиссар, зам. ком. по политчасти 229 СП 8 СД приказом Глав. ПУРККА № 093 от 8.2.47 г. уволен в запас по ст. 47 п. «А».

Куда убыл не указано».

Значит, жив, уцелел на войне. Но с сорок седьмого двадцать два года намотало. И все-таки можно искать...

Мосгорсправка сообщает и адреса иногородних. Обратился.

— Город какой? — спрашивают.

— Если б знал! Известно только, что родом из Ферганы.

— Тогда нужен всесоюзный розыск, а это МВД, да и то по распоряжению министра.

Точно осенило: Валя Антошин — вот кто поможет.

Когда бывший зампредсовмина, бывший предсовнархоза Молдавии Николай Анисимович Щелоков возглавил МВД СССР и из полковника в отставке превратился в действующего генерал-полковника, а потом и генерала армии, он многих призвал из республики, где подвизался после войны, в том числе — и Валю. Историк по образованию, Антошин, как и я, был то ли лейтенантом, то ли старшим лейтенантом запаса.

Получил сразу полковника. И стал помощником министра. Позволил Вале.

— Позарез нужно найти человека. — И изложил, почему.

— Это все эмоции. Ты напиши на имя Николай Анисимыча, но укажи, что Пырин — герой твоего фильма. Остальное беру на себя.

— Так оно и есть. По моему сценарию на Свердловской киностудии готовится фильм «Памяти отца».

Валя не подвел. В июле я получил уведомление, что дело поручено УВД Мосгорисполкома, в августе: розыск осуществляется («при получении ответов Вам будет сообщено незамедлительно»). В начале октября был и результат:

«...подполковник запаса Пырин Владимир Федорович проживает: г. Волгоград, Вишневая балка, Докучаева — 20». Отчество все-таки исказили.

В тот же день написал Пырину. Ждал пять месяцев — ответа не было.

А не умер ли, пока велись поиски?.. Как-никак под шестьдесят ему. Да и раны могли укоротить век, и контузии... Пригласить на переговорный пункт? Коли нет Владимира Федотовича, только расстроишь близких... Нет, надо ехать.

Я работал тогда над сценарием о генерале Родимцеве. Сталинградская битва — пик его славы. Заодно наметил и сбор родимцевских материалов.

Вновь выстроенный город на Волге — семьдесят километров вдоль берега. Милиционер указал дорогу. На трамвае, а февральская стужа пробирала до костей даже в вагоне, добрался до Вишневой балки. Улицы Докучаева никто не знает. Отчаявшись, завернул в магазин отогреться, воззвал к очередям:

— Товарищи волгоградцы, где тут у вас улица Докучаева?

Оказалось, Вишневая балка разорвана Мамаевым курганом и центром. Другой ее конец — за рекой Царицей. Там-то и находится нужная мне улица.

Опять трамвай — и зуб на зуб не попадает. Указанный адрес отыскал уже в ранние зимние сумерки. Постучал в окно небольшого приземистого домишки. Открылась форточка, выглянул молодой человек лет тридцати.

— Здесь живет Владимир Федотович Пырин?

— Здесь.

— Можно его увидеть?

— Он еще на работе, скоро будет.

— Нельзя ли подождать в доме? Мороз...

— Проходите.

Калитка, сенцы. Разговор продолжается в жарко натопленной комнате.

— Я писал осенью Владимиру Федотовичу — ответа не получил.

— Он никому не отвечает. Да вы раздевайтесь.

— Здравствуйте! — На пороге соседней комнаты, видимо, спальни, стояла пожилая женщина с ребенком на руках. — Вы кто будете?

— Сын однополчанина... погибшего.

— А!.. Вот что — я, пожалуй, схожу на завод, тут недалеко. Не то смена кончится, как бы он не завернул куда...

Быстро собралась, убежала.

Должно быть, разминулась с Пыриным: кто-то тяжело, по-мужски затапал в сених.

— Вот и Владимир Федотович, — сказал молодой человек и обратился к вошедшему: — Дядя Володя, тебя товарищ из Москвы ждет...

Пырин был высок, сутул. От двери простер руки, кинулся меня обнимать. Расчувствовались оба. Первым заговорил я:

— Владимир Федотович, спутали, за кого-то другого приняли...

— Не спутал — мы с тобой воевали.

— Вы с отцом моим воевали.

— Ты на него похож, а я забыл, что тридцать лет прошло. Останься живой, сейчас, как я, стариком был бы...

Возвратилась хозяйка.

— Как же я тебя не встретила?..

— Собери-ка нам чего-нибудь, — попросил ее Пырин.

Через несколько минут на столе розовели соленые помидоры и сало, мутнел самогон.

— Боялся, что вы погибли... — сказал я. — В пехоте-то больше всего и убивали.

— Всегда был с солдатами, а всех солдат убить невозможно, — ответил Пырин.

— И находили время писать семьям убитых?..

— Кто погибал сам, тем писал, кого расстреливал, — те мне писали.

— А помните, как погиб отец?

— Врать не буду — не помню. Мы каждый день людей теряли... Его самого помню, как погиб — нет. Он командиром хоззвода был, но отчаянный.

— Не помните, где похоронили? Я искал его могилу, но не нашел.

— Нет, врать не буду.

— А на письмо почему не ответили?

— Никому не отвечаю... Ты погляди, каким с войны пришел. — Он протянул мне фотокарточку, с которой улыбался бравый подтянутый подполковник. На груди, слева, у него красовались ордена Александра Невского, две «Отечественных войны» и две «Звездочки». Справа, впереди медалей, висело на ленте «Боевое Красное Знамя». — А теперь во что превратился?..

И Пырин рассказал свою историю. Демобилизовался, действительно, в сорок седьмом и поехал на родину, в Фергану. Там жили жена и дочери, там его хорошо знали. И трудовой путь начинал в Фергане — был рабочим, вступил в партию. Направили в военно-политическое училище. Шел 1932 год.

Офицера-победителя, прибывшего в свой город насовсем после пятнадцатилетней отлучки, встретили с почетом, пригласили в обком, предложили возглавить областной комитет физкультуры и спорта. Время было еще голодноватое. Объявлялись боевые друзья в армейском обмундировании, неустроенные. Старался помочь — допустил растрату в шестнадцать тысяч. Его привлекли к судебной ответственности, предварительно исключив из рядов, изъяли при аресте награды, дали четыре года. Он обиделся, сгоряча что-то не то сказал, написал — прибавили еще двенадцать. Получилось по году за каждую тысячу.

Жена была инструктором обкома партии. Брак с политическим заключенным грозил ей потерей места. Развелась.

И остался Владимир Федотович один-одинешенек. А срок отбывать отправили на строительство Волго-Донского канала.

Работал хорошо. Скоро расконвоировали. Потом прилепился к вдове, которая схоронила мужа, умершего от старых фронтовых ран. Вместе построили домик в Вишневой балке.

Освободился после смерти Сталина. Устроился на заводе слесарем — доармейская его специальность. В шестидесятом не восстановился, а снова вступил в КПСС.

— Дочки-то как? — не удержался, спросил я.

— Поднялись. Младшая недавно приезжала, требовала, чтоб золотые часы с цепочкой купил...

— Ордена вернули?

— Нет.

— Как же так? Чтобы их лишить, указ Президиума Верховного Совета СССР необходим... Хотите, все узнаю, похлопочу?..

— Зачем? На подушечках носить, когда умру?..

Мы засиделись. В полночь Пырин провожал меня к автобусу.

— Нельзя жить в обиде на всех, Владимир Федотович, — говорил я, прощаясь. — Что могу сделать для вас?

— Квартиру — можешь?.. Я старухе не муж, так... У меня открытый процесс в легких, а в доме — ребенок. Вот и выселили в летнюю кухню...

— Сам ничего не могу, но попробую подключить одного человека.

Я рассчитывал обратиться к А. И. Родимцеву. Он был почетным гражданином Волгограда. Не откажут, если попросит.

В Москве перво-наперво поехал к Александру Ильичу. Рассказал о Пырине.

— Пусть обратится по форме. Без этого не положено хлопотать. И не сомневайся — все сделаю, — сказал Родимцев.

Я написал Владимиру Федотовичу, каков порядок, что не прихоть это генерала, пусть приложит руку к прилагаемому заявлению на его имя, — текст был сдержан по тону и отпечатан на машинке. Скоро пришел такой ответ:

«Павел Семенович, здравствуйте с приветом к Вам из Волгограда Пырин Владимир Федотович. Во-первых большое Вам спасибо за письмо, за совет на счет квартиры, в общем за все, за все, еще раз спасибо, всех Вам благ и счастья в работе, личной жизни, а главное в — здоровье. Павел Семенович, долго я колебался писать просьбу Генерал полковнику Родимцеву, но обстоятельства заставили, здоровье ухудшается, обратно открытая форма ТИБЕРКУЛЕЗА, сейчас пишу Вам дома на больничном. Да еще больше всего меня тяготит нет жилья, из этого и в семье неприятности, в дом невхожу, продолжаю жить в кухне времянке. Да. Незнаю сколько вытяну без жилья. Павел Семенович, коль Вы меня наставили на путь получения жилплощади, то я написал Генералу письмо с просьбой, да боюсь, что это все в пустую. Ведь дел-то у Генерала и безменя много. Еще обидится, за попрошайничество.

Павел Семенович, я Вас очень прошу если у Вас будет время и подходящий момент лично увидеть Генерал полковника Родимцева Алексан-

дра Ильича, то замолвите за меня словечко. И попросите за меня извинения за то что — я побеспокоил их. Да не забудьте если можно мне помочь, то прошу помогите. Всего Вам наилучшего.

*С дружеским приветом Владимир Пырин.
Приезжайте к нам в Гости, буду очень ждать.
Простите если что не так написано.
Еще раз с приветом В. Пырин».*

Квартиру Пырину предоставили в ноябре.

Владимир Федотович дал мне адреса нескольких однополчан отца. В Москве я отыскал командира полка (в Берлине — уже дивизии) Героя Советского Союза полковника в отставке Даниила Кузьмича Шишкова. Мы много с ним общались, съездили вместе в Ливны и Кропоткино на празднование годовщины Орловского сражения.

От пирамидки, которую я водрузил на холмике, не осталось и следа. Митиной вины тут не было: прах погибших со всей округи свезли в одно место, в братскую могилу, всем воздвигли общий памятник. В райкоме объяснили, что так оно и лучше, поскольку и захоронения дольше сохраняются, и земля не пустует.

Добрый Даниил Кузьмич, как он старался утешить меня, суетился, точно и его был недосмотр! Но и секретаря райкома задевать не хотелось. Хорохорился Шишков, нервно теребя крашенные редкие волосы, а входил в положение представителя власти. Впрочем, была ли на то секретарская воля?.. Так ведь учинили повсюду — одним централизованным распоряжением.

В гостинице, дабы отвлечь от мрачных мыслей, Даниил Кузьмич поведал мне, как до войны работал техником Метростроя, как проходил в запасе воинскую службу — три летних сбора, и он уже капитан. Зато к сорок третьему, когда командный состав повыбило, ему и полковниче звание вышло, и полк впридачу.

Несмотря на геройскую Звезду, Шишков оказался на удивление тих, непритязателен и скромнен. Говорил как-то даже робко, через слово вставляя «тае», точно мужик из толстовской «Власти тьмы». Чем же он брал на фронте? Видимо, не выказывающей себя храбростью, исполнительностью, умением ладить с людьми. И еще было ясно, что супротив начальства такой не пойдет.

Помню, в армейских лагерях было дело, к нам на полигон приехали смотреть стрельбы заместитель командующего Одесским военным округом генерал-полковник Людников, тот самый, сталинградский, и командующий артиллерией генерал-лейтенант Фролов. Что творилось с нашими офицерами!.. В услужливости и подобострастии не знал меры даже мой заступник — начальник университетской военной кафедры. Людникову вдруг вздумалось наблюдать за курсантской пальбой, став одной ногой на табуретку, а другую взгромоздив

на стол. Стол этот старый полковник предварительно торопливо застелил суконным одеялом, от усердия путаясь пальцами в складках. А ведь в Отечественную под его рукой была артиллерия корпуса!.. Лишь общий студенческий любимец — подполковник Дамаскин не егозил перед генералами. Что же произошло с советским офицерством?

Александр Ильич Родимцев рассказывал: в Испанию в 1936-м уехал взводным, через два года вернулся на место командира полка. Тот накануне застрелился, узнав, что арестованы почти все его товарищи по гражданской войне и академии.

— Мне до него и до сих пор не удалось дотянуться, — признавал Родимцев.

И еще рассказывал Родимцев, как в Сталинграде, когда между тринадцатой гвардейской дивизией и Волгой было всего сто — сто пятьдесят метров, в тылу у соединения, вдоль кромки берега, оставался только заградительный батальон НКВД. Силы были на исходе, подкрепления нет. И тут немцы перерезают боевые порядки дивизии. Родимцев поднимает бойцов в контратаку, приказывает комзаградбату, находящемуся на НП, поддержать ее.

— Я вам не подчинен, — отрезал энкаведешник.

Родимцев вытащил пистолет.

— Пристрелю, как тыловую крысу!

Фашистов оттеснили, но в бою погибли и несколько чекистов.

— Грозили судом, да победителей не судят, — закончил этот свой рассказ Александр Ильич.

С Чуйковым конфликт вышел по другому поводу. На банкете по случаю капитуляции Паулюса пьяный командующий шестьдесят второй армией стал вязаться к Родимцеву:

— Ты, Сашка, хитер, умеешь корреспондентов приваживать. Они-то тебе славы и приписали!..

Александр Ильич вскочил, схватились за грудки. Подчиненные еле растащили полководцев.

Доложили Сталину. Верховный перевел Родимцева вместе с его корпусом в 66-ю армию Жадова, в составе которой и вступал впоследствии в Прагу.

По данным генштаба вермахта, на востоке погибло 1874 тысячи немецких военнослужащих. Сколько в боях с ними потеряли мы? По нашей урезанной статистике — 10 миллионов.

В Сталинградской битве с сентября сорок второго по февраль сорок третьего с обеих сторон участвовало свыше двух миллионов человек. Убит был один советский генерал.

Что отец знал, что думал об этом «гениальном» водительстве, о порядках, навязанных защитникам страны, да и самой стране, ее руководителем, когда писал мне из пекла о своей готовности умереть за Сталина?..

Ну, а я когда стал что-либо понимать в происходящем вокруг?

Университет. Один из выпускников представляет дипломную работу, где неортодоксально трактуется какая-то сталинская догма. Результат — двадцать пять лет каторги. Новость передавали шепотом в стенах альма-матер. В справедливости меры не сомневались...

Несколькими годами ранее. Бессарабия. Гребут людей только за то, что властям не понравилось их имущественное положение или, наоборот, приглянулось имущество. Высылают в Сибирь мелких лавочников, владельцев ремесленных мастерских. А ведь сначала на законных основаниях продавали патенты, облагали налогами. Значит, так нужно. Меня это не касается...

И не при мне ли громили космополитов — «беспачпортных бродяг в человечестве»? И не просто громили — на распыл пускали...

Что-то, выходит, видел за свой короткий век, а умер Сталин — и вот плачу, будто отца родного потерял...

5 марта была по графику баскетбольная тренировка. Идти или не идти? Нет, все должно быть, как при нем. Он и сам бы хотел того же.

Собрались к назначенному часу. Игра не клеилась. Переоделись, побрели на факультет. Там уже начинался траурный митинг. Секретарь партбюро провозгласил лозунг:

— Сталин умер, да здоровствует Маленков! — Он был историком, этот секретарь, но созвучие с роялистским призывом не показалось ему противоестественным.

Все встали. Скорбное молчание нарушали чьи-то несдержанные всхлипы.

Лишь через шестнадцать лет из манускрипта Роя Медведева «К суду истории» узнал о дьявольском плане Сталина. После «дела врачей» органы в спешном порядке готовились к массовому переселению евреев. В отдаленных районах страны строили бараки. Процветавший столь долго академик Минц и безвестный Ховенсон сочинили «Обращение к еврейскому народу». На ряде крупных заводов рабочие приняли резолюции депортировать граждан еврейской национальности — для их же блага.

Покойный Гриша Буть (наши койки в общежитии стояли рядом) после двадцатого съезда и доклада Хрущева о культе личности, после самоубийства Фадеева показал дневник, который вел в конце сороковых годов. Сталина иначе, как чумой и душегубом, Гриша не называл.

— Откуда такое, почему? — спросил я Гришу.

— Ты жил в городе, а я деревенский, — сказал Гриша. — И хвостик войны захватил.

Гриша родился в двадцать седьмом в Кировоградской области.

Я работал в отделе промышленности, строительства и транспорта. Непосредственным моим шефом был Пров Яковлевич Армяков.

Армяков был мордвин, из сосланных в Караганду во время коллективизации. Когда-то его семья считалась кулацкой. Принудительный труд на шахтах Третьей кочегарки искупил классовый грех. Теперь в графе «социальное происхождение» Армяков указывал: из горняков. Он окончил индустриальный техникум, пописывая заметки в областную газету. При крайней нужде в кадрах его позвали в штат.

Меня Армяков с первого дня завалил донесениями рабкоров, авторскими статейками, которые требовали коренной правки. Как и во всех газетах, у нас была обязательная норма: сорок процентов печатать своих материалов, то есть из-под пера редакционных строчкогонов, остальные — со стороны. Непросто их добыть, нелегко довести до публикабельности, а все на мне. Не разгибая спины перемарывал страницу за страницей, сдавал после перепечатки на машинке заву. Он искал огрехов и, если, как ему казалось, находил, злорадно давал волю красному карандашу. Когда же придаться было не к чему, Армяков протые человеческие слова заменял журналистскими штампами.

— Да не по-русски это!.. — однажды возмутился я.

Его личико со следами скудной растительности сморщилось от негодования, и он совсем стал похож на карлика, который старится, так и не став мужчиной.

— А ты-то откель знаешь русский язык?..

Я понимал, что судить обо мне будут по тому, что напишу, рвался из редакции на стройки, заводы. Армяков не пускал. И все-таки удалось накропать репортаж, — очерк требовал погружения в изображаемое, а времени было мало. Сочинил и рецензию на только что вышедшую повесть Хемингуэя «Старик и море». Оба своих опуса отдал Армякову, чтоб не нарушать субординации, хотя Хем был согласован с отделом культуры. Мелочь, информации — не в счет.

Ровно через месяц вызывает Боярский.

— Ну, как работается?

— Нормально,

— Что-то не видно тебя на страницах... Что-нибудь написал?..

— Две статьи.

— Где ж они, твои статьи?

— У заведующего, у Прова Яковлевича.

Боярский тут же пригласил зава с моими поделками, прочитал и отправил в набор, отпустив нас с миром. Но Армякову такое состояние не понравилось.

— Жаловаться побежал!.. — зло бросил он, когда мы вышли из начальника кабинета.

— Половина испытательного срока — вот Боярский и потребовал отчета.

Подозрительного Армякова разъяснение не убедило.

На мое счастье, его вскоре повысили — назначили ответственным секретарем.

Новый заведующий Петр Степанович Турышев был тихий алкоголик. Как ни странно, ежедневные возлияния лишь укрепляли его трудолюбие. Усаживался за стол, точно в прострации, клал перед собой стопку чистой бумаги и не поднимая головы изводил десь за десь. Предпочтение отдавал очерку — жанру, который считался у нас высоким.

Мы не поленились с Татенко, сравнили два турышевских «шедевра». Звеньевая тракторной бригады пользовалась доброй славой в колхозе. Соответственно каменщик доброй же славой пользовался в тресте. Он был мастер на все руки, она была мастерица. Трактористка радовала глаз ровными бороздами пахоты. Строитель радовал глаз ровными швами кладки.

Приближалось время обеда. Турышев не прерывал механического писания. Я звал его в столовую. Он отказывался.

Возвращаюсь сытый, разомлевший, Петр Степанович все так же в упоении испещряет страницы четкими писарскими буквами, окутанный вонючим дымом дешевых папирос.

Меня терзала совесть при виде этого не знающего роздыха мученика второй древнейшей профессии. Осторожно справлялся:

— Может, не при деньгах?.. — Клал на его стол заначенную про черный день десятку. — Возьмите до полочки.

Свирепо схватив деньги, он тотчас исчезал. Появлялся минут через пятнадцать, повеселевший, со свежим блеском в глазах.

— Что-то вы быстро...

— Пирожком на углу закусил, — говорил подобрев Турышев. На углу была забегаловка, где моей ссуды хватало на стакан водки с ливерным пирожком впридачу. — Хороший ты, Паша, парень, хоть и еврей, а хороший...

Залихорадило строительство Казахстанской Магнитки: опаздывало оборудование. Турышеву поручили организовать письмо рабочих к Маленкову и Булганину с просьбой о помощи. Чья это была идея, не знаю, без обкома, думаю, не обошлось. Петр Степанович составил текст и, вроде бы, познакомил с ним номинальных авторов, собрал подписи. Обращение трудящихся к руководителям партии и правительства на первой полосе тиснула наша «Социалистическая Караганда». В Алма-Ате акцию оценили как несвоевременную (не так уж все плохо на стройке!), как подрыв авторитета республики (а она куда смотрит?). Вину свалили на стрелочника. Турышев был исключен из партии, изгнан из газеты за обман и подлог: расписавшиеся в блокноте Петра Степановича под чьим-то нажимом отказались признать свои закорючки.

Тут как раз подоспело первое мое редакционное дежурство. Типографский оттиск вычитывал дотошно, с пристрастием неопфита. Процесс был прерван приходом главного редактора.

— Ну, что у тебя? — спросил он, взглядываясь в каляки литсотрудника, и чем дольше смотрел, тем все более мрачнел. — Похоже, ты не понимаешь, что газета не может опаздывать...

— А ошибки?..

— Ладно, сейчас разберусь.

Через полчаса он снова прихромал в отдел, ругаясь по-матерному.

— Ты прав, старик. Будем все переливать.

Полиграфисты располагались через дорогу, на другой стороне проспекта.

— Люблю запах краски, шум машин и прочее, — сказал Боярский, когда входили в линотипный цех. — Я ведь начинал наборщиком, метранпажем.

Мы провозились до рассвета. Утром номер не попал к читателям.

— Ступай, старик, — напутствовал меня уставший, как и я, Боярский. — Поспи часиков до двенадцати, а после обеда встретимся в редакции.

Попал прямо на летучку. Творческий состав собрался у главного. Тот гневно громоздился над столом, и стол от этого казался меньше.

— Ночь я и наш новый литсотрудник провели в типографии, — начал Боярский. — Газета утром подписчикам не доставлена. Расцениваю случившееся как чепэ. А какой срам печатаем?.. — Его бас уже гремел в полную мощь. — Калечим великий русский язык! Мое решение такое... Тебя как зовут? — вдруг повернулся он ко мне.

— Павел.

— А по отчеству?

— Семенович.

— Так вот, с сегодняшнего дня назначаю Павла Семеновича заместителем ответственного секретаря редакции. Без его визы ни один материал, будь он даже и лично мой, в набор не пойдет. А ты — это опять мне, — правь всех, никого не щади!..

Снова оказался я в подчинении у Армякова. Но Пров Яковлевич ответсекретарем усидел недолго: напившись допьяна в рабочее время, заперся в кабинете и не хотел никого впускать. Его вернули в отдел на место непрощенного — идеология! — Турышева.

Этот порок — приверженность к «зеленому змию», и вообще пространственный среди пишущей братии, в нашей редакции был почти повальным. Отчего? В Караганде, в двух шагах от Карлага и в окружении ссыльных, наверно, особенно тяжело было сохранять потребную опричникам прессы политическую незамутненность. Вот и зашибали, вот и глушили горькую.

Ну, а я сам и подобные мне? Что-то мы чувствовали, оказавшись там, где творилось душегубство, где безвинно страдали и погибали люди? Возвращаясь домой, на девятнадцатый квартал, шел мимо зоны — вышки с часовыми, высокая изгородь, отороченная колючей проволокой. Внутри корячились зэки, кстати, строили жилье для нас, вольняшек. Терзался ли душевно, думал ли тогда, за что? Думал, но как-то не додумывал.

Однажды являемся с Володей в областную библиотеку — вход перегородил бортовой автомобиль, и на него грузят старые журналы.

Глядим: «Красная новь», «Литературный критик», «Интернациональная литература». Слышали о таких, да никогда не видели.

— Куда это богатство?

— В «Утильсырье».

— И не жалко?

— Хранить не положено и негде.

— Мы бы нашли...

— Берите, что хотите, только быстрее.

Взяли, сколько могли унести, — комплекты за тридцать седьмой, тридцать восьмой годы. Принялись вечером читать. Пожухли листы, а ругань и разоблачения столь знакомые. И ведь укладывалась в голове противоестественная формула: «Писатели — враги народа!». Вот где был мартиролог!..

Только теперь приоткрыли кровавую статистику: арестовано, уничтожено было свыше шестисот поэтов, прозаиков, критиков. Это и по нынешним масштабам СП немало... «Литературная энциклопедия» дает ограниченную информацию, но кое-что все-таки сообщает. То и дело натыкаешься на статью, которая заканчивается словами: «незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно». В скобках после фамилии — даты рождения и смерти. Последняя чаще всего — год тридцать седьмой или тридцать восьмой. Но и сорок девятый и пятьдесят второй. Это у космополитов.

Помнишь, то было при тебе, я подошел к Науму Коржавину, сказал, что мы с ним почти сослуживцы, только работать в «Социалистической Караганде» мне довелось уже после его возвращения в Москву? Поэт оживился, пригласил в гостиницу — поболтать, потолковать об общих знакомых. Действительно, редакционный ретушер, сидевший со мной в одной комнате, рассказывал, что совсем недавно мой стол занимал отбывавший ссылку чужак по фамилии Мандель, он же Наум Коржавин, пострадавший за стихи против самого Сталина. Наум, по словам ретушера, питался в ту пору исключительно морожеными пирожками от лотошницы с угла, разогревая их на батарее центрального отопления.

Как-то к нам в секретариат постучалась немолодая женщина, представилась:

— Я — жена профессора Чижевского. Не поможете ли подписаться на «Огонек»? Муж обожает разгадывать кроссворды, а на почте говорят, что издание лимитировано.

Я без труда устроил подписку, оформив ее на себя. Благодарная профессорша приглашала «на чашку чая», но все было недосуг. И как потом было обидно, что упустил возможность видеть и слышать гениального ученого, мудреца, которого мир давно считал погибшим, а он, выйдя из лагеря, безвестно творил в Караганде, думая о будущем этого мира. И не сочти, ради Бога, будто опасался общаться с преследуемым. Просто не догадывался, кто такой Чижевский.

Рядом, в Долинке, заключенные — цвет нашей агрономической науки — устроили подлинный оазис посреди бесплодной степи. Выращенные там помидоры и огурцы продавались в обкомовском буфете. Я ни разу не съездил в Долинку. И только через много лет узнал от Оксаны Евгеньевны Артеевой-Николайцевой подробности тамошнего существования. Зэки-ученые собирали в своем каторжном раю баснословные урожаи плодов и овощей. Кормили все начальство Карлага. Но и сами спасались от голода и цинги, и товарищей по несчастью спасали.

В Караганде же мне довелось услышать трагическую повесть об утопленном в крови Джезказганском восстании. Его возглавил полковник, из тех, кто прошел через немецкий плен. Заключенные изгнали внутреннюю охрану, устроили самооборону, стену между мужской и женской зоной сломали. Соединялись пары, священники венчали их под открытым небом.

Вступать в переговоры с представителями областной, республиканской власти восставшие отказались наотрез. Требовали Председателя Президиума Верховного Совета. Им сулили: вот-вот прилетит Ворошилов. А тем временем подтягивали войска...

...После ночного дежурства Боярский ко мне благоволил, часто вызывал к себе.

— В секретариате тебе засиживаться нельзя. Вступишь в партию, поедешь собкором на Казахстанскую Магнитку от нашей газеты. Закончат завод — получишь орден... И жениться надо. Только не на еврейке...

— Это почему же?

— Чтоб дети были русские.

Неожиданное повышение по службе увеличило мою зарплату — теперь я получал тысячу рублей в месяц, но совсем не выкраивалось времени, чтоб писать самому, а значит, не перепало и гонорара. Да и учебу пришлось оставить. Я поступил в сентябре на вечернее отделение электромеханического факультета горного института, поскольку считал, что журналисту нужны конкретные знания. Пока был литсотрудником, попевал к семи на лекции. У замответсекретаря день оказался ненормированный. Теперь не мог бросить дел по номеру. И жертвовал аналитической геометрией и сопроматом. Декан, который ходил в авто-рах газеты, прощал мне пропуски занятий. Окончательно с горным расстался лишь через год.

Раз в неделю у нас проводилась летучка.

— Читаете Дудинцева? — спросил на очередной Боярский.

— Читаем, — почти хором ответили сотрудники.

— Ну, и как?.. Здорово! И берет, черт, самое больное! Знаете что? — предложил Боярский. — Давайте обсудим роман. Я позвоню в библиотеку, попрошу несколько номеров журнала. Месяца хватит на подготовку? Потом соберемся, поговорим как профессионалы.

Редактора поддержали. А через несколько дней появилась «Литературка» со стенограммой дискуссии вокруг «Не хлебом единым» в Союзе писателей СССР. Паустовский говорил, что именно таких дроздовых с маленькой буквы он видел недавно на теплоходе «Победа», совершая круиз вокруг Европы. Симонов, хотя и напечатал роман в «Новом мире», теперь осторожничал. Мы старались читать между строк — правда камуфлировалась умело...

В те дни в Караганду приехал на гастроли киноактер Иван Переврзев. Я встретился с ним по заданию отдела культуры. И когда искусствоведческая, так сказать, часть беседы подошла к концу, спросил, как в Москве относятся к «Не хлебом единым», что с автором. Артист оказался пылким сторонником Дудинцева, передал одно из выступлений писателя, в котором тот вспоминал о зарождении своего замысла. Это было, по словам Переврзева, на фронте, когда будущий писатель наблюдал из окопа отчаянный и безнадежный бой советского фанерного «ястребка» с «мессерами».

— Ведь «мессершмидт» — наш самолет, туполевский, — просвещал меня Переврзев. — Конструктора посадили, а жена отдала немцам его модель. Те сделали и ею нас же и били...

Не проверяя, — как такое проверишь? — что было в действительности. Но теперь-то все знают, что знаменитый авиастроитель не один год провел в «шарашке». Да разве уж вовсе и не важно, о чем толкует молва?..

Накануне редакционной читательской конференции «Известия» напечатали два подвала не ведомого нам Платонова. Роман Дудинцева был обозван вредным и клеветническим. Возмутившись от всей души, мы с Володей отбили известинцам телеграмму «Платонов нам не друг, но истина дороже». Наши же говорили, что статья эта — следствие указания с самого верха.

Казалось, Боярский отменит обсуждение. Но нет, точно в назначенный день сплоченный коллектив собрался в кабинете главного редактора, отделенном от остальных помещений роскошным, под красное дерево тамбуром.

— Товарищи, — начал Федор Федорович, — мы сошлись сегодня здесь, чтобы осудить антипартийный, антисоветский роман Дудинцева «Не хлебом единым». Кто хочет высказаться?

Меня будто подхлестнуло:

— Не далее, как месяц назад роман аттестовался совсем по-другому. Коммунист не может идти против мнения партии, это известно. Однако, возникает вопрос, и я адресую его Федору Федоровичу: каким образом вам удалось столь быстро пересмотреть свою точку зрения и придти к прямо противоположному выводу?..

Что тут началось? «Старики», а они составляли у нас большинство, возмущались моей бестактностью и зазнайством, в один голос приписывали мне аполитичность и наклонность к двурушничеству.

Молодые ребята — Володя, две недавние выпускницы КазГУ, к чести их, по-петушиному насакивали на обвинителей, выражая свою поддержку нарушителю спокойствия. Схлестнулись поколения. И демократический централизм и здесь был безотказен: меньшинству пришлось подчиниться. Но даже посрамленное, оно не признало упреков в демагогии и злоупотреблении псевдореволюционной фразой. Надо было спасать товарищей, и я опять вскочил с места.

— Недавно один москвич рассказывал, что Дудинцев задумал книгу на передовой, — далее следовала история, услышанная от Переверзева. — Пером автора «Не хлебом единым» двигала боль. И она передалась всем нам, пусть зеленым и неопытным, но бесхитростным и искренним. Вы клеите молодежи идеологические ярлыки, а ведь мы — живой барометр общественных настроений...

Договорить не дали — Боярский объявил собрание закрытым, а на следующее утро вызвал меня «на ковер».

— Ты какие знаешь языки? — спросил главный для затравки.

— Молдавский и немецкий, кроме русского, конечно.

Скрипнула за спиной дверь — в кабинет прошел секретарь партийного бюро, сел на диван. И только теперь я заметил, что там уже приютился маленький гномик — директор типографии, где печаталась «Социалистическая Караганда».

— Заграничное радио слушаешь?

— Нет.

— Почему?

— Приемника нету.

Тут к разговору подоспело еще несколько человек. Потом стало понятно, что это они всем составом руководства партиячки допрашивали комсомольца.

— С трудами Троцкого где познакомился?

— Троцкого?..

— Откуда знаешь про «барометр революции»?

— А, вы вот о чем... «Вопросы ленинизма» изучал в университете. Там Сталин разбирает «Уроки Октября» Троцкого и его теорию барометра революции.

— Ах ты, гад! Молодчики, вроде тебя, твою мать, в Будапеште по нашим солдатам из автоматов стреляют!.. Давить вас надо, мать вашу так!

— К чему тогда этот разговор?.. Номер телефона известен, позвоните, за мной приедут на «черном вороне»... — Слова комьями застревали в горле, с натугой их протаскивал. Не совсем ясно помню, как покинул кабинет, как оказался дома.

Я жил тогда на частной квартире, снимал комнату вместе с Володиным сослуживцем по сельхозуправлению. Татенко нас и свел. С. Моэм в томике своих воспоминаний «Подводя итоги» уверяет, что предпочел бы на необитаемом острове провести год с ветеринаром,

нежели с премьер-министром. Мой компаньон был как раз ветеринар. Он, к счастью, был в командировке. Промаялся до вечера, обдумывая возможные последствия инцидента, но ни к чему утешительному так и не пришел.

Вскоре после шести прибежал Володя. Ему, обычно сдержанному, едва удавалось скрыть волнение.

— Что там у тебя произошло с Боярским?..

Судили мы, рядили, как быть.

— Отправляйся-ка ты утром в редакцию, будто ничего и не было, — мудро предложил Володя. — Там поглядим...

Пришел, сел за стол, уставясь в какую-то статью, а букв не различаю. Является секретарша.

— Зайдите к Федор Федоровичу.

Боярский кивает на стул.

— Ну, ты меня прости — не держи в сердце зла. Я вчера был с тобой груб, погорячился — выбрось из головы. Но вот хочу рассказать тебе то, что слышал от начальника Карлага. В сорок пятом или в сорок шестом году в Мариупольском порту грузили судно пшеницей. Мимо, гуляя по набережной, проходили две девчужки, ученицы десятого класса. Одна другой и говорит: «Самим жрать нечего, а куда-то отправляем». Чье-то недоброе ухо оказалось рядом. Дали девчужкам по червонцу. Были семнадцатилетними, невинными, недавно освободились прожженными бабами — прошли Крым, рым и медные трубы. А закончил начальник лагеря так: «Не лучше ли было задрать им повыше подолы да надавать по одному месту — не болтайте, чего не разумеете». Боярский выразительно на меня посмотрел и добавил:

— Иди, работай.

Мне-то сошла передрыга из-за «Не хлебом единым», но для Дудинцева она имела непоправимые последствия: замолчал до самых «Белых одежд». В шестидесятые годы встречал его в редакции «Дружбы народов». Он перебивался внутренними рецензиями, жаловался на детей, которых у него четверо или пятеро:

— Никак не оторву от сосцов...

...Все-таки неловко, казалось нам с ветеринаром, что не справили новоселья. И было решено устроить мальчишник.

Когда передавал приглашение Меиру Гельфанду, — это он помог найти комнату, — тот спросил:

— Можно, приведу двух ребят? Вместе припухали на нарах — отличные ребята.

Меир учился на втором курсе медицинского института, а был года на два старше меня. И еще Меир работал фельдшером в шахтерской больнице — дежурил по ночам.

Я уже упоминал о винницком литературном кружке, где читали поэму Алигер «Твоя победа». Среди кружковцев был и Меир.

В ту послевоенную пору редкому выпускнику средней школы не удавалось продолжить учебу в высшем учебном заведении — было бы желание. Гельфанд поступил в Киевский медицинский. Все же какой-то особенно тупой его одноклассник никуда не попал и, чтобы насолить своим товарищам, настрочил донос: читали и обсуждали сионистскую поэму. Любители лироэпического жанра получили по десять лет.

Меира, бывшего студента-медика, московский академик-заключенный пристроил в лагерной санчасти. Светила медицины были в ней рядовыми врачами. Меир стал сначала санитаром, потом «братом милосердия». Окружение было для него благотворным. Да и сам не терял зря времени: осваивал будущую специальность, штудировал историю, философию, языки.

Меир провел в лагере шесть лет. Освободился после смерти Сталина. В Киев, однако, дорога была заказана, и он подался в Карагандинский медин.

Наше случайное знакомство, а свели нас поиски комнаты, довольно скоро перешло в подобие дружбы. После лекций Меир иногда заглядывал в редакцию, навещал его и я.

На новоселье Меир и его ребята принесли бутылку аптечного спирта. Ребята оказались много нас старше: Миша Шотланд был недоучившийся из-за ареста московский студент, второй — провизор родом из Польши — смотрелся и вовсе пожилым человеком.

Разбавляли водой ректификат, галдели, пели песни — русские, еврейские, лагерные. Вдруг кто-то из гостей вспомнил:

— Мужики, завтра Росышы-шуны — еврейский Новый год! Выпьем!

Бабушка говорила, что я родился в канун еврейского Нового года. У меня в метрике — 30 сентября, дело же было в октябре — лунные месяцы не совпадают с календарными.

Минуло несколько дней. Вдруг звонок: срочно вызывают в военкомат. В указанном кабинете меня ждал товарищ в штатском, предъявил удостоверение сотрудника КГБ.

— Нужно побеседовать. Будьте в Комитете государственной безопасности сразу после шести. Пропуск заказан. И никому ни слова о нашей встрече.

Тут бы и возразить: дескать, конспирация уже нарушена — военком-то в курсе. Да ведь все равно не помогло бы...

Это все в Караганде находилось рядом — редакция, обком, управление КГБ. В четверть седьмого я переступил порог однозного сего учреждения. Принимали меня двое чекистов: давешний, что был в военкомате, и другой, повыше чином.

— Давно знаете Гельфанда?

В моих приятелях ходил еще один Гельфанд — Филипп. Тебе случалось потом видеть его к Москве, мы с тобой даже его докторскую диссертацию «обмывали».

— Как приехал сюда.
— Где познакомились?
— В городском доме отдыха «Шахтер». — Сообразил, что их интересуется Меир, но подсовывал Филиппа. Этому, думал, не повредишь — свояк первого секретаря горкома партии.

— А Меир Гельфанд, что он собой представляет?

— Он ваш подопечный.

— И какие вел с вами разговоры? — спросил молчавший дотоле начальник.

— Простите, но почему я должен пересказывать свои частные разговоры?..

— Вы — комсомолец, работник партийной газеты. Мы вправе рассчитывать на вашу помощь. Комитет государственной безопасности и орган обкома партии делают общее дело. Политическое доверие надо оправдывать...

— Я и оправдываю его честной работой.

— Вы с Меиром Гельфандом организовали встречу еврейского Нового года. На ней пели сионистские песни, произносили тосты.

— Вас неверно информировали. Праздновали новоселье. Гельфанд помог найти комнату, потому и был среди гостей. А что, отмечать еврейский Новый год запрещено?..

— Нет, конечно. Скажите, Меир не предлагал вам вступить в сионистскую организацию?

— Да вы что?!

— Понимаю ваши чувства, — сказал начальник.

— Еще раз предупреждаю: о вызове в комитет распространяться не следует, — добавил подчиненный..

— В моих ли это интересах? — ответил я, получая пропуск на волю.

Долго плутал по кромешным улицам, мнил — запутываю следы. Донесли!.. Соседи? Кто-то из Меириных дружков?.. Завербовали в лагере — до сих пор «стучит»...

Было около полуночи, когда я торкнулся в окно к Гельфанду. Выглянул сожитель.

— Меир дома?

— Нет.

— В больнице?

— Не знаю.

Меир исчез, точно был предупрежден о грозящей ему опасности.

Только через много лет ветеринар открылся мне: и его тогда вытащили в КГБ. А потом и бывший сожитель Меира признал: что и он не избежал допроса. От него стало также известно о том, что предшествовало исчезновению Гельфанда.

Меир ехал с ночного дежурства в рабочем поезде. И тут к нему привязалась милиция — искали якобы вора, обокравшего кого-то из пассажиров. Бывалый лагерник учуял неладное. Утром ему удалось

скрытно покинуть Караганду. Как он истребовал нужные документы, как оказался в Московском первом медицинском институте, не ведаю. Но он закончил его и стал дипломированным врачом.

Столичные сокурсники Меира лет десять назад в случайном разговоре сообщили мне, что, защитив кандидатскую, он преуспевал в каком-то НИИ, пока не уехал в Израиль, увезя с собой русскую жену и тещу. Там деятельный Меир возглавил ассоциацию медиков — выходцев из Советского Союза.

...Боярского перевели в Алма-Ату ответственным редактором «Казахстанской правды». На место Федора Федоровича пришел Николай Степанович Марфин, служивший прежде корреспондентом газеты «Правда». Мои отношения с Марфиным были испорчены еще до того, как он сделался нашим шефом. Стол замсекретаря всегда был завален репортерскими сообщениями обо всех интересных областных событиях. Представитель центрального органа ежедневно являлся перед засылом материалов в набор, словно невзначай, спрашивал:

— Ну, что новенького? — и, не дожидаясь моего ответа, начинал рыться в ворохе бумаг, отбирая для себя наиболее выигрышную информацию, собранную усилиями многих людей.

Мне такое паразитирование на чужом труде было не по душе, и я не скрывал этого. Страдала и наша газета. «Правда» выходит каждый день, мы пять раз в неделю. Получалось, что иные новости «Социалистическая Караганда» доводила до читателей, как говорят журналисты, «в собачий голос», то есть во след московской старшей сестре, хотя узнавала о них первая. Как было не возмутиться?..

Вскоре после прихода к нам Марфин заявил близкому своему окружению:

— Не успокоюсь, пока не разгоню синагогу!

Клевреты постарались донести его слова до тех, против кого они были направлены.

В самом деле, по стечению разных обстоятельств, число евреев в редакции оказалось относительно велико. Завотделом угольной промышленности и ответсекретарь пришли с шахт сразу после войны. Завкультурой приехала к ссыльной матери — отца расстреляли — в конце тридцатых годов. Заведующий отделом пропаганды был уволенный из армии в период сталинской чистки политработник. Я да еще Галя Берковская появились в качестве молодых специалистов.

Шесть иудеев на коллектив в двадцать с небольшим творческих единиц — чем не перебор?.. Но Боярский мог себе позволить подобное. Газетчиков, не тех, что продают, а тех, кто делает газету, причем, непьющих газетчиков, всегда не хватало, и поэтому обком на еврейский крен редакции смотрел сквозь пальцы.

Не знаю, как обставил Марфин возвращение в отдел угольной промышленности ответсекретаря, мне же, его заместителю, было сказано так:

— Ты — парень молодой. Рано тебе руководить. Иди в забой: нам подземные репортажи нужны.

Половина «синагоги», точно ранние христиане в катакомбы, была загнана в крошечную темень штреков и лав. Проводя по многу часов на горнодобывающих предприятиях бассейна, мы обеспечивали редакцию самыми важными в местных условиях материалами. И мудрый зав радовался такому суверенитету: кроме нас никто в «конторе» не смыслил в угле ни бельмеса.

Мое очередное дежурство совпадало с днем рождения Леша Артева.

— Да освободись ты как-нибудь, — просил Леша.

Новый ответсекретарь был великодушен:

— Гуляй на здоровье — заменим, завтра оттрубишь.

— Значит, свободен?

— Я здесь — кто?!

Утром прихожу на работу — вызывают на заседание редколлегии. Против обыкновения, она собралась у Колчина и под его председательством.

— Вы почему сорвали дежурство по сегодняшнему номеру? — хмуро спросил зам.

— Это не так. Ответсекретарь разрешил мне отдежурить в другой раз.

— Ничего я не разрешал, — не моргнув глазом, возразил секретарь.

— Наверно забыли назначить замену... Не пристало солидному человеку и коммунисту говорить неправду!

— Нет, не забыл! И нечего валишь с большой головы на здоровую!..

— Да как же так? — недоумевал я.

А Колчин уже формулировал:

— За нарушение трудовой дисциплины — срыв дежурства — вынести литсотруднику Сиркесу строгий выговор с последним предупреждением...

Возражений не последовало.

Черед снова дежурить наступил примерно через месяц. Бдительно отстоял вахту и с сознанием исполненного долга отправился домой. Но на следующий день надо мной опять учинили расправу.

— Во время вашего бдения в кавычках допущена серьезная политическая ошибка — в передовой по сельскому хозяйству в десять раз занижена урожайность одной из культур, — начал Марфин. — Каким образом это могло произойти?..

— Не представляю. Мы дежурили вдвоем с членом редколлегии — завсельхозотделом. Он же — автор статьи. Кому, как не ему разбиться в таких цифрах?..

— Запятая сдвинута на один знак влево — вот и десятикратное уменьшение, — объяснил тот, с кем я вместе нес ответственность за

номер, причем, таким тоном, будто он и сам пресек бы идеологическую диверсию, если б не излишняя его доверчивость.

— У Сиркеса уже есть строгий выговор с последним предупреждением, — сказал главный. — Надо увольнять.

Приказ был вывешен тотчас же.

— Они не имели права уволить тебя без нашего согласия — ты ведь член месткома, — кипятился Володя.

Собрали местком. Нас в нем было пятеро. Председатель Володя, одна из девчонок, которая уже наострила лыжи в Алма-Ату, и я проголосовали против. С выпиской из протокола отправился в областной совет профсоюзов.

— Мы, конечно, попытаемся вам помочь, — заверили там, — но, сами понимаете, редакция — особое учреждение, она в ведении обкома.

В обком собрался, да перехватил меня секретарь нашего партийного бюро.

— Послушай, Паша, мой совет: тебе с Марфиным не сработаться. Знаю, собираешься в аспирантуру. Поезжай в Москву. В трудовой книжке запишем, что уволен в связи с отъездом на учебу. Так для всех лучше. Это мнение и Николая Степановича. И не упрячься, не то поломают тебе жизнь — «телеги», они далеко катятся...

Бороться? Нет, я принял это предложение, хотя накануне пришло извещение, что к экзаменам не допущен. Как-то мне разом опротивели и редакция, и город, который приютил на два последних года. Сдал комнату, запасся соответствующей справкой, что сдал, а Марфин потом объявил на летучке — продал Сиркес редакционную площадь. И был таков.

Отказался от борьбы, потому что хорошо запомнил пьяные признания Лени Маслова...

Мы познакомились в Карагандинском отделении общества «Знание», где он якобы работал референтом и еще читал лекции о международном положении. Тут ничего не было удивительного: Маслов окончил МГИМО. Почему дипломата заслали в Центральный Казахстан? Вразумительного ответа на этот простой вопрос получить не удавалось, пока не случилось нам крепко выпить в компании с ним да еще с Лимоновым. Вдруг Леня вытащил откуда-то пистолет и, для убедительности подбрасывая его на ладони, сказал:

— Никакой я, ребята, не референт. Весь наш курс двинули в госбезопасность... — Окинул собутыльников мутным взглядом и добавил: — Берегитесь! Каждый мало-мальски заметный человек внесен в картотеку, журналисты — все... Стоят карточки в ящиках, диагональю, как на сертификатах, — красные, синие, желтые полосы — по степени преданности, лояльности или враждебности режиму. У тебя, Лимонов, — красная, значит, свой. А ты, Сиркес, уже в них...

Можно ли проверить правдивость подобной информации?.. Но, с другой стороны, зачем Маслову врать?.. Нет, нет, бежать, бежать по-дальше, бежать туда, где твои корни, где ты свой — честный советский человек.

Мне полагался отпуск. Я проводил его в Тирасполе, у мамы. И все-таки не усидел на месте, поехал в Кишинев, к Рошину. Он был почти столь же приветлив, как два года назад.

— Перья нужны, свободных ставок нет. Пойдешь на пятьсот рублей? Зато близкий тебе сектор литературы и искусства...

«Молодежь Молдавии» и внешне отличалась от других газет. Она первая в нашей печати применила фигурную верстку, располагая материалы на полосе свободно — не в виде кирпичей. И по содержанию была смелой, проблемной. Нипочем должностные ранги. Важны правда, принципиальность, честность.

Редактор «Молодежки» Федор Дмитриевич Рошин совсем не походил на отчаянного, дерзкого человека. Сотрудники справедливо считали его скорее мягким и нерешительным. Но всякий раз он, как принято говорить, шел на поводу у коллектива. Верно, Рошину для неординарной акции требовалось время — поразмыслить, посоветоваться.

Зато уж, случалось, в одном номере под огонь попадали сразу до шести министров. Сенсационные статьи, разоблачающие бюрократию, настолько повышали спрос на «Молодежку», что «жучки» торговали ею из-под полы по пятерке (в старом масштабе цен) за штуку.

Лишь немногим было известно, что перед такими серьезными выступлениями Рошин консультировался с самим Гладким, еще совсем недавно тот состоял первым секретарем ЦК КП Молдавии, причем, Федор Дмитриевич как раз и способствовал столь высокому взлету своего патрона. Каким образом? Да очень просто. Служа собкором «Советской Молдавии» в Рышканах, где Гладкий был секретарем райкома, Рошин столь красочно расписывал достоинства провинциального руководителя, что, покинув виноградную республику, Л. И. Брежнев порекомендовал его взамен себя.

Продержался Гладкий всего около двух лет. На державный пост был прислан З. Т. Сердюк. Близкие к престолу журналисты, видимо, не без высочайшего разрешения, по привычке шепотом распространяли слышанный от самого такой политической детектив (он, кстати, подтвержден недавно в журнальных публикациях). Еще в бытность свою главою Львовского обкома Зиновий Тимофеевич водил дружбу с председателем областного КГБ. Однажды тот приходит и показывает циркуляр Берии — собирайте компромат на партийную верхушку. Куда ни бросали Сердюка — парторгом Большого театра или замполитом полярного похода ледокола «Сибиряков», членом военного совета или аппаратчиком Украинского ЦК, всегда он соответ-

ствовал месту и пользовался полным доверием. Впервые оказался в положении подозреваемого... В Киеве работал под началом Хрущева, тот его жаловал. Теперь Никита Сергеевич — лидер партии. К нему и решил лететь Сердюк.

Дальнейшее хорошо известно: Хрущев разоблачил Берию, а Сердюка наградил за безобманное партийное чутье орденом Ленина и возвел в должность, которую занимал Гладкий.

С Гладким проблем не было — его передвинули в председатели молдавских профсоюзов. Пестуя школу коммунизма, он и давал советы Рошину. Советы эти на поверку таили в себе опасность, которая в конце концов и погубила нашего редактора. Но все по порядку...

«Молодежка» выявляла недостатки. Они не могли быть отнесены к прежнему правлению, потому что Гладкий у власти пробыл недолго. И поскольку близость Рошина к нему была секретом Полишинеля, критические выступления газеты как бы подчеркивали, что беды-то начались при Сердюке...

Не снеся тоски по утраченным высотам, Гладкий заболел и вскоре умер. Его похороны — многолюдное траурное шествие по центральному проспекту Кишинева — были нарочито пышными, будто новый вожак республики хотел показать, что старый ему не страшен и мертвый.

Живого Гладкого мне видеть не доводилось. С Сердюком постоял рядом однажды, но уже в Москве. С улицы Горького мы ходили с маленькой Сашей гулять на Тверской бульвар. Пока дочка играла с ребятишками, я читал «Советскую Молдавию» — там на стендах республиканские газеты были вывешены.

Тогда все они были на одно лицо, отличались только названиями, вернее, второй половиной. «Советская...» и дальше — Киргизия, Латвия, Эстония. И все же можно высмотреть, кто умер, кто процветает, кто пописывает до сих пор статейки. Вот затем-то и пританцовывал на морозце у щита. Гляжу, сбоку топчутся чьи-то ботинки войлочные с кожаными носками и задниками, прозванные в народе «прощай, молодость». Какому, подумал, одуванчику интересны молдавские дела?.. Скосил глаза: «Ба, да это Зиновий Тимофеевич!» Присеменил почти от Центрального телеграфа. Значит, крепко его забрала Молдавия! Стоит приземистый старик, на челе — ни мудрости, ни воли. Может, только некая отгороженность от прочих разных заметна в пенсионере «союзного значения». Надо же придумать такое!..

А тогда здорово мне досталось из-за одного лишь соприкосновения с Сердюками! Младший Сердюк, Виктор, приехал к нам на практику. Большой, красивый, как молодой бог, и силен — метатель молота. Старались приспособить этого гиганта к газетной работенке, что плохо удавалось. Лимонов (он вернулся в Кишинев в апреле, за четыре месяца до меня, — взял отпуск и навсегда смылся из Караганды) предложил завлечь Витю балетом. Наше задание гигант выпол-

нил с горем пополам, зато проявил интерес к солистке. Но стажер должен отписаться, то есть привезти в университет несколько опубликованных материалов. Обаятельный Витя попросил нас поставить его фамилию под двумя-тремя своими статьями. Мы согласились без колебаний. Не устояли вот почему: как-то он намекнул, что Сердюки — неродные ему, взяли на воспитание в тридцать седьмом, после ареста отца с матерью.

В гонорарный день Витя выкладывает восемьсот старых рублей.

— Это ваше.

— Да ты что!.. — возмутился Лимонов.

— Ладно, вечером в кабак завалимся.

— Не пойдем с тобой в кабак, — возразил я, вспомнив недавний инцидент.

Было так. Редакционный поэт под конец работы вдруг объявил:

— Ребята, у меня сегодня день рождения!

Сообща решили устроить парню праздник.

— Пойдемте ко мне, — предложил Лимонов. — Хозяйка в отпуск уехала.

Накупив в складчину вина и закусок, мы отправились на лимоновскую квартиру.

Весело шумела пирушка. В одиннадцатом часу раздался властный стук в дверь.

— Неужели вернулась хозяйка? — обеспокоился Лимонов и кинулся открывать.

Отстранив его рукой, в комнату прошел мужчина со стертой, незапоминающейся внешностью.

— Витя, за мной! — неожиданно твердо сказал он. Гигант послушно встал и молча вслед за незнакомцем покинул пир. На следующее утро, в редакции, Витя объяснил, что это был телохранитель отца.

— Как же он узнал? — наивно удивился кто-то.

— Работают люди! — усмехнулся Витя.

И вот теперь, признавая резонным отказ идти в ресторан, гигант спросил:

— А куда бы вы хотели?

— Пригласи домой, — сказал Лимонов.

— Стесняться будете...

— Это почему же? — спросил Лимонов. — Я подойду к твоему батю, сделаю так, — он изобразил похлопывание по плечу, — поинтересуюсь: «Как живете-можете, Зиновий Тимофеевич?..»

— А он вот так делает, — ответил Витя и жестом же показал, как нажимают на спрятанную под столешницей кнопку. — Нет, лучше соберемся вокруг ножек... — Он имел в виду солистку. — Мать пообещала для проводов отменную жратву и питье.

Выходило, что междусобойчик собирается сразу по двум поводам: гонорар совпал с окончанием сердюковской практики.

К вечеру прибавился еще один — получил пересланный Володей билет Союза журналистов СССР. Пока выгоняли из карагандинской газеты, пока отдыхал в Молдавии и снова устраивался, меня утвердили в Алма-Ате членом вновь созданной ассоциации.

По пути с почтамта забежал к Рене — поделиться радостью, что принят в СЖ, сказать, что занят вечером.

Ты знакома с Реной. Как с ребенком возился с этой трогательной и взбалмошной девочкой. Неверной моей подругой. Мучился, страдал. Но она помогла мне понять простую истину: любить важнее, чем быть любимым, и чем большим поступаешься для дорогого человека, тем к нему сильнее привязанность.

Приплелся к сердюковской зазнобе. Ребята не прощали опоздания, совали штрафную.

— Пей! — кричал Витя. — За журналистский билет выпьем все вместе!

Влил в себя стакан брэнди, закусил ломтиком консервированного ананаса — хмель сразу ударил в голову. Лимонов заметил, что я не в себе.

— В чем дело, старик?

— Пойдем отсюда — расскажу...

Уйти удалось лишь во втором часу ночи. Пробовали увести с собой и Сердюка — безуспешно. Он дурашливо отбивался, развалился на тахте.

— Да ну его к черту! — озлился бывший душой компании ответсекретарь «Молодежки».

— Хочешь остаться, сказал бы прямо... — с поэтической непосредственностью урезонил Витю наш доморощенный бард и в сердцах хлопнул дверью.

Проснулся с больной головой, глянул на часы: батюшки, рабочий день уже начался. Наспех умылся, покрутил электробритвой у щек — и в редакцию.

— Мать Сердюка приезжала... — сообщил с порога поэт. — Скандал! Ищет сынка... Шухер в конторе!

— Лимонов здесь?

— Не приходил.

Я помчался к Лимонову.

Минут через тридцать четверо участников вчерашнего сабантуя были вызваны в кабинет заместительницы главного редактора.

— Вы думали, сукины дети, с кем пьете?! — орала она вроде бы на всех, но почему-то получалось так, что словесный залп попадал в нас с Лимоновым. Ответственный, он же партийный секретарь редакции, как бы присутствовал на экзекуции от общественности. Юный бард — что возьмешь с преступника-малолетки, которого даже закон щадит?

— По-вашему, Сердюк из другого теста?.. — спросил Лимонов.

— Негодяи, не дорожите честью коллектива! Теперь в ЦК точно сложится мнение — в «Молодежке» раздолье алкоголикам!..

— Ваш тон... — начал было я.

— Молчать!.. Пили черт знает где, бросили товарища...

— Виктору, между прочим двадцать три — не ребенок... Мы были его гостями, — вставил Лимонов.

— Сводники, подонки! — продолжала орать заместительница. — Тон ему, видите ли, не нравится...

— Ты — как хочешь, а мне здесь делать больше нечего, — бросил я Лимонову и покинул кабинет.

Сердюк объявился в редакции, когда уже висел приказ:

«Такого-то числа литсотрудники Сиркес П. и Лимонов Н. организовали пьянку. На следующий день вышли на работу с опозданием: Сиркес — на полчаса, Лимонов — на час.

За организацию пьянки и нарушение трудовой дисциплины Сиркеса уволить, Лимонову объявить строгий выговор с последним предупреждением».

— Видишь, что получилось? — упрекнул Виктора поэт. Он терзался тем, что избежал кары.

— Сейчас все уладим, — сверкнул ямочками Сердюк и двинулся к замглавного.

— С тобой, Виктор, я на эту тему говорить не могу, — изобразила сожаление наша судья.

Ей позвонила мать Сердюка по его просьбе. И услышала ответ:

— Не беспокойтесь, пожалуйста. Все у нас в редакции совершается, как надо.

Снова я лишился работы. При расчете бухгалтер Партиздата сделал удивленные глаза:

— Вот уж не знал, что вы пьете...

Карагандинский опыт научил меня — закон не для журналистов писан. Боец идеологического фронта может уповать лишь на того, кто этим фронтом командует. Стал добиваться приема у первого секретаря ЦК комсомола Молдавии.

— Что приуныл, алкоголик? — с усмешкой спросил первый. Он, видимо, слышал о происшествии от жены, которая заведовала у нас отделом писем. — Расскажи, расскажи, как было дело, ничего не утаивай.

— Тут и рассказывать нечего.

— Вот это по-мужски, — одобрил секретарь. — Перестраховалась замша... Приедет редактор — отменит приказ.

Когда Роцин вернулся из санатория, я был восстановлен.

— На компенсацию за вынужденный прогул не надейся, — сказал Федор Дмитриевич. — Да невелика потеря из пятисот-то рублей... Ладно, потерпи. Выбиваю для тебя ставку.

Роцин не подозревал, что над лишившейся покровительства «Молодежкой» уже нависла беда: ее решили слить с молдавской «Тине-

рима Молдовой». А ведь он уже готовился пересечь в кресло редактора партийной «Советской Молдавии». Тут, — вот так хитрость! — привили дичок к плодovому дереву, и получился нелепый молдавско-русский печатный гибрид. Плакала моя ставка. Но и Федору Дмитриевичу зажегся красный свет. Ведь невозможно же, право, делать газету, не разумея языка, на котором она выходит.

Вскоре после Нового (1960) года вызывает Рошин.

— Чей на тебе костюм, какой страны?

— Чешский.

— Импортный, значит...

— Так ведь лучше шит.

— Все верно. В ЦУМе пылятся костюмы производства швейной фабрики № 1 на миллион рублей. Займись — подними проблему.

Начал с торговли, потом обратился к модельерам, к текстильщикам, швейникам. Люди понимали, что положение ненормальное, предлагали какие-то меры, убеждались в их неэффективности и... продолжали работать по-старому. Типичный случай: художники сочинили красивую и недорогую модель, когда же она попадала на фабрику, то оказывалось, что нет нужной ткани или отделки, фурнитуры, или бортовки. Машины устарели. Технология себя изжила. Радикально что-нибудь изменить мешал план, утвержденный на пять лет вперед. Пока шли переговоры, согласовывались неувязки, уламывались вышестоящие инстанции, гнали продукцию, которой место разве что в лавке уцененных товаров. Если же иногда и удавалось изготовить хорошую партию, то она теряла вид на пути к покупателям из-за небрежных транспортировки и хранения.

Обо всем этом я настроил большую, по газетным масштабам, статью «Встречают по одежде». Ее опубликовали в воскресенье, 31 января. В понедельник на летучке обсуждались последние три номера. Рошин не преминул заметить, что идея принадлежит ему, похвалил меня за основательность и остроту, предложив поместить «Встречают по одежде» на Доске лучших материалов недели и оплатить повышенным гонораром. А 5 февраля «Советская Молдавия» под рубрикой «Из последней почты» напечатала реплику «Об узких дудочках и политическом недомысле». В ней утверждалось: «П. Сиркес в разговор об одежде пытается привнести некие политические взгляды... примерно так же пишут о советских людях в капиталистической прессе наши недруги».

Через день «Молодежка» признала критику правильной. Мы сидели вдвоем с Рошиным в его кабинете, обсуждали случившееся. Раздался телефонный звонок.

— Из ЦК, — шепнул Федор Дмитриевич, прикрыв ладонью микрофон. — Как попала на страницы газеты статья «Встречают по одежде»? Это-то мы сейчас и выясняем. Я только из командировки... Нет, Сиркес у нас не в штате. Да. И печатать больше не будем.— Положил трубку и со смущением в голосе обратился ко мне:

— Вот так-то, дорогой. Спасать надо редактора... О тебе позаботимся позже. Мой тебе совет — уезжай куда-нибудь на время. Я запрашивал сектор печати ЦК ВЛКСМ, предлагают молодежные газеты на выбор, кроме Москвы, Ленинграда и Киева.

— Ославили на всю республику... Нет, оболганный, я отсюда не уеду.

Сотрудники сочувствовали, тискали мои писанья под разными псевдонимами. Анонимных выплат едва хватало на мзду хозяйке за комнату. Тогда мне в первый раз пришло в голову: надо бросать вторую древнейшую. Были же в нашей семье мужчины столярами... И я смогу. Чистое занятие! Или, может, податься в школу, к детям? Диплом-то пропадает... Только возьмут ли теперь?..

Позвонил заведующему отделом пропаганды ЦК Компартии Молдавии.

— Нам с вами говорить не о чем! Впрочем, обратитесь к кому-нибудь из инструкторов.

После мучительных заочных объяснений, кто я да что, ожидания пропуска, проверки документов, сижу перед инструктором, молодым, видно, только из ЦПШ, молдаванином.

— Мы еще разберемся в социальных и национальных корнях ваших ошибок, — грозит инструктор, стараясь придать жесткость своему мягкому выговору с сонорным романским «л».

Я вскипел:

— Подпишите! — и сунул ему бумажку, по которой сюда прошел.

Голод не тетка... В середине марта снова обратился к заву — на этот раз письменно. Не каялся, но и не отрещивался от обвинений, искренно доказывая, что у меня, советского человека и воспитанника комсомола, нет и не может быть взглядов, которые противоречат коммунистической идеологии. Спустя несколько дней слышу в редакции:

— Из ЦК партии звонили. Сказали, чтоб ты связался с замзавом отдела пропаганды — вот номер телефона.

Назавтра принял замзав, по возрасту — пенсионер, да крепкий еще аппаратчик. Их много таких в середине сороковых годов приехало в Молдавию из России. В республике не хватало своих кадров. И интересы центра надо было блюсти.

— Нехорошо, нехорошо с вами получилось, — по-стариковски шамкал замзав. — Произошло, понимаете, недоразумение... Сейчас поднимают возню молдавские националисты. Вот и решили по ним ударить.

— А я-то, еврей, тут при чем?

— Ошибочка вышла.

— Оболгали, опозорили на всю республику! Опровержение — вот что нужно.

— Вы ведь не первый год в печати. Много видели опровержений? Начнете опять работать — значит, доверяем. Только где?.. Редактор

«Молодежки» нехорошо с вами обошелся — не уживетесь. В «Советскую Молдавию» тоже нельзя. Остается издательство. Поидете редактором в издательство?

— Пойду.

— Там лучше, чем в газете: оклад выше и независимости больше. А печататься будете по-прежнему, под своей фамилией...

— Спасибо.

— Идите прямо сейчас к директору издательства. Я ему позвоню.

— Сейчас же и пойду.

— Да, надо вот еще одну формальность уладить... Вы обратились с письмом...

— Так ведь наш разговор...

— Письмо необходимо закрыть, то есть составить новое, отзывающее его, делающее недействительным, поскольку вы в состоянии запальчивости... несколько...

— Там все правда.

— Ну, как хотите. Только тогда... тогда, не обессудьте — ничего сделать для вас не смогу.

— Мне есть нечего. Вы, старый коммунист, считаете — так правильно будет?..

— Правильно.

— Что ж, дайте чистый лист бумаги — и диктуйте.

Директор издательства «Картя Молдовеняскэ» («Молдавская книга») Борис Захарович Танасевский встретил ласково.

— Слышал о тебе и раньше. Пришел бы, сам бы взял. Но через ЦК удобнее обоим...

Мои материальные обстоятельства поправились. Получал сто десять рублей в месяц, — подоспела денежная реформа. Подвернулся и перевод книжки молдаван-очеркистов. Кажется, можно жить...

После шести я оставался в редакции, засиживался до одиннадцати и позже. Как-то заглянул Танасевский, его кабинет был напротив, через приемную.

— Ты что делаешь? Переводишь? Не возражаешь, если дверь останется открытой?.. Все-таки веселее.

Около десяти услышал:

— Павел Семенович, может, на сегодня хватит?.. Заходи, потолкуем.

Он достал из сейфа вино, вазу с яблоками. За второй бутылкой Борис Захарович уже изливал душу.

Был Танасевский раньше мэром Кишинева, и продолжалось это целых двенадцать лет. Готовили, по его слову, на председателя Совмина республики — и вдруг сняли. Причиной послужил конфуз с заместителем — с Караваевым.

Караваев прибыл в Молдавию из Карело-Финской ССР после ее превращения в Карельскую АССР. Там он дорос до замминистра какой-то промтрасли. И никто не удивился карьере подполковника

запаса, награжденного боевыми орденами, хотя и не имевшего цивильного образования.

В Кишиневе бывший член правительства братской республики стал всего лишь директором кожевенного завода. Видимо, понимал, что недостает грамотенки: работал и заочно учился на экономическом факультете университета.

Показатели у кожевников были отличные. Караваева выдвинули заместителем председателя горсовета. Тут он и диплом получил. Экзамены принимали у него в кабинете — Караваев ведал распределением жилья.

Сам Танасевский в подобные щепетильные вопросы не вникал. Общался с партийным руководством, ездил на сессии Верховного Совета СССР, представлял, принимал высоких гостей. Когда в Кишинев привезли Гарста с женой, Борис Захарович самолично выбрал в Ювелирторге кольцо за двадцать тысяч рублей и преподнес супруге популярного у нас при Хрущеве американского фермера.

Прием граждан вел, в основном, Караваев. Пришла женщина, иностранка, будто бы по поводу разрешения на обмен квартиры. После этого посещения обратилась в госбезопасность: у кишиневского зампредисполкома все, как у пропавшего на войне брата, — фамилия, имя, отчество, даже биография до сорок первого года, напечатанная в газете, только облик... совсем другой. За Караваевым стали следить. Обнаружилось, что он бросает на ветер большие тысячи, часто закатывает пиры в специально отведенном для этого особняке. Источник мог быть один — взятки.

Ну, пожурили бы Танасевского за излишнюю доверчивость, дали бы другого зама, если б... Выяснилось, что Караваев, действительно, вовсе не Караваев. Когда-то работал шофером в Тбилиси, был осужден за убийство. А тут — война. Попросился на фронт — отправили в штрафбат. В первом же бою взял документы убитого капитана Караваева и прибился в суматохе отступления к другой части. Ко дню Победы он уже был подполковником. Ну, а дальше — смотри начало рассказа Бориса Захаровича.

Зама разоблачили. Танасевский был обвинен в политической близорукости и осел в издательстве, все еще оставаясь депутатом Верховного Совета СССР, сохраняя повадки и решительность крупного деятеля. Истово ждал возрождения, подъема на новые, самые большие иерархические вершины. Почему, что поддерживало его в уверенности на очередной виток карьеры? Ни образования настоящего (педучилище, какая-то школа советского строительства), ни разностороннего жизненного опыта (взводный, комсорг полка). Правда, пребывая в мэрах, он завязал подобье дружбы с Брежневым, Черненко, а те теперь заправляли в Москве.

— Бодюл — вот кто встал поперек дороги, — как бы подвел итог своим неприятностям мой директор. — Знает, что у меня больше прав на республику, чем у него...

— Тетка служила с ним в Совмине, — вставил я, — рассказывала, что по возвращении из командировок Иван Иванович расхаживал вдоль учрежденческих коридоров в одних носках...

— Наверно, и в туалет так бегал, — саркастично заметил Танасевский. — Знаешь, Павел, в партию тебе надо, — вдруг невпопад сказал он. — Вступишь — половину еврейства скостишь!.. Хочешь, напишу рекомендацию?

— Спасибо, Борис Захарович.

— При турках в Молдавии утвердили позорный обычай: если, возвращаясь домой, хозяин замечал у порога востроносые сапоги, то не имел права входить. Брошенные у дверей сапоги басурмана означали, что он забавляется с хозяйской женой...

— Это вы к чему?

— Да так... А ведь пока я был на фронте, Бодюл в военно-ветеринарной академии ошивался.

— Сомерсет Моэм говорил, что предпочитает ветеринара премьеру.

— Как видишь, иногда это одно и то же лицо. Только у нашего ветеринара власти в республике больше, чем у первого министра в любой стране...

— Редакционная стенографистка вспоминала, как они с подружкой учились на курсах быстрой записи в Днепропетровске. Подружка пригласилась первому секретарю обкома. Закончили, получили назначение в Кишинев, куда уже перевели первого — первым же. «Тут ко мне и посватался инженер, — делилась со мной стенографистка, — к подружке — ветеринар. Я-то думала, моя судьба завиднее — всегда в городе буду жить. Жалела ее: все равно ведь зашлют Ваню в глубинку при очередной кампании за подъем сельского хозяйства. И что вышло? Строитель спился, коровий доктор — вон он как взлетел!..»

— Взлетел бы он, если б не жена! — зло сказал Танасевский и, хитро подмигнув, черкнул ладонью по нижней части лба, намекая на чьи-то властительные брови.

...Однажды позвонил некто, назвался Михаилом Ивановичем, сказал, что нам необходимо встретиться.

— У вас какое дело ко мне?

— Ничего не спрашивайте... по телефону. Буду ждать на второй скамейке справа у входа в парк Победы в три часа дня.

— Но...

— Не беспокойтесь, я знаю, как вы выглядите.

Он сидел на скамье не один, и все-таки я угадал его шагов за десять. Нет, внешность Михаила Ивановича совсем не вязалась с расхожим представлением об агенте сысского ведомства. Смуглолицый и длинноносый, он скорее походил на вороватого снабженца. Но что-то подсказало: из троих — этот.

— А-а, Павел! — вскочил навстречу, изображая радость. — Прогуляемся?..

— С удовольствием, — растерянно согласился я, чувствуя, как меня подхватывают под руку.

— Вам привет из Караганды.

— От кого?

— Сотрудники передали.

— Кто именно?

— Не хотелось бы в людном месте... Давайте вот что: я пройду вперед, а вы следуйте за мной. Это угол Киевской и Бендерской, слева — котельцовский особняк. Звонить не нужно. Дверь будет незаперта.

— К чему такая конспирация?..

— У нас свои правила.

— Привет вы передали. Спасибо. А теперь разрешите откланяться.

— Подумайте о своем будущем. После того, что случилось...

— Что случилось?

— Вы снова работаете, но...

— Меня направил в издательство отдел пропаганды ЦК.

— Верно, мы не препятствовали, хотя не исключено и другое...

Он прибавил шагу, помахав на прощанье рукой, точно расставался с добрым знакомым, которому незачем спешить. Я неторопливо шел следом и с неожиданным спокойствием оценивал возникшую ситуацию. Угрозы, конечно же, не беспочвенны. Нет, так просто не отвяжутся. Надо выяснить, по крайней мере, чего хотят на этот раз. Э, Бог не выдаст, свинья не съест!.. Ну, помчусь в ЦК искать защиты?.. Да ведь наверняка у них все согласовано.

Твоя мама, будто исповедуясь, рассказывала перед самой смертью, как в тридцатые годы ее арканили в стукачки. Она до того была испугана, что слова не могла молвить. Тем, должно быть, и спаслась.

Моего двоюродного брата столь долго мытарили, подбивая стать секретным сотрудником, то бишь сексотом, что ему пришлось уехать в Израиль, — на проводах и признался.

Не слишком ли много внимания уделили органы нашей с тобой родне? Неужели подобное происходило с каждой семьей, только люди таились, молчали, доверялись, да и то не всегда, лишь самым близким? Вот если б кричали:

— Меня вербуют! Спасите! Не хочу!

— Чего не хочешь, дурак? Помочь безопасности советского государства?..

— Но почему же тайком и под расписку о неразглашении? И почему потом стыдно смотреть в глаза ребенку?

— Как же ты не сообразил, недотепа, что важное дело государственной безопасности не терпит гласности?

— От кого — безопасности? От свершивших революцию и рожденных после нее? От тех, кто пролил кровь за Отечество, кто готов за него жизнь отдать по первому зову?

— А враги?

— Сами их и фабрикуете, чтоб оправдать собственное существование.

— Мы помним слова Дзержинского: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».

— Сеять страх с холодной головой, горячим сердцем не трепетать перед преступлением, а обгаренные руки считать чистыми — это ли не иезуитство?

— Мы не щадим себя для вашего счастья.

— Не нужно мне счастья на крови четверти населения страны.

— Интеллигентские всхлипы! Ты еще о детской слезинке скажи, как ваш Достоевский. Но борьба есть борьба.

— Хватит бороться. Жить надо. И чтоб не бояться ближнего, не подозревать в каждом наушника. И телефона не опасаться — подслушивают. И письма писать без оглядки — не перлюстрируют.

— А капиталистическое окружение?..

— Кто теперь кого окружает — они нас или мы их?

— Свойства человеческой природы таковы?..

— Да вы сами нерадивы и корыстны, ни во что не верите и устали от своей же лютости. И совсем не такие сильные, как хотите казаться. Вот вы меня сейчас поддавливаете, сразу после того, когда я был повержен и только-только поднялся, настрадавшись, оголодав, — не признак ли это слабости?..

И все-таки надо кричать! Думаешь, не услышат, не поможет? Однажды помогло...

Мамин брат Фима работал в тридцать четвертом году председателем артели дубоссарских столяров. Его вызвал следователь НКВД, потребовал показаний против одного, с кем дядя дружил с детства.

— Ручаюсь за него, как за себя, — твердил Фима.

— Он враг народа, — наставлял следователь.

— Хочешь погубить честного человека?.. Режь меня, ничего не добьешься. Ратуйте, люди! — во всю молодую глотку заорал дядя.

На крик явился начальник райотдела.

— Чего кричишь? — спросил он Фиму, с которым вместе проводил коллективизацию в двадцать девятом и тогда же вместе вступил в партию.

— Он домогается, чтобы я назвал тебя врагом народа, — нашелся Фима.

— Иди домой, — сказал начальник. — Понадобишься, приглашу.

Сошла бы дяде его находчивость в тридцать седьмом, когда наступил большой террор? Не спасла бы местечковая патриархальность нравов.

Я молча, точно на невидимой веревке, влачился за своим супостатом. Вот и особняк. Толкнул дверь, в которую он прошмыгнул у меня на виду, — подалась без скрипа. Узкая прихожая, с трех сторон — комнаты. Успел слева разглядеть сквозь застекленные створки сцену семейного чаепития. Ну и ну! Хозяева согласились — их дом используется как филерская явка! Тут справа высунулась голова Михаила Ивановича.

— Сюда, Павел, сюда...

Это, видимо, была гостиная. Мебель преобладала немецкая, трофейная. Напольные узкие часы беззвучно отсчитывали время.

— Мне хотелось бы задать несколько вопросов касательно ваших знакомых. Просто необходимо проверить правильность полученной информации. X был студентом университета в те же годы, что и вы. Что он за человек?

— Прекрасный человек и талант. Пока я в баскетбол гонял, он Марксов «Капитал» конспектировал.

— А Y?.. Зачем ему английский язык?

— Впервые слышу, что Y владеет английским. Но нужно ли объяснять, зачем интеллигентному человеку иностранные языки?..

Он еще о ком-то и о чем-то спрашивал, мои ответы были в таком же роде.

— Видите, как у нас с вами хорошо получается, — хитрил Михаил Иванович. — И впредь давайте так: встретимся в городе — не знаем друг друга. А телефон запомните — последовал набор цифр, — на всякий пожарный случай. Да, чуть не забыл, подпишите это обязательство. — Передо мной с ловкостью фокусника была выложена подготовленная бумажка.

— В чем обязательство?

— Никому никогда не говорить о нашей беседе.

Я молчал двадцать восемь лет. А каков срок давности для уголовной ответственности и распространяется ли он на отношения с КГБ?..

— За кого вы меня принимаете?

— Порядок есть порядок.

— И оставите в покое?

— Постараемся, — усмехнулся он.

На другой день, однако, снова звонок:

— Срочно необходимо увидеться. Жду после работы в том же доме.

— Занят я.

— Дело не терпит отлагательства. Все серьезнее, чем вы думаете.

— Что серьезнее?..

— Не по телефону же излагать — придете, скажу.

Присосались... Что у них есть против тебя? Или слабину почувствовали?.. Но ведь ты по сути защитил двух славных людей, а кто-то другой наговорил бы с три короба, лишь бы себя обелить. Нет, заиграешься — попутают. Чистым все равно не выйдешь! Даже пос-

ле смерти не отмоешься. Мстить будут? Ославят? Была, не была — рвать, рвать резко, рвать сейчас — потом будет поздно!..

— Видите, Павел, всегда можно выкроить часок, — елеино обрадовался моему приходу Михаил Иванович. — Так вот, начальство приказало, чтобы все было изложено в письменной форме.

— Что — все?

— Ну, что говорили об Иксе, об Игреке итэдэ.

— Устал от писания на работе.

— Докүмент нужен.

— Подтверждение, что дело сделано?

— Хотя бы и так.

— Тогда дома на досуге набросаю.

— Нет, сейчас, при мне. Иначе не отпущу.

Он достал бумагу. Ручкой я пользовался своей.

Прочитав написанное, Михаил Иванович удовлетворенно сказал:

— Теперь есть докүмент.

— Свободен, могу идти?..

— Да, конечно. Вы ведь сотрудничаете с нами добровольно.

— Не сотрудничаю. И не приучайте к мысли об этом.

Казалось, меня оставили в покое. Ни зимой, ни весной звонков и вызовов не было. Я старался забыть привязчивого Михаила Ивановича. И даже убедил себя, что он отстал навсегда.

В мае в Кишинев приехал на гастроли симфонический оркестр студентов Истмэнской консерватории при Бостонском университете. Местные музыканты устроили встречу с юными американскими коллегами. С приятелем-контрабасистом попал на нее и я.

Впервые вблизи увидел людей из другого мира, беспечных, неприжженных. Что нас разделяло — так это языковый барьер. И тут вынырнуло откуда-то слово «джуиш».

— Джуиш? — подошел я к рыжеватому милому пареньку и изобразил руками круг. Интонация была дозирована на всякий случай — для безадресного восприятия. — Хабен зи юдн хиер? (есть здесь, то есть среди вас, еврей?). Немецкая фраза, если она вдруг дойдет, проясняла вопрос, неумело заданный по-английски.

— О я, я! — воскликнул паренек и, ухватив меня за локоть, подвел к двум симпатичным девушкам. — Бетти-Кэрол, — представил он чернявенькую и что-то залопотал ей по-своему.

Мы познакомились. Бетти-Кэрол немного знала идиш, подруга Стефа, из поляков, — русский. Теперь можно было говорить о чем угодно....

Я заметил, что с советской стороны на встрече присутствовали лица, весьма далекие от музыки, но никак не ожидал для себя дурных последствий от этого. На другой день, однако, опять прорезался Михаил Иванович. Голос в трубке был против обыкновения сух и непреклонен:

— Жду сегодня после шести. Место вам известно.

— Не ждите — не приду. В прошлый раз все было сказано достаточно ясно.

— Вы обязаны отчитаться перед нами о своих контактах с иностранцами. Не явитесь по звонку — вызову повесткой.

Он лоснился от удовольствия, когда я переступил порог особняка, улыбался, будто и не прибегал накануне к угрозам.

— Ну, молодец! Ну, умница! Пришел — правильно. Уж простите, что был не совсем корректен, да не моя воля... И вообще — хвалю. Наши-то не умеют вот так непринужденно общаться с заграничным контингентом.

— Может, в штат пригласите, — мрачно пошутил я, еще не понимая, куда он клонит.

— В вашем нынешнем качестве от вас может быть больше пользы. — серьезно ответил Михаил Иванович. — О чем говорили с американцами?..

— Какое — говорили?.. Я же по-английски ни в зуб ногой!

— Зато знаете идиш, немецкий. Неплохо получалось...

— Зачем тогда спрашиваете?.. И сфотографировались мы вместе у всех на виду, и адресами обменялись. Пришлют карточки — вы, небось, первый их и увидите?..

— Похоже, с иностранцами вы не скованы... Вот скоро через Кишинев проследует израильская делегация на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. Хотите проехать с ними до Москвы?..

— Пока я еще редактор Госиздата Молдавии.

— Все согласуем — командировка будет от ЦК партии.

— А что мне придется делать?

— Ничего особенного. Просто пообщаетесь, узнаете, какие у них настроения, как относятся к нашей стране.

— И потом?..

— Поделитесь с нами своими впечатлениями. Надеюсь, это не создаст для вас моральной проблемы?..

Я уже однажды видел израильтян. То было на московском стадионе «Динамо». Заканчивалось первенство мира по волейболу. Команда из Тель-Авива заняла предпоследнее место, опередив лишь финнов. Но держалась с мужественным достоинством. Какие они вблизи? Меня подмывало согласиться на предложение Михаила Ивановича. Заманчиво было безнаказанно в течение суток находиться рядом с неизвестными соплеменниками, говорить с ними. И прервать надоевшую повседневность, в Москву смотреть хотелось. Осторожность нашептывала: затягивают в свои сети, увязнешь. Да ведь «Есть упоение в бою /И бездны мрачной на краю!» И не сам ли я себе хозяин. Соскочу. Дурацкая моя безоглядность! Возможно, в другое время сразу пресек бы даже мысль о подобной аванюре. Однако, никого вокруг не сажали, спокойно было. Не сказал ни «да», ни «нет»,

а все-таки он, наверно, усек, что колеблюсь. Позвонил снова в конце июля:

— Немедленно отправляйтесь домой, соберите чемодан — и на вокзал. У вас полтора часа времени. Буду у касс дальнего следования. О командировке ваше руководство уведомлено.

Я едва поспел к отходу поезда. Он — из ладони в ладонь — сунул мне билет, суточные.

— Командировочное удостоверение?

— У нас с ЦК устная договоренность. Для издательства — вы в распоряжении ЦК. В Москве наберите этот телефон. — Легкое прикосновение щипача, и в мой карман соскальзывает бумажка с номером. — Доложите о прибытии, спросите, какие будут указания.

На первой же станции израильяне высыпали на перрон, затеяли песни с танцами. По-русски это должно бы назвать хороводом. И так заразительна была «Хавэнагила», древний гимн радости, что сбежавшиеся жители невольно стали хлопать в ладоши в такт мелодии. Облик пляшущих опровергал антиссионистские карикатуры. Красивые, гармоничные, самозабвенно раскованные люди наполнили экзотической музыкой привокзальную площадь.

— Кто таки? — спрашивали зрители-украинцы.

— На фестиваль едут?

— Чему ж у них зирки, яки на наших жидах булы при нимцах, тильки блакитни?.

— Ты що хотил, шоб жовти?.. Влада ж друга...

На одной из остановок израильские ребята пригласили меня в свой вагон. Мы разговоривали на смешанном еврейско-немецком языке. Дети эмигрантов усвоили идиш от родителей. Зато, как мне объяснили, родившиеся в Израиле — сабры знают лишь иврит и английский. Какой-то парень пытался изъясняться даже на ломаном русском.

Рыжая, с нежной молочной кожей и румянцем во всю щеку девушка взяла в руки гитару, принялась напевать. Я сидел рядом, слушал. Испанские ритмы чередовались с шотландским балладным строем, негритянские спиричуэлс сменяло что-то щемяще-близкое, хотя и не понятное вовсе. И тут меня осенило: да ведь она завела свое, то есть наше. Я спросил, как ее зовут и где она узнала эти песни.

— Нехама Гендель, — отвечала девушка. Нехама рассказала, что она германо-голландского происхождения. А песни? У нее программа такая — песни народов мира.

Вдруг страшно захотелось, чтоб она спела для меня одного, и я сказал ей об этом.

— Не в поезде же! — улыбнулась Нехама.

На очередной станции опять высыпали на перрон и повели хоровод. Подвалила проводница.

— Вас спрашивают. — И потянула в служебное купе.

Там нетерпеливо пыхтел, задыхаясь от рвения, массивный утюг с малиновой окантовкой — капитан в форме железнодорожной милиции.

— Телефонограмма. Товарищи запрашивают, как вы. Что передать?

Э-э, да у них налажено все, грубо, но налажено...

— Передайте, что порядок.

В Казатине Нехама вынесла пластинку со своими песнями.

— Вот, нашла для тебя. Будешь слушать... один.

Нас потащили в круг — танцевать. И чтобы не раздавить диск, я высвободился на минутку, передал его в оконную щель попутчикам. Когда вернулся в купе, сосед объявил:

— Понимаете, ворвался какой-то тип, ткнул в нос удостоверение — забрал вашу пластинку.

Мы сфотографировались с Нехамой на прощанье под дебаркадером Киевского вокзала. (В сентябре она прислала снимок и поздравление с еврейским Новым годом.) Теперь оставалось позвонить по московскому номеру.

— Поезжайте назад! — приказала трубка.

В Кишиневе потребовали подробного отчета. Я доложил, что делегация государства Израиль на фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки была нарочно подобрана из красивых девушек и юношей. Последнее обстоятельство, как и наличие в ее составе арабов, использовалось в явно пропагандистских целях. Израильтяне, проезжая по территории Советского Союза, вели себя с чрезмерной активностью: пели, танцевали. Должно быть, стремились вызвать симпатии к своей стране. Без сомнения среди них были и профессиональные разведчики. Один, говоривший на ломаном русском, видимо, знал язык лучше, чем хотел представить. Его выдавала отличная военная выправка.

Мой бред завершали жалобы на спешку при откомандировании, неуклюжесть и грубость работников органов, чьи действия по пути следования могли меня попросту демаскировать. Не устоял — потребовал обратно и отобранную пластинку.

Нес околесицу, чтоб впредь оставили охоту связываться со мной. Через несколько месяцев позвонил незнакомец:

— Говорит подполковник Гарин. Павел Семенович, необходимо побеседовать. Прошу вас быть после работы по известному адресу.

Наверно, начальник отдела, подумал я. Вот он, случай навсегда отбояриться!..

Гарин начал с сообщения, что Михаил Иванович отправлен на пенсию. Органы проводят обновление кадров, решительно отказываются от сторонников старых методов. Вот и он, Гарин, свежий человек, раньше тянул ляжку начальника цеха на одном из заводов Иркутска.

Правда, было в этом подполковнике что-то мягкое, располагающее.

— Я внимательно изучил ваши с Михаилом Ивановичем контакты. Приходится признать, не всегда он бывал деликатен и умен. Мы с вами будем строить отношения по-другому...

— Никаких отношений! Они мне в тягость!

— Поверьте, и я нелегко расставался с заводом. Но, как говорится, партия прикажет...

— Не могу и не хочу быть стукачом.

— Напрасно вы... Мы ценим вашу порядочность.

— Порядочность несовместима с фискальством, доносительством, вынуждает вести двойную жизнь, таиться перед друзьями, близкими, опасаться подозрений в соглядатайстве и самому подозревать других. И врать, всем врать! Также и вам! Неужели надеетесь, что стану сексотом?.. Отпустите лучше с миром...

— Надо посоветоваться с руководством. Я позвоню.

В следующую встречу он доказывал:

— Литераторы — инженеры человеческих душ, как говорил Горький. Наша работа сродни вашей, она тоже невозможна без понимания психологии людей. Неужели вам неинтересно?.. Потом... В предлагаемом качестве может оказаться нечестный субъект, преследующий шкурные интересы. Такой способен натворить много бед... Не думали об этом?..

— Думал, но не могу взять на себя подобную ношу.

— Нелегко будет убедить начальство, что вы лояльны...

— Это уж из арсенала Михаила Ивановича. К тому же, — выкладывая последний аргумент, — я ведь женился...

— Желая, как говорится, счастья!

— Мы собираемся обосноваться в Москве. Не хотел бы, чтоб за мной тянулся хвост... Очень вас прошу, не губите меня.

Он помрачнел.

— Ладно, постараюсь что-нибудь сделать.

Точно гора с плеч. Господи, как я был счастлив, возвращаясь домой! Ты заметила мое возбуждение, спросила:

— Что с тобой, милый?..

Не имел права сказать тебе правду. Но больше оттуда ко мне никогда не обращались.

По приезде в Москву отдал жене наличность — двести рублей. Столько денег осталось после обмена на кишиневскую маминую тираспольской квартиры. Покидая навсегда Молдавию, соединил маму с младшей сестрой.

— И это все, что скопили к тридцати годам, молодой человек? — спросил тесть. В его вопросе услышал не укор — грустную усмешку. Он сам — это стало известно через полтора месяца — после сорока лет непрерывного труда оставил сумму, которой едва хватило на скромные похороны.

Надо устраиваться на работу, да ведь без прописки не возьмут! Через несколько дней пошел в милицию, узнал, что требуется для законного перевоплощения в москвича. В паспортном отделе выдали бумажку — форму номер... (забыл теперь номер-то!), сказали, что ее должен скрепить своей рукой ответственный квартиросъемщик, то есть тесть.

Вернулся повеселевший, протянул тестю бланк. Старик посмотрел на меня с подозрением.

- Что-то вы торопитесь прописаться...

Ты вспылила, оскорбившись за мужа, наговорила отцу горьких несправедливых слов.

Я тоже, к сожалению, слишком поздно понял, что по существу он был прав. Как же еще относиться к скоропалительному зятю после страшных московских легенд о наглых вероломных провинциалах, штурмующих столицу?..

Тридцатишестиметровая сухая и теплая комната - балкон на улицу Горького выходит, - комната, полученная после гражданской войны, была его единственным прибежищем в старости. Рисковать, когда вокруг отсуживали, делили, было бы безрассудно... Они с женой гордились своими хоромами. Их жилищное положение казалось несравнимо лучше, чем у большинства жителей белокаменной. И как бы в знак особенной избранности при Сталине перед праздниками к ним являлся сотрудник органов, проверял, нет ли кого постороннего. Первого мая и седьмого ноября прямо под окнами грохотал военный парад. Говорили: «Танки идут!»

Куда деваться?.. Жить вместе двум семьям — молодой и клонящейся к закату, разделенным только ширмой, тяжело. Мы искали крова, смотрели грязное затхлое помещение, предложенное твоей одноклассницей, просились к генеральской вдове в пятикомнатную роскошь — надеялись что-то снять.

Еще ты повела меня по знакомым редакциям — не найдется ли места. Главный редактор молодежного издательства позвонил куда-то, но поручиться не захотел за неизвестного ему человека. Зато Борис Балашов, мир праху его, отыскал скромную ставку в киножурнале — отправлялась в декрет беременная сотрудница. Пока же, для проверки, мне выписали командировку в Чечено-Ингушетию.

Командировке я обрадовался. И то, что в Грозный, не пугало...

В Караганде подружился со студентом мединститута из ссыльных ингушей. Как-то ужинали вместе в ресторане, и речь коснулась национальных обычаев.

— Послушай, Руслан, — спросил я, — почему ваши старушки вскакивают, когда в трамвай входит молодой даже горец?

— Что, не нравится?! — вскинулся Руслан.

— Не нравится.

— Может, вообще тебе не нравимся?..

— У каждого народа есть и хорошее и плохое.
— Твое счастье, что так ответил... — вздохнул он.
— Счастье?..
— Сказал бы не нравимся, я б тебя зарезал.
— Ты же без пяти минут врач!..
— Все равно — зарезал... — И показал под столом лезвие кустарного ножа.

...Пока колесил по Северному Кавказу, заболел тесть — слег и уже не поднимался. Застал его безнадежным. Старик стонал, бредил за хлипкой перегородкой.

Мы шепотом обсуждали, как помочь умирающему: кто-то нас уверил, что сумерки сознания не притупляют слуха.

У него пропала воля к жизни, когда дочь оказалась пристроена. А мне учение Николая Федоровича Федорова надолго навязало неотступную мысль — мое появление в вашей семье невольно, по закону «нескончаемой скрытой антропофагии», ускорило уход твоего отца.

Душа рвалась освободиться. И отлетела. Кажется, я имел несчастье видеть, как это произошло...

Отчитался после командировки — три материала пошли в печать, и меня взяли младшим редактором секретариата.

Ответственный секретарь, говорили, прежде лихо владел пером. После инсульта — чудом выкарабкался — ему начисто отшибло память. Невольно мне приходилось многое брать на себя: вести номер, выбивать у отделов запланированные статьи, править. Вот это-то и бесило иных чрезмерно самолюбивых сотрудников: младший, периферия, а осмеливается находить у нас ошибки!.. Заведующая критикой так просто негодовала. В молодости красавица, она выбилась из секретарш. Знакомства среди литераторов сохранились у нее еще с той любово-страстной поры. Теперь, располагая просроченными векселями, требовала по ним платежей. Основным орудием ее деятельности был телефон — неутомимо названивала знаменитым авторам. Сраженные неувыдшим напором и пробужденными воспоминаниями, они соглашались по старой дружбе черкнуть что-нибудь в не-престижный журнальчик. Писали левой ногой. А бывшая дива, полагаясь на авторитеты, оставляла все в том виде, как выколачивала. Я только разводил руками, обнаружив уважаемое имя под сырой второсортной поделкой.

Главный редактор все видел, все понимал. Но и он, кажется, не был свободен от меморий. Это проступало в пикировке начальника и подчиненной на производственных совещаниях.

— Конечно, нам нужны маститые, — начинал главный, — однако, опусто неважнецкий... («Вот видишь, милая, опять тебя подвел забывчивый любовник!» — про себя озвучивал я подтекст.)

— И все же лучше напечатать нешедевр маститого, чем какого-нибудь Пупкина — возражала подчиненная. («Он, безусловно, свинья,

— слышалось мне, — только и ты хорош! Выставляешь на посмешище перед коллективом»).

Продолжаться подобный диалог мог непредсказуемо долго.

Штатные сотрудники журнала редко дерзали писать. Одни — из неуверенности в себе, другие — потому, что считали это слишком хлопотным занятием. Как ни странно, держалось мнение: сочинительский-де зуд от незагруженности и вредит работе.

Я не имел возможности присоединиться к безгласному большинству из-за мизерной зарплаты: семья, да и маме надо посылать ежемесячно. С новым, сменившим инсультника ответсекретарем — Юрием Юрьевичем Кузесом, открылась возможность ездить на студии, бывать на съемках, больше делать своего.

Как-то вызвал главный, вручил золотоперую авторучку в изящном футляре.

— Паша, позвоните в гостиницу «Пекин» Фридриху Марковичу Эрмлеру, скажите, вам доверено отвезти ему премию за сотрудничество с журналом. Постарайтесь понравиться, побеседуйте о фильме, который он сейчас ставит, подготовьте материал.

Эрмлер лежал в постели.

— Извини, дорогой, что-то неважно чувствую сегодня. — Ручка произвела впечатление. — Красивая штукавина!..

— Фридрих Маркович, наш журнал хотел бы...

— И не проси, дорогуша! Пока картина не вышла, нельзя о ней в прессе: поднимут вой за границей — мол, облапошили старика...

— ?...

— Не меня, конечно, — Шульгина. Тогда он откажется сниматься.

— Но я просто посмотрю, как вы творите, подышу, так сказать, воздухом фильма. Остальное потом, после премьеры.

— Это можно. Приходи завтра утром в Кремлевский Дворец съездов.

Стеклянная коробка, в нарушение канонов втиснутая в старинный архитектурный ансамбль, все-таки стоит рядом с Кутафьей башней, и мы привыкли...

Киношники расположились в углу прозрачного фойе, но не начинают, ждут. Выясняется, что накануне во Дворце устраивали банкет в честь семидесятилетия Хрущева. Одно из действующих лиц сегодняшнего эпизода — самый старый большевик, кажется, старше самой партии, профессор Федор Николаевич Петров, гулял на торжестве, оттого нынче заспался. Его вот-вот должны привезти. Другой участник — сухой аккуратный старик, чем-то похожий на Бернарда Шоу, — здесь, терпеливо коротает время в слишком широком для него кресле.

— Василий Витальевич Шульгин, — шепнула мне помощница режиссера.

В. В. Шульгин был председателем военного комитета Государственной думы, принимал отречение Николая Второго, потом руководил белым движением. Схваченный советской разведкой в освобожден-

ной Югославии в 1945-м, он двенадцать лет просидел в одиночке. Вероятно, еще б не скоро выпустили, если бы не догадался написать Никите Сергеевичу. Монархист просил первого секретаря ЦК КПСС принять в соображение, что и он всю свою жизнь посвятил России, ее благу, как оно понималось, конечно, людьми его круга. Хрущев не только освободил Шульгина, пенсию ему назначил, квартирку под Владимиром дал. А для того, чтоб идейный враг въяве убедился в торжестве коммунизма, пригласил на XXII съезд партии.

Петрова само собой избрали делегатом съезда. Оба, значит, присутствовали. И расторопный сценарист В. Вайншток (Владимиров) придумал свести их в картине «Перед судом истории», как будто они и вправду сходились в кулуарах и между двумя ветеранами состоялся разговор, который намечали сегодня снять.

Наконец, привезли восьмидесятивосьмилетнего круглого, точно квашня, Петрова. Рядом с подтянутым живым Шульгиным, который, правда, был моложе на четыре года, он казался разбухшим в реке утопленником. Я видел такого на Днестре в детстве, его вынесла на берег полая вода.

Теперь, когда наличествовали «артисты», что-то не заладилось у киношников — не шла камера.

Петров сопел в кресле без подлокотников, то и дело валился на бок, в руки ассистенток. Те едва его удерживали. Шульгин все так же безропотно наблюдал со стороны чужую суматоху.

Наконец, хлопущка — начиналась съемка. Эрмлер зачитывал фразы, заранее, как я узнал, согласованные с собеседниками, которые должны были повторить их перед объективом.

— Здравствуйте, Василий Витальевич, — произнес режиссер за Петрова. — Мы ведь с вами определенным образом давние знакомые, через вашего отчима. Я слушал его лекции в Киевском императорском университете.

— Здравствуйте, Виталий Васильевич, — сонно повторил Петров. — Мы ведь с вами...

— Стоп! — скомандовал Эрмлер. — Федор Николаевич, дорогой, не Виталий Васильевич, а Василий Витальевич. Начали!..

— Здравствуйте, Викентий Васильевич! — встрепенулся Петров. Мы ведь...

— Стоп! — крикнул постановщик, наливаясь краской от сдерживаемого гнева. — Василий Витальевич!

Дубль следовал за дублем, но партийному старцу никак не удавалось без ошибки произнести утвержденный текст.

После реплики Петрова об университете, Шульгин отвечал, примерно так:

— Верно, отчим был профессором.

— А еще редактором монархического «Киевлянина», — ехидно замечал Петров.

— Мы отстаивали благо России, как его понимали... (Сценарист, видимо, использовал выражение из письма Хрущеву. — П. С.).

— Ну, а мы — коммунисты...

— Есть коммунисты и коммунисты, — возражал Шульгин. — Сталин тоже называл себя коммунистом...

— Сталин никогда не был настоящим коммунистом! Он лишь носил в кармане партийный билет!

— Стоп! Стоп! — опять закричал Эрмлер. — Федор Николаевич, умоляю, не несите отсебятину...

— К черту, не могу больше! — И поостыв: — Почему это у него выходит, как по писаному, а у меня нет?.. — виновато удивился Петров.

— Так вы же рэволюционэр, — с тонкой улыбкой ответил Шульгин.

Позже передавали принадлежащее Шульгину: «Я — за революцию, но без «р. А когда появилась картина, куда снимавшийся при мне эпизод был включен в несколько измененном виде, ее пустили, да и то ненадолго, вторым экраном. Крупная личность Шульгина перевешивала, заслоняла и Петрова, и введенного комментировать эпохальные события пустоглазого актера, который изображал Историка — с большой буквы.

Уже тлело душное, в тополином назойливом пуху лето. Я приплелся домой, измочаленный редакционной несуразицей. Помнишь, ты извинилась перед гостем, вышла за мной в ванную. Оказалось, он появился за несколько минут до меня, а позвонил еще днем: телефон дали в Союзе писателей. Был у Эренбурга, Паустовского, Бондарева, Ахмадулиной. Нам, особенно тебе на сносях, было не до визитеров, тем более иностранных. Да как откажешь?..

Я умылся, возвратился в комнату. Познакомились. Он назвался Михайлой (почему-то так!) Михайловым.

Потом пили чай, беседовали о том, о сем. Узнав, где я работаю, Михайлов спросил:

— Что там приключилось с фильмом «Застава Ильича»?

Я рассказал, что Хрущев после просмотра осерчал — клеветает картина на поколение отцов. Особенно возмутил его такой эпизод. В трудную минуту сын обращается к призраку отца-солдата:

— Что делать, отец?

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

— А мне двадцать один...

Разъяренный Никита Сергеевич орал, что даже сука бросается спасать своих щенят, когда их топят.

Михайлов поинтересовался, каково мое отношение к этой сцене. Я сказал, что она меня взволновала: ситуация повторяет мою собственную, мне ведь тоже сейчас больше лет, чем было папе в день его гибели.

Гость заговорил о каком-то истинном марксизме, о котором мы и не слышали, сыпал фамилиями, все больше французскими. Курить Михайлов предпочел на балконе, снизойдя до интересного положения хозяйки.

— Вы удивительно хорошо изъясняетесь по-русски, — заметил я, выйдя с ним вместе.

— Родители — эмигранты из России. Отец — кабардинский князь, мать — еврейка.

— То-то я сразу уловил в вас что-то еврейское, — неуклюже сказал я.

— Знаю, что похож, а неудобство этого впервые почувствовал только в Москве... — нахмурился Михайлов.

— Ради Бога, не примите меня за антисемита, — поспешил я загладить свой промах. — Одно, конечно, не исключает другого, но я и сам еврей...

— Вы — еврей?! Ни за что б не догадался!

— Не собираетесь ли писать о поездке? — переменял я тему.

— Путевой очерк. Главная цель — собрать материалы для докторской.

— Она что, связана с Россией?

— Впрямую — «Отсутствие мотивировки как мотивировка в произведениях Достоевского».

— У нас и у вас многое сейчас понимается столь по-разному...

— Это я просек, не волнуйтесь, — успокоил Михайлов мою мнительность.

Приблизилась осень шестьдесят четвертого года. По расчетам врачей и семейным выкладкам, до рождения нашего с тобой первенца оставалось довольно времени, чтоб мне успеть смотаться в командировку. Из Новой Каховки с фотокорреспондентом добрался рефрижератором до Одессы, отсюда на такси — в Кишинев.

— Слыхали новость? Никиту сбросили! — весело сообщил разбитной шофер.

— Что?!

— Сам читал в «Защитнике Родины». Вот этими глазами.

«Защитник Родины» — газета Одесского военного округа.

В гостинице «Молдова» получил телеграмму: «Поздравляю рождением дочки внучки Мария Федоровна». Внучки — это для мамы. Наша Саша появилась на свет за две недели до срока, в тот самый день 16 октября, когда стало известно о смещении Хрущева и началась эра Брежнева. Но отцовские чувства как-то приглушили гражданские. Не скрою, был разочарован, что не сын: захиреет фамилия, да и жить девчонке труднее...

Купил охапку белых мохнатых хризантем — и в Москву. Взял впервые на руки попискивающий теплый сверток, заглянул в родное ли-

чико, встретил любопытно осмысленные глаза — и пропала горечь.

Новое счастье почти сразу же слегка омрачила потеря работы — декретница возвратилась в редакцию. Конфузливо улыбаясь, главный предложил мне пойти на договор, то есть состоять при журнале внештатно. Это гарантировало официальный статус и исключало обвинения в тунеядстве.

— Печатать будем, — пообещал главный.

Вроде обошлись по-человечески — приютили, насколько можно было, не на улицу выгнали — трудовое соглашение заключили. Но по существу со мной поступили подло. Ведь накануне приняли на работу одного прожженного борзописца.

Кузес клялся:

— Пашенька, поверьте, я отстаивал вас! На дыбы поднялась завкритикой. Не простила, что обнажили ее безграмотность. К тому же новый сотрудник — член партии. И еще чертов пятый пункт...

Себя Кузес смеясь называл «инвалидом пятой группы», хотя по отцу был латышом. Прибалт-родитель умер еще до рождения Юрия. Он вырос в еврейском доме деда и бабки со стороны матери. Совестьливая душа могла ли от них отречься?.. Так и жил Юрий Юрьевич добровольным изгоем.

На войне попал в одну газету с будущим писателем Михаилом Алексеевым. Тот вывел его в повести «Дивизионка» — молодого, красивого, даровитого. Закончив после Победы Московский университет, фронтовой журналист-орденоносец наверняка занял бы высокое положение, если бы не редкостная порядочность, та самая, что в юности побудила записаться евреем.

Позднее и Кузес расстался с киножурналичиком, осел в небольшой издательской фирме, выпускающей буклеты об артистах. Коммунисты избрали его своим секретарем.

— Ей Богу, Паша, ощущаю себя счастливым человеком, лишь когда провожу время с Пушкиным — рассказывал Юрий Юрьевич. — Это случается редко, к сожалению. Обычно идешь из конторы домой и подводишь итог. И если обошлось без подлости по служебной да по партийной линии — значит, день был удачный...

Мечтал определиться ночным сторожем в Пушкинский музей на Кропоткинской. Писал медленно, мало, выделял каждую строчку своих небольших, изящных, необыкновенно артистичных эссе. И все они затерялись в периодике, не собраны, забыты.

Хочу осмыслить судьбу Юрия Юрьевича Кузеса. Она в известной мере типична. Храбрый на войне, Кузес не был бойцом в мирной жизни. Свойственный ему идеализм, в романтическом значении термина, природная мягкость подсказали доморощенную, казавшуюся спасительной теорию самоустранения: сейчас не время, нельзя словом бороться за правду, уход от зла — уже добро. Страдал, подавляя

в себе потребность выражать вслух, публично то, о чем болело сердце. Не выдержал. Скончался неожиданно, скоропостижно, в пятьдесят с небольшим лет.

Запомнился наш разговор о кинорежиссере Михаиле Калике, когда тот подал на выезд в Израиль, резко заявив в открытом письме, направленном в газету «Известия», что порывает с советским кинематографом, потому что хочет ставить национальные еврейские фильмы, как его товарищи-грузины ставят грузинские, киргизы — киргизские.

Юрий Юрьевич не осуждал Калику, но твердил, что нужно стараться, изо всех сил стараться сделать так, чтобы стало лучше в родной стране. Путь медленный, долгий — другого не мыслил.

У Василия же Шукшина решение коллеги вызвало иной отклик:

— Понимаю Мишу. Будь у меня отдушина, и я б в нее ушел...

Это было сказано в больнице поздней осенью семьдесят второго года с глазу на глаз — Василий Макарович лежал в палате один. Он попал сюда с обострением язвы, а спровоцировали обострение неприятности из-за картины «Печки-лавочки». После каждого просмотра в очередной высокой инстанции заставляли что-то выбросить. Дорезали до того, что стандартного метража не набиралось. Последним смотрел Брежнев.

— Почему песня о России, а на экране — старики? — удивился генсек. Больного Шукшина вызвали в Госкино.

— Убери стариков. Считаю, личная моя просьба. Убери... — канючил председатель комитета Романов, будто предчувствовал, что дни его сочтены.

Горели торфяники вокруг Москвы. Улицы затягивало дымкой. Она просачивалась в квартиры, вызывала удушье.

Я страдал в гипсе от подмышек до паха. Мелкие осколки от моего панциря впивались в свербящую потную кожу. Похудевшее тело опало, и восьмилетняя Саша могла просунуть в образовавшийся зазор свою крошечную ручку, чтобы утишить нестерпимый зуд, не дававший мне покоя ни днем, ни ночью.

Когда доспехи, наконец, сняли, я взвесился. Оказалось, потерял шестнадцать килограммов.

Путевки в Дубулты были заказаны еще с весны. А пластмассовый корсет, который должен был сменить гипс, запаздывал. Пришлось вам ехать без меня. Крепился, пока шли сборы, шутил, когда провожал до дверей. Потом приволокся в комнату, глянул на себя в зеркало — бледного, беспомощного, и увидел, что плачу. С детства не лил слез, но тут раскис: не нужен ты никому, лишь маме... Только мама не знала ничего — как всегда, скрыл от нее беду.

В Ленинграде как раз в то время близился к завершению один из первых моих фильмов. Говорю «моих», у этого же был номинальный соавтор — тогдашний директор Высших курсов сценаристов и

режиссеров Михаил Борисович Маклярский. Он, видимо, считал, что я ему должен, коли принял учиться, потому и навязался в соавторы, не собираясь работать над сценарием.

Почти не надеялся поступить, когда подавал заявление: берут только до тридцати пяти — мне два дня осталось.

Ты была против. И теща подала голос:

— У тебя семья, деньги надо зарабатывать.

Я как отрезал:

— Нет! Лишь бы взяли. Стипендия сто рублей. И не на меньше накропаю ежемесячно.

До чертиков надоела жизнь, какую вел последние четыре года. После киножурнала куда только не пытался устроиться! Все напрасно. Перед самыми курсами удалось на время задержаться в одном женском издании. Пересидел — и ладно, отдохнул малость...

Помнишь, добрый друг норовил меня сунуть в строительный трест инженером по составлению бюрократических бумаг? К счастью, не вышло. Однажды, совсем отчаявшись, я отправился по объявлению в какой-то фотокомбинат на окраине Москвы — требовался редактор для оформления досок почета. Со мной переговорили, выяснили, чем занимался раньше.

— Нет, вы нам не подойдете...

В промежутке между службами для кино и для слабого пола искал путей к литорганам: как-никак по образованию ведь литературовед, да и критических статей, обзоров, рецензий написал немало.

Лев Якименко, зная мои выступления о творчестве Шолохова, предложил поступить в «Литературную газету», его рекомендации оказались достаточно для приема заместителем главного редактора. Тот вспомнил, что печатался у них, был благорасположен. Вызвал заведующего отделом искусств, представил нового сотрудника. Условились: утром приступаю.

Следующий день мог бы быть одним из счастливейших. Склонился над столом, не поднимая головы, поглощаю материалы, переданные для ознакомления завом, а внутри все ликует: господи, пробился, наконец, и куда! Теперь-то дело по сердцу — и до самой пенсии!..

Часов около шести позвонили из кадров, попросили заглянуть.

— Произошла ошибка. В отделе искусств не было вакантной ставки. Нет и в других отделах.

— Как же?..

— Извините, говорить об этом бесполезно.

Когда, помаявшись в приемной, я прорвался к замглавного, тот сказал, что, действительно, свободной единицы нет сейчас, вот появится — и сразу вспомнят, призовут, им позарез нужен именно такой человек.

Больше мне никогда не звонили (прежде подобное иногда бывало) из «Литературной газеты». И не печатали больше. Зато я стал желанным автором толстого журнала и малотиражного еженедельника.

В журнале приветил заведующий отделом критики. Мы — ровесники, с первых минут перешли на «ты». Моя славянская внешность вызывала доверчивое расположение, а фамилия, должно быть, настораживала. И придумал тест — дал отредактировать исследование об убиенном еврейском писателе.

— Пишешь ничего, — говорил при этом заведомо. — Но редакция заинтересована в сотруднике, который умеет чужое гэ превратить в конфетку. Докажи, что способен. Может, главный согласится взять тебя в штат...

Выправил.

— Ну что, годится?

— Годится.

— А ты вообще читал его?

— Кого — его?

— Ну, этого писателя.

— Кое-что читал.

— В оригинале или в переводе?

— Старик, — сказал я, — читать по-еврейски, к сожалению, не научился. Но если волнует моя национальность, не сомневайся — еврей я...

— Ты, Павел, только не подумай чего... У нас ставки нет.

Вскоре в отделе появился новый литработник. По странному совпадению его фамилия звучала в точности, как мой псевдоним — Семенов. Обидеться бы, порвать с этой редакцией. Только ведь где лучше?.. И проглотил обиду.

Зав тем временем приспособливал меня для обслуживания своей литературной группировки да и для личных целей. Не причастный ни к какому лагерю, я был удобен, когда нужно было кого-то похвалить или обругать, не вызывая подозрений в предвзятости. Подсовывая на рецензию мякину некоего деятеля, он многозначительно замечал:

— Автор — секретарь правления СП СССР...

— Больно уж скучно, банально, бесталанно. Не напечатаешь то, что о нем напишу...

— Тогда возьми вот это. — И вылавливает из стопки монографию, посвященную одному донбасскому писателю, добавляя: — Между прочим, сочинение главного редактора большого издательства. А тебе же нужно место?..

Новый заказ не лучше. Но отвергнуть его нельзя. Прослышу капризным. Прослоил эссеистские экивоки воспоминаниями о Караганде, порассуждал, что-де хорошо бы и Третьей кочегарке иметь такого певца шахтерского труда. Не без уклончивости отклик, однако, вполне. Довольный автор дарит критику свой опус с ответными комплиментами. Тем дело и кончается? Не совсем так. Теперь зав, — его рукопись лежит в издательстве, — позволяет покладистому рецензенту

разразиться фельетоном, где тот справедливо чехвостит некую невлиятельную бездарь. Все в литпроцессе взаимосвязано...

У еженедельника тоже был четко очерченный круг писателей, которые пользовались расположением его редколлегии. И здесь меня подбадривали обещаниями:

— Это пойдет с колес...

Убедившись, что я привередлив, обычно предлагали на отзыв вещи стоящие. Как-то звонят:

— Не поработаете ли временно в штате? Ставка литсотрудника освобождается на пару месяцев... Знаем вас как человека пишущего, познакомимся поближе, не исключено — останетесь насовсем. Приходите, обговорим условия.

Являюсь в назначенный час. Надо, объявляют, не откладывая представить меня начальству. Через несколько минут приглашают:

— Пожалуйста, к главному редактору.

Он расплылся в улыбке, он — сама доброжелательность.

— Значит, хотите у нас потрудиться?.. Что ж, я не против. Приглядимся друг к другу, там видно будет... А статьи ваши читал, Павел Сиркёс. Оформляйтесь.

Вернулся в отдел. Заведующая вручила анкету.

— Заполняйте, пишите заявление.

Сделал, как было велено. Наложила резолюцию.

— А теперь несите все секретарю главного, чтоб в понедельник приступить к работе.

Шагал по коридору, удаляясь от приемной, — коридор там длинный, — догнала запыхавшаяся секретарша.

— Срочно к шефу!

Он стоял над столом, уставившись в мои бумаги. Поднял глаза — и снова погрузился в анкету на уровне пятой графы, потом опять посмотрел на меня, плохо скрывая удивление.

— Так что решили в отделе?..

— В понедельник приступаю к работе.

— Нет, лучше загляните ко мне после обеда — надо кое-что уточнить...

Пришел. Секретарша велит подождать.

Через полчаса.

— Узнайте, пожалуйста, примут ли меня сегодня.

Проскользнула в кабинет, вернулась с моим заявлением. Сбоку наискосок красным карандашом начертано: «Принять на временную работу не представляется возможным». И размашистая подпись.

Теперь понятно, почему я так ухватился за курсь?..

Когда объявили прием на документальное отделение, забрезжила надежда: может, диплом сценариста откроет доступ в кино. А нет — хоть стипендия будет полтора года.

Успешно сдал экзамены. Оставалось собеседование. Собрался синклит мэтров.

— Зачем вы, критик и журналист, хотите поменять профессию? — спросил директор Маклярский.

— Устал от инфляции слов. Изображение помогает кино обходиться без них.

Мэтры заулыбались — пролил елей на души.

И началось лучшее за все московские годы время. У нас не было постоянных преподавателей, зато уж лекторов приглашали самых ярких. Слышали А. Аникста, Ю. Давыдова, В. В. Иванова, Л. Копелева, А. Кончаловского, М. Ромма, А. Тарковского, Л. Трауберга, Б. Шрагина, Г. Чухрая и других. Смотрели фильмы — десять за неделю — наиболее примечательные фильмы от Люмьеров до наших дней. Обстановка складывалась свободная, недогматическая. Сочинения коллег обсуждали честно и откровенно.

Наступила пражская весна. Из чешского посольства привозили картины Хитиловой, Формана, Менцеля — искусство, не связанное путями государственной цензуры, болевшее теми же болями, что и общество. Мы видели в этом признак скорого выздоровления. Казалось, еще совсем немного — и то же захватит нашу страну...

Советские танки, высекая своими траками искры из брусчатки Вацлавской площади, раздавили наши ожидания. Узнали о Дубчеке в наручниках, о самосожжении Яна Палаха, о демонстрации у Лобного места, о суде над ее участниками. Курсанты из рук в руки передавали протесты против расправы над смельчаками. Все как-то сразу почувствовали: в этой точке сломалась эпоха, и последствия будут очень длительными...

11 декабря послали Александру Исаевичу Солженицыну телеграмму в Рязань — поздравление с пятидесятилетием. Совсем немного, если прилагать исторические мерки, прошло с первой его публикации в «Новом мире», но сколь значительны в общественном сознании стали имя и книги писателя!

А тогда мне дали «Один день Ивана Денисовича» всего на несколько часов... Сидел в издательстве за рабочим столом, не замечая обычной кутерьмы вокруг. Не понимал, что застит взор, пока не обнаружил на журнальной странице влажные пятна. То были следы слез. Ни до, ни после не плакал над прочитанным...

К концу курсов я подготовил два сценария: «Памяти отца» и «Река моего детства». Их обсуждали на художественном совете.

— Тут протянута последовательная струнка лирического документального фильма, — сказал критик Михаил Матвеевич Кузнецов.

— Автор точно избрал свою тему и сделал поэтические документальные фильмы, вернее, основы для таких фильмов, поэтически-философские, очень современные по форме, — заметил киновед Сергей Владимирович Дробашенко.

Итог подвел председатель совета — начальник управления по производству документальных и научно-популярных фильмов Госкино СССР Алексей Николаевич Сазонов:

— Свое мнение не хочу навязывать, но из всех мне больше всего нравится тема слушателя Сиркеса. У меня предложение одобрить эту работу. Можно считать, что товарищ уже закончил курсы.

Приведенные оценки сценариев взяты из стенограммы, но до съемок дело не дошло. Уже и договоры со Свердловской и Молдавской киностудиями заключил, и пятьдесят процентов гонорара были выплачены. В первом случае главный редактор уральской хроники Миркин допер, что «Памяти отца» о его соплеменнике, и заявил:

— Нас не поймут, если мы сделаем такую картину...

Во втором — недопустимо правдивой оказалась история для экрана.

Я забежал вперед. Пока идет только первый год на курсах. По кинопериодике слушателей натаскивает заместитель главного редактора из Российского комитета кинематографии Гораций Владимирович Дурман. Чем-то, видно, привлек его внимание — пригласил в офис.

— Паша, что думаете делать после выпуска?

— Писать.

— Начинающему сценаристу не прожить без службы.

— Догадываюсь.

— Может, пойдете к нам? Оклад редактора — сто восемьдесят. Командировки на студии — значит, связи. Два сценария в год — разрешенный минимум.

— Да ведь не возьмете...

— Это почему же?

— Недостаток у меня...

— Пьете?.. — Выразительный щелчок по горлу.

— Еврей я, Гораций Владимирович, беспартийный еврей.

— Не может быть!

— Точно.

— Нет, я попробую, переговорю с руководством.

— Не надо — и вам, и мне напрасные хлопоты.

— Нет, нет, обязательно переговорю. Вернемся к этому после каникул.

Осенью он признал, что мои опасения оказались справедливыми.

Минуло несколько лет. Дурмана проводили на пенсию. Его преемница, не ведая о первой попытке, также позвала меня к себе в помощники. Не отступилась и после того, как рассказал о ней. Но результат был прежний.

Загинул бы без службы, если б не редкая профессия — сценарист. Вот и считал, что обязан курсам и их директору Михаилу Борисовичу Маклярскому.

— В советском учебном заведении не может быть процентной нормы, — говаривал Маклярский. — А в нашем — тем более! К слову, и среди основоположников кинематографа мы встречаем Эрмлера и Натана Зархи, Козинцева и Трауберга, Вертова и Шуб. Сам Эйзенштейн шутил: «Хоть я и не еврей, однако, с прожидью...»

У Михаила Борисовича хватало мужества и в Госкино отстаивать такую позицию.

И все же я был уверен: рано или поздно он обо мне вспомнит, бескорыстия его не достанет, чтоб не предъявить счета.

— Подвернулась работенка. Загляни, — позвонил однажды Маклярский.

Встретились.

— Есть возможность сделать документальную ленту о человеке из глубинки — о сельском милиционере. Давай вместе...

Заманчивое предложение и лестное: маститый, дважды лауреат Госпремии, а я — начинающий.

— Давайте.

Отправились к начальнику московской областной милиции, генералу.

— Молодой, талантливый, о нем «Правда» писала, — рекомендовал соавтора Михаил Борисович, — вместе будем работать.

Оказывается, старик заметил рецензию на мой фильм «Чистого вам неба».

Нас повезли в Шатуру, угощали карасями в сметане, поили коньяком. Поздней ночью Маклярский укатил. Ну, а я остался и еще неделю прожил с нашим будущим героем — сельским участковым Юрием Петровичем Ефремовым. Внешне он напоминал артиста Евгения Леонова. Да и доброй душой походил на многих его персонажей.

Мы целыми днями мотались на мотоцикле капитана по поднадзорной территории — ловили воров, выводили на чистую воду самогонщиков, пресекали пьяные драки. Возвращаясь, с холоду и с устатку опрокидывали рюмку-другую водки, отужинав, ложились спать на широкой тахте, разделенные двумя одеялами. Но прежде, чем уснуть, Юрий Петрович долго вспоминал о деревенском детстве, о деде-богомазе, в чью избу, перебранную своими руками по бревнышку, он и привез после службы на флоте молодую жену. Между прочим, дед малевал не только иконы. Стены горницы украшали портреты Пушкина, Гоголя, Льва Толстого — дедовы работы.

Сроченность Ефремова с односельчанами воспринималась как естественная и непринужденная, отношения были простые, даже патриархальные. И что удивительно, так же строились они по всему участку, куда входило десятка полтора населенных пунктов. Совесть, природный такт безошибочно подсказывали Юрию Петровичу, где нужно вмешаться, а когда употреблять власть не следует.

Утром помчали по срочному вызову и увязли, будто нарочно, в снежном заносе. Вытолкнули тяжелый колясочный «Иж», газанули, прыгая через рытвины и ухабы. Мороз под двадцать градусов. Я насквозь промерз на ветру и даже не заметил, как что-то хрустнуло в позвоночнике. Вылез из люльки — распрямиться не могу. Потом рентген показал: два хряща лопнули.

Сценарий все-таки доделал, один. Маклярский только свою подпись под договором да в гонорарной ведомости изобразил. Так было оплачено мое приобщение к кинематографу.

Тут уместно коротко о самом Маклярском. Сын одесского портного, он был призван в пограничные войска и остался в органах. Затем, шелестел слушок, допущенный в охрану Сталина, проверял на себе, не отравлены ли блюда, подаваемые отцу народов. Дослужился до полковника. Сюжеты потаенного ведомства — ходкий товар на литературном рынке. Маклярский превращал их в сценарии, вовлекая в сотрудничество М. Блеймана, К. Исаева, а то кого-нибудь еще. В одиночку не выступал никогда.

Недолго сидел, за что — не распространялся об этом. Бывший узник Лубянки Авраам Шифрин свидетельствует. После ареста в мае пятьдесят третьего года его бросили в камеру, где находился Маклярский. Узнав о смерти генералиссимуса, тот заплакал:

— Теперь все кончено. Только на Иосифа Виссарионовича я и надеялся — ему нравились мои фильмы.

Михаилу Борисовичу исполнилось сорок семь, когда состоялся XX съезд партии. Он уже реабилитирован и в качестве члена Союза писателей заканчивает Высшие литературные курсы. А в шестидесятом — сам директор Высших курсов, только сценаристов и режиссеров.

В эпизодические наши встречи я подбивал Маклярского засесть за воспоминания — вы, мол, столько видели... Он отнекивался:

— Рано, придет время...

Значок почетного чекиста с разящим мечом носил в лацкане пиджака до конца.

...Представитель комиссии партконтроля посетил меня на дому — из-за гипса я лишился мобильности. Предстояло выяснить детали нашей работы, поскольку директор Маклярский обвинялся в злоупотреблении служебным положением, которое в том и выражалось, что он склонял к соавторству слушателей и выпускников возглавляемого им учебного заведения.

— Совместное творчество — это как любовь. Произведение, родившееся от такого союза, — ребенок, — лепил я скороспелые афоризмы. — Не стоит выяснять, чей вклад...

— Ну нет, кто-то работал больше, кто-то меньше...

— Претензий к Михаилу Борисовичу не имею — ни моральных, ни материальных.

Корсет с дырочками для проветривания был, наконец, готов. Влез в него, поддев футболку, чтоб не резал под мышками, не лип к коже, проковылял с десятков шагов — и хоть выжимай. А тут телеграмма: «Срочно вылетайте монтаж озвучание фильма Капитанское поле Ленкинохроника».

Звоню Маклярскому:

— Да не пробовал я писать тексты, — отказывается он.

— С меня только вчера сняли гипс.

— Ехать надо вам, Паша. Половину расходов оплачу.

Доводили картину около недели. В комнате стояло два монтажных стола. На одном возлежал я, глотая таблетки седалгина, за другим сидели режиссер и его помощница.

После сдачи вздумал лететь к вам, отдыхающим на Рижском взморье.

— Билетов нет! — осадил меня диспетчер.

— Ждать не могу, — тихо, но внятно сказал я и постучал по груди костяшками пальцев.

Услышав странный неживой звук, она зачастила:

— Только не волнуйтесь. Здесь душно, жарко, отдохните на лавочке. Подготовят самолет, позову.

Спустя полчаса, взяла у меня паспорт, деньги, оформила билет и проводила до трапа. Добр русский человек к убогоньким.

Помнишь, ближайшими вашими соседями в столовой дома творчества оказались Шукшины. Саша уже успела подружиться с девочками, ты — познакомиться с матерью семейства. И только глава его дичился. За завтраком не видно — отсыпается после ночной писанины, оправдывался за мужа Лида. Придет обедать ли, ужинать, не поднимает глаз.

— А что, читает Василий Макарович статьи о себе? — как-то поутру спросил я у Лиды.

— Читает, нам из бюро вырезки шлют. Вы почему спрашиваете?..

— И я, грешный, напечатал статейку.

— Где?

— В «Нашем современнике».

— Значит, то была ваша статья?! Вася мне показывал. Понравилась ему.

После обеда Шукшин всех нас удивил — подошел, поздоровался.

— Если не возражаете, буду ждать вас в холле.

Там, как обычно, писательский треп с перекурком. Шукшин одиноко дымит в стороне. Двинулся к нему, едва волоча ноги. Он привстал, помог усесться рядом.

— Где это тебя?

— На картине.

— И ты тоже?.. Вот я и говорю: кино хребты ломает. А мне не велят... Статью твою принял. Посоветовал венграм вместо предисло-

вия к моему сборнику, который готовят в Будапеште. Что у тебя за фамилия — Сиркес?.. Латыш?

— Нет, еврей. Ты разочарован?

— Как я могу?! Мой учитель — Михаил Ильич Ромм.

— И такое бывало.

Теперь вечерами мы часто тянулись береговой излучкой, разговаривали. Вася вспоминал о детстве на Катуне, раннем сиротстве. Ему было три года, когда в коллективизацию лишился отца. Макара Шукшина арестовали, опасаясь, чтоб не поднял мужиков на бунт. Средняк, беспартийный, но грамотный — к нему прислушивались на селе. И расстреляли ни за что, не посчитались даже с тем, что в семье пятеро детей. Младший, Вася, до шестнадцати лет носил фамилию матери. Поповых пощадили.

Сын врага народа, отматросив пять годков на Тихоокеанском военном флоте, поработал директором деревенской вечерней школы и только потом надумал поступать в институт кинематографии. Приехал на экзамены, не представляя, что это за профессия такая режиссер. Михаил Ильич Ромм был потрясен. Да не разыгрывает ли странный абитуриент приемную комиссию?.. Чем он там руководствовался, Ромм, одному Богу известно, однако, взял в свою мастерскую и на все годы стал и наставником, и другом, который строго вводил новичка в киноискусство и литературу. Писать Шукшин начал студентом. После ВГИКа слонялся неприкаянно по Москве без жилья, ждал первой постановки — фильма «Живет такой парень». Это время не пропало у него. Собрал в книгу «Сельские жители» рассказы. Она упредила режиссерский дебют.

Мы расстались до осени, когда он и попал в клинику гастроэнтерологии на Пироговской. Там-то у Васи и вырвалось в сердцах об отдушине. Врачи запретили ему курить. Тайком, из кулака, попыхивал сигаретой. И говорил, хотя казался молчуном. Слушал его и думал: вот ведь что значит носить занозу в сердце — быстрее умнеешь.

Неожиданную смерть Шукшина перенес так, как смерть родного брата перенес бы, если б он у меня был.

Гроб установили в Доме кино. Очередь к нему тянулась за несколько кварталов. Никогда раньше не наблюдал столь искренней скорби многих по чужому в сущности человеку. Стихийный народный траур, видимо, и убедил власти: хоронить надо на Новодевичьем. В готовую могилу на Ваганьковском положили другого покойника.

Через пару лет Леонид Михайлович Кристи делился со мной:

— Делаю сейчас фильм к семидесятилетию Шолохова. Порядочные писатели шарахаются — не хотят участвовать в съемках.

— Стоит ли удивляться?..

— Шукшин выручил — последняя с ним беседа в «Литгазете». Совесть народа — вот кто сейчас Шукшин.

Передал разговор Лиде. Она удивилась:

— Как же Кристи это использовал? Корреспондент уверяет, что по ошибке стер магнитную запись. Скорее всего Вася не произносил тех слов, что появились в «Литературке»...

Летом знакомые помогли нам снять недорогую дачу. Отвез семью и затеял ремонт, какого не было в нашей комнате с самого твоего рождения. Нашел двух мужиков, сговорился о цене. Они явились, развели грязь — и исчезли. Отыскал их на соседней стройке, приманил пол-литрой, обещанной после вечерней работы.

Так и повелось: днем я сбивал шпателем старые обои, выносил мусор, таскал песок и цемент, после шести заваливались гегемоны, принимались штукатурить, белить потолки. Их вдохновляла остужаемая в холодильнике бутылка «Московской». Чтоб дело спорилось, я посулил, — и тут дал маху, — что белоголовая не переведется у нас до конца. Стоило ли тогда торопиться?..

Сбивающий обои ползает по стенам, точно муха. Это положение создавало определенное преимущество, потому что можно было читать малодоступные газеты. Сначала добрался до тридцать шестого года. Эпопея Чкалова, Байдукова и Белякова предстала передо мной в зеленой свежести фразеологии, которая уже пожухла и не воспринималась, а в свое время завораживала преобразователей мира с бельмами на глазах.

Ползал и терзался мыслью: неужели в пору твоего рождения не было у страны (только-только отменили карточки) ничего более неотложного, чем перелет трех смельчаков через Северный полюс в Америку? Или другие, подобные же акции, вроде похода «Челюскина» (едва спасли затертую льдами экспедицию!), призыва командирской жены Валентины Хетагуровой к девушкам, дабы те ехали на Дальний Восток в поисках мужей, или дутые трудовые рекорды, способные вызвать лишь ложный энтузиазм. Теперь элементарный блеф таких мистификаций разгадать несложно. А тогда? Раздувая кампанию за кампанией, преследовали сразу несколько целей: отвлечь от повседневных неурядиц, дать пищу пропагандистской машине, удовлетворить нормальную потребность в сенсации.

Под нижним слоем обоев обнаружили «Русские ведомости» за июль 1911 года. В них явлен был мир, почти в то самое время, когда родился мой отец.

После ремонта у нас стало уютнее. И все же двум пишущим несподручно весь божий день оставаться в одной комнате, где тихо, точно мышка, стараясь никому не мешать, возится с хозяйством заботливая Мария Федоровна да попискивает не такая уж и крикливая, к счастью, наша дочка. Многие жили так же стесненно, как мы. Но они уходили на службу, проводили вне дома восемь, с дорогой — девять или десять часов. Нам же не было спасения, если не забиться в читалку, не вырваться в дом творчества хоть на полсрока.

И наши ночи, когда была тяга, а за ширмой ворочалась теща. Она нембутал глотала, чтоб скорее и крепче уснуть. Тем и испортила печень — цирроз обнаружили через месяц после переезда в отдельную квартиру. Не порадовалась...

Нужно сдавать сценарий о генерале Родимцеве — в Москве не успеваю. Ты добиваешься в Литфонде недельной путевки для меня в Голицыно. Загородный покой помог — писалось хорошо, быстро. Лишь к вечеру ослабевал ток нужного будущей картине.

Как-то за час до ужина нагрянул пьяненький Юрий Осипович Домбровский.

— Айда на станцию! За водкой! Пятерка есть, и ты сколько-нибудь добавишь...

Я уж выполнил свой урок — и потому согласился. Мы накануне только познакомились.

Отправились втроем — за нами увязался собутыльник Юрия Осиповича, поэт, тоже бывший лагерник и тезка Домбровского. Мне казалось, хватит им пить, нарочно замедлял шаг, отвлекая спутников беседой, только бы не поспеть до семи — в семь, как известно, прекращается продажа.

Хитрость удалась. Назад возвращались без выпивки. Юрий Осипович заметно потрезвел и от прогулки, и от неудачи, и, должно быть, следуя ходу собственных мыслей, вдруг спросил:

— Твоя Тамарка — латышка?

— Нет, русская. Впрочем, по отцу она — еврейка. Жирмунские происходят из Вильно. Фамилия образовалась от названия предместья Жирмунай.

— Ты никогда не задумывался, почему в метрополии сейчас живут хуже, чем в прежних российских колониях?..

Он принялся рассуждать по поводу этого, действительно, парадоксального наблюдения.

Впереди, шагах в десяти от нас двигался враскачку коренастый плотный дядька. Мне не нравилась его спина, все казалось, он слушает спиной. Свернули к воротам усадьбы, принадлежавшей когда-то известному театральному деятелю Коршу, и до меня донеслось:

— Вы — писатели! — Это кричал дядька. — Вы жидаы, а не писатели! Россию Америке продаете!

В следующий миг Домбровский был рядом с ним.

— Ах ты, сука, сука! — почти шептал Юрий Осипович и носком ботинка ударил его по щиколотке. — Я таких в лагере своими руками душил...

Они сцепились. Я кинулся разнимать. Дядька вонзил ногти в мои запястья, орал:

— Русский человек, зачем с жидами связался!?

Оттянул от Домбровского, потащил чуть не на весу вдоль улицы. Он бил себя в грудь с рядами орденских планок, грозился:

— Погоди, отставники наведут порядок в родной державе!..
Домбровский, касаясь своей национальности, говорил:
— Я поляк, но с примесью цыганщины.
Друг-стихотворец вовсе был великоросс. Права Марина Цветаева:

*В сем христианнейшем из миров
Поэты - жида.*

После этого случая, Юрий Осипович и дал мне рукопись еще не законченного «Факультета ненужных вещей» — шестьсот с лишним страниц, отпечатанных на машинке. Проглотив роман за ночь, я сказал:

— По моему, оба центральных образа — и Зыбин, и его антипод Корнилов обнаруживают единый источник — личность автора, как она под-сознательно расщеплялась в иные минуты на стойкость и слабость.

— Неужели?! — сокрушенно воскликнул Домбровский. — Никому больше не говори, пока не помру...

А еще ты придумала снимать зимой комнату в дачном поселке «Литературной газеты» — платформа Шереметьевская, рядом с международным аэропортом.

У тебя вышла вторая книга, твое имя — стихи, статьи — часто появлялось в периодике, оттого и стало возможно не в сезон задешево поселиться в одной из клетушек деревянного финского домика.

Ехали пригородным с Савеловского вокзала.

*Пассажиры электрички,
почему у вас такие грустные лица?
Не потому ли, что поезда
начинают ходить в четыре тридцать?..*

Долго протапывали тропинку в свежевывавшем снегу. Над нами взмывали и опускались лайнеры разных авиакомпаний мира. Вот ведь летают, подобно птицам, поверх границ!..

*Я привык к гулу самолетов
на ближнем аэродроме.
К человеческому дыханью за стеной
привыкнуть не мог.*

Наши соседи — молодые журналисты Тая и Саша Соколовы работали в штате, появлялись лишь в конце недели. Мы стали друзьями.

В полупустом поселке среди прочих обитало несколько еврейских семей. Это, видимо, раздражало Сашу.

— Умеют люди устраиваться, — неприязненно заметил он.

— А мы с тобой?..

Возразить было нечего, но принялся разглагольствовать в духе антисемитских стереотипов. Урезонил его. Оказывается, ему было невдомек, что я еврей. Внимательно и сочувственно слушал меня, когда рассказывал об истории моего народа. Для Саши все было внове. Такое часто случается: человек разделяет ходячие предубеждения только потому, что не вникнул в причины. Может, мне и удалось в чем-то поколебать Соколова. Через несколько лет он выехал из СССР, женившись на австрийской еврейке, и вывез свою талантливую «Школу для дураков», которую перед смертью успел приветить скупой на похвалы Владимир Набоков.

По обыкновению спешил в Центральный дом литераторов к открытию рабочей комнаты при библиотеке.

— Здравствуй, муж Жирмунской! — Такое приветствие могло бы показаться обидным, если б не добродушие, которое источали встреченные в вестибюле супруги-поэты. — Слышал, тебя на партсобрании Московской писательской организации критиковали?..

— Кто, за что?

— Парторг Аркадий Васильев — за потерю бдительности и неправильные разговоры с каким-то югославом.

Началось, подумал я.

Примерно через год после визита Михаила Михайлова позвонил приятель из ТАССа:

— Приходи немедленно и ни о чем не спрашивай...

Тут впору было испугаться... Пока мчался к нему домой, все прикидывал, что же такое стряслось, коли сдержанный международник прибег к телефонному вызову.

Ни слова не говоря, он вручил мне перевод михайловского очерка «Лето московское 64-е», напечатанного в загребском журнале «Дело». Очерк делился на главки: «Владимир Тендряков», «Илья Эренбург», «Леонид Леонов», «Юрий Бондарев», «Белла Ахмадулина», «Тамара Жирмунская».

В этой, последней, говорилось: «В старинном, еще «царского времени», доме на улице Горького, в квартире, переполненной старинной мебелью, — вероятно, именно так должны были выглядеть обиталища чеховской интеллигенции, — большая светловолосая женщина, которую вы никогда бы не приняли за поэтессу, показывала мне фотографии многих выступлений «молодых»: Евтушенко, Рождественский, она... и толпы народа».

Главка заканчивалась так: «Вскоре пришел муж поэтессы, редактор одного фильмового журнала. Благодаря этому обстоятельству я узнал много интересного о положении в советской кинематографии».

Далее шла главка под названием «Фильмы».

Муж поэтессы... Он, конечно, не ухватил фамилии. Значит, пришел муж поэтессы и рассказал о скандале с «Заставой Ильича». Вот когда я в первый и единственный раз порадовался, что скинули Хрущева...

Очерка тогда не дочитал, успел только пробежать глазами страницы, где было что-то про нехватку сигарет в Москве, самодеятельную проституцию. Текст был переведен наскоро — для начальства. Схватились лишь после того, как «Нью-Йорк Таймс» поместила на первой полосе его изложение.

Мы не сомневались, что реакция Союза писателей последует незамедлительно, и тебя пригласили в иностранную комиссию ССП.

— Познакомьтесь, что написал, ссылаясь на вас и вашего мужа, некто Михайлов. Как такое стало возможно?..

Ты прочитала известное с моих слов — ответ был приготовлен заранее:

— Ждала ребенка — и никого не принимала, но Михайлов настоял. Телефон ему дали в Союзе, все-таки гость из дружественной страны...

— Впредь не соглашайтесь на встречи с иностранцами, пока не проконсультируетесь с нами. Таков порядок.

Отделались легко. И вдруг через пять лет — эта критика нас, беспартийных, на партсобрании...

Я знал: ты будешь переживать из-за проработки. Поднялся на второй этаж, постучал в кабинет Васильева.

- Войдите! - откликнулся высокий благозвучный голос. За столом сидел круглолицый доброжелательный человек, похожий на священника, который сбрил усы и бороду. — Что скажете?..

— Я беспартийный и даже не писатель, но мне передали, что вы критиковали меня на последнем партийном собрании.

— Как ваша фамилия?

— Сиркес.

— Впервые слышу.

— Вы говорили обо мне, как о муже Жирмунской.

— А?.. Послушайте, однако, голубчик, что я о вас говорил... — Он достал из сейфа папку с бумагами и зачитал: «Муж Жирмунской рассказал Михаилу Михайлову о положении в советском кинематографе». Видите, обошлось без резких оценок. И потом, вы попали в неплохую компанию — назывались достойные писатели. Речь шла о бдительности, когда имеешь дело с врагами.

— Меня волнуют не слова, а оргвыводы. Я не столько встревожен за себя, сколько за жену.

— И правильно!.. Впредь будете осторожнее.

— Тамара была тогда беременна, теперь же дочка в школу собирается — шесть с половиной лет прошло. Кстати, из-за своего интерес-

ного положения жена и не хотела принимать Михайлова, да еще в коммуналке, где маемся и сейчас...

— Как, вы до сих пор в коммунальной квартире? Я-то считал, вам давно выделили жилье... Присядьте. — Я сел. — Это безобразие, — продолжал Васильев. — Лично займусь. Скажите Тамаре, пусть придет ко мне, — полистал настольный перекидной календарь, — через две недели.

Теперь, обещав облагодетельствовать, он, видимо, не сомневался, что найдет во мне признательного слушателя, и принялся вспоминать о своей чекистской юности. Оказывается, мы потому такие доверчивые и беспечные, что не получили смолоду закалки. Для политически верной ориентировки нужна школа и лучше — школа органов. Так говорил Аркадий Николаевич Васильев — парторг Московской писательской организации, бывший работник НКВД, автор книг о наших славных дзержинцах.

Ты была у Васильева в назначенный день. Он тебя принял ласково, подтвердил, что нас внесут в список первоочередников на квартиру.

Уже и Васильев умер, и жилищными делами занялся один из секретарей столичного отделения Юрий Стрехнин, и Саша заканчивала первый класс, а всего восемь лет прошло после заявления с просьбой переселить нас из коммуналки, как вдруг случайно узнали: мы выброшены из списка.

Я решил действовать без твоего ведома — очень ты щепетильна! — добился приема у Стрехнина. Он разговаривал, косясь в окно.

— У меня нет ни метра площади. Моссовет должен в этом году пятьсот квадратов, пока не получили ни одного.

— А если я выбью квартиру, не отдадите ее кому-нибудь другому?

— Как вы можете выбить? — насторожилась Стрехнин.

— Я автор фильмов о войне. За меня будут ходатайствовать наши известные полководцы.

— Кто, например? — В Стрехнине встал навтыжку недавний отставник.

— Генерал армии Жадов, генерал-полковник Родимцев.

— Это меняет ситуацию. Таким людям Моссовет, конечно, не откажет. Письмо должно быть на зампреда — Сергея Михайловича Коломина. Выделят квартиру — ее получит ваша семья.

С генералами все было обговорено предварительно. Я набросал черновик, согласовал его, перепечатал, подписанный чистовик отвез в Министерство обороны СССР — полковнику, состоящему для поручений при Жадове: бумага должна не миновать учреждения, при котором состоят полководцы.

Смотровой ордер на квартиру получили в апреле. Не хотелось в Текстильщики. Мария Федоровна втолковывала нам, привередам:

— Берите, что дают. Я долго жить не обещаю. А втроем навсегда застрянете на Горького — без меня превысите санитарную норму.

До июня драил окна и двери от потеков краски, скоблил полы, долбил дыры под карнизы, врезал замки, вешал светильники — готовил переезд. Старался, точно обосновывался до конца дней: на обмен не хватит изворотливости, на кооператив — денег, и дочка сюда зятя приведет, и внуков здесь нянчить.

Нам с тобой надо было зарабатывать — ладить запоздалое, через десять лет, первое свое семейное гнездо. Я не гнушался никаких заказов, много ездил по разным городам.

В Саратове предложили фильм о Пятой гвардейской армии. Мы с режиссером Женей Гинзбургом просиживали в монтажной с восьми утра до двенадцати ночи, питались бутербродами и чаем.

В минуту роздыха, уже после окончания для всех трудового дня, заглянул на огонек в кабинет главной редактриссы. Там был и директор студии.

— Мы знаем, Павел Семенович, что вы родом из Молдавии, а кто вы по национальности? — спросила главная.

Тут в кабинет вошел Гинзбург.

— Так ли это важно?.. — задал я встречный вопрос.

— Да нет. Просто очень уж вы дотошный в работе. Такими бывают только евреи.

— В Молдавии все настолько смешано, что трудно выяснить, кто есть кто, — хитро закончил я разговор и гордо покинул помещение. Женя последовал за мной.

— Да как ты мог?.. — напустился он на меня, когда мы очутились в монтажной. — Немедленно вернись и скажи, что ты — еврей!

— Твоя правда, старичок, но не вернись и никому ничего не стану объяснять. Ты думаешь, она спросила из праздного любопытства? Ей отчитываться об авторе перед обкомом...

Кое-где сообразили, что можно и по-другому. Из Свердловска, например, дважды присылали «Учетную карточку киносценариста», в ней пятая графа значилась второй; свели в одну имя, отчество и фамилию, год рождения не интересовал. Просили заполнить. Я не откликнулся.

Встречаю знакомого режиссера. По внешности он — вылитый еврей, а по паспорту — украинец.

— У тебя что-нибудь снимается? — спрашивает щирый.

— Двухчастевка на ЦСДФ.

— И тебе дают работать на Центральной студии? — удивился и тут же сам себе растолковал: — Впрочем, существует легенда о твоём молдавском происхождении...

По Москве гуляла такая байка. Некий сценарист написал в анкете против пункта о национальности — иудей. Кадровик прочитал: индей.

— Да не индей я, я иудей, то есть еврей, — возразил сценарист.

— Значит, индейский еврей, — поправился кадровик.

Никогда не забыть мне истории с фильмом «Тайное и явное», сделанным на ЦСДФ. Я узнал о просмотре слишком поздно и в зал не попал. Стоял у будки киномехаников снаружи, ловил комментарий. Диктор Леонид Хмара нагонял страху:

— Тысяча девятьсот двенадцатый год. Сионист Гинзбург учиняет Ленский расстрел... Тысяча девятьсот восемнадцатый — еврейка Фанни Каплан стреляет во Владимира Ильича Ленина....

Я стыл около аппаратной, внимая, как еврейские капиталисты приводили к власти Гитлера, как сотрудничали с нацистами, истребляли евреев-бедняков, выменивая на грузовики — «студебеккеры» тех, кто мог уплатить наличными, как провоцировали один за другим конфликты на Ближнем Востоке, как вызвали Карибский кризис, как подняли контрреволюцию в Чехословакии...

Тут распахнулись двери. Зрители могли бы и задохнуться от источаемых картиной миазмов. Этого не случилось. Жара заставила отпереть переполненный зал. Теперь можно было присоединиться к стоявшим у входа, кому не хватило кресел.

Курильщики настаивали на перерыве. Поднялся главный редактор студии.

— Товарищи, мы работаем всего лишь час. Давайте, начнем обсуждение. Прервемся минут через тридцать.

Мне рассказывали, как сдавали немой вариант этого фильма — показывали изображение, параллельно читая с листа подготовленный дикторский текст. По мысли руководства, такой предварительный контроль исключает проникновение на экран ереси.

Зажегся свет. Слова попросил Леонид Михайлович Кристи.

— Коли это выйдет, мне будет стыдно смотреть в глаза моим товарищам-евреям!

Другой режиссер — Леонид Владимирович Махнач добавил:

— После такого хочется немедленно бежать в ОВИР за визой...

Директор студии слегка пожурил авторов — Бориса Карпова и Дмитрия Жукова, дескать, малость пережали, но тема важная, нужная, следует еще поработать, кое-что сократить — десять частей слишком много, не мешает уточнить некоторые акценты.

Значит, только что смотрели заверченный фильм, урезанный на треть, — так сказать, чистовой вариант, в котором были учтены замечания художественного совета. Что тут началось!

Сценарист Леонид Браславский — гневный, багровый от негодования:

— Я обвиняю картину в антисемитизме. У нас есть закон против пропаганды национальной розни. Его надо применить к сфабрикованному сие позорное произведение.

— Почему пускают людей с улицы? — спросил, имея в виду Браславского, один из консультантов фильма, известный борец с международным и внутренним сионизмом Елисеев.

— С улицы?! — загремел Браславский. — Я пришел сюда на костылях из госпиталя в сорок четвертом и проработал здесь двадцать пять лет!..

— Успокойтесь, Леонид Абрамович! — призвал его к порядку директор студии. — Послушаем других товарищей.

Другие товарищи — второй консультант и административного вида дама, чья фамилия попала тогда в печати под черносотенными статейками, некий специалист в штатском и авторы в один голос доказывали, что в фильме использована лишь малая толика фактов, что картина делалась как оружие в непрекращающейся идеологической борьбе, а оружие должно быть острым.

— Почему на нашей студии нельзя снять такую картину? — обратился к присутствующим главный редактор ЦСДФ, явно намекая, что допускает мысль о злых кознях сионистов и в Лиховом переулке. — Вот же никто не взялся, лишь молодой режиссер Карпов дерзнул!..

И опять встал Кристи:

— Надо доказывать, а не форсировать голос. Думаю, организации, которые поручили эту работу, не поблагодарят за нее.

В зале были представители Кинокомитета, но они молчали.

Решили: фильм принять, выверить в процессе перезаписи текст, попросить диктора, чтоб читал его более нейтральным тоном.

Фронтальной кинооператор Соломон Коган, встречавшийся с Брежневым в восемнадцатой армии, написал Генеральному секретарю, что демонстрация подстрекательского фильма может вызвать нежелательные эксцессы. Последовал запрос из ЦК КПСС. Из Госкино ответили, что лента не закончена, идет доработка.

Не дремали и сторонники «Тайного и явного». Его показывали влиятельным людям — писателям, журналистам, военным. На одном из этих вечерних неофициальных просмотров я и увидел фильм. Собралось человек пятьдесят. Узнал поэта Феликса Чуева, критика Олега Михайлова.

Картина начиналась так. Огромный кряжистый дуб во весь широкий формат. Листва, опутанная паутиной.

— Мы видели дерево, — комментировал Хмара с точно рассчитанной проникновенностью. — Казалось, оно погибнет!..

Дальше события подавались в точном соответствии со словами, что слышал тогда у аппаратной. Под них шли склеенные вперемешку кадры и фото, надерганные с единственной целью доказать существование мирового еврейского заговора. Здесь сгодились нацистская хроника, материалы о создании государства Израиль, иконография геббельсовского ведомства, подтасовки «Союза русского народа», сюжеты Шестидневной войны. Экранизация «Протоколов сионских мудрецов» выглядела бы невинной мистификацией в сравнении с документальной фальшивкой.

И вот, наконец, эпилог. Тот же дуб в мерзкой паутине. Хмара повторяет зачин:

— Мы видели дерево... Казалось, оно погибнет...

Сгущаются тучи. Небо раскалывает сокрушительный удар грома. В свете молний потоки очистительного ливня смывают нечисть, опустившую крону могучего дуба.

— Нельзя, нельзя показывать, — сказал кто-то из сидевших сзади. Я обернулся. Бледный генерал-майор стоя повторял: — Нельзя — громы будут!..

— Пусть народ знает, что они творят, — не согласился с ним не известный мне зритель.

Утверждали, что «Тайное и явное» прикрыли. Но я сам читал рецензию на него в провинциальной газете. Автор, между прочим, с еврейской фамилией хвалил злободневный, остропублицистический фильм.

Уехал Леня Дондыш.

Уехали Ладыженские.

Уехал Леня Кацевман с семьей.

Уехали Жанна и Вика.

Уехал Наум.

Уехали Софа и Илья.

Это только из друзей и близких.

Уехали Баухи.

Евтушенко поманил меня в ЦДЛ.

— Слышал о Гладилينه?..

— Слышал.

— Смотри, не сотвори такой глупости...

Уехали Володя Соловьев и Лена Клепикова.

Уехал дядя Фима с семьей.

Уехал Марк Поповский.

Уехали Рива и Илюша, и Муся, и дети.

Уехали Инна и Лена Гордины.

А Марк Гордин остался...

Мы познакомились с Мариком на объявленном, но не состоявшемся открытии литературного кружка. Он учился в седьмом «б», я — в седьмом «а». Каждый из нас знал о другом. Марик был популярный в школе и в городе спортсмен — бегун и боксер. Ну, а меня он заметил по виршам в стенгазете да комсомольской мельтешне.

Заседание отменили: только мы двое и явились на него. Домой пошли вместе.

Мне представлялось странным, что склонность к мордобою может сочетаться с любовью к литературе. Ему, как он впоследствии признался, хотелось понять, что движет человеком, который пытается рифмовать в языке, где было столько великих поэтов.

Добрели до нашего парадного. Я извинился, что не могу его пригласить — мама затеяла ремонт.

— Вот и хорошо, — улыбнулся Марик. — Двинули тогда к нам — у меня отдельная комната.

Гордины обрадовались приходу гостя. А мой новый приятель возьми да с порога и заяви родителям, что привел товарища, который поживет с ним вместе несколько дней.

Отец, Лев Абрамович, подобрал костыли, приветливо сказал: — Располагайся, как у себя.

Мать, Настасья Назаровна, так лучилась добротой, что и без слов было ясно ее отношение к неожиданному постояльцу.

Странной все же они смотрелись парой — бывшие лосиноостровская швея и кишиневский портной. Лева Гордон (начальная его фамилия) был призван на войну четырнадцатого года из Бессарабии. Раненый попал в московский госпиталь, потерял ногу. Пока рубцевалась культя, Западнестровье оказалось по другую сторону границы. Некуда было податься инвалиду, вот он и осел в белокаменной. В двадцатом вступил в партию, как рабочий от станка, то бишь швейной машинки, потом учился на рабфаке и в Коммунистическом университете имени Свердлова. Тогда в университете одновременно читали лекции и Троцкий, и Сталин. Спустя много лет, уже после XX съезда, Лев Абрамович рассказывал мне, что слушать Троцкого сбегались толпы народа, у Сталина в аудитории бывало пусто.

Со временем большевик Гордин достиг положения инженера-технолога на одной из московских швейных фабрик. Настасья там же была рядовой портнихой. Сошлись свежеепеченный интеллигент-еврей, революционный энтузиаст и мечтатель, и простая русская женщина, не очень пригожая собой, но сердечная и верная, твердо ступающая по земле. У него в целой стране Советов и кровиночки родной не сыскать, а она такая надежная и по-матерински преданная. Сложили семью.

Дети росли чувствительные в Льва Абрамовича, добрые в Настасью Назаровну. Дочь Лида, в эвакуации, в Томске, окончила университет, стала учительницей русского языка и литературы. Профессия, что называется, по ней. Марик же был слишком восторженным и мягким для мальчишки. Потому-то и занялся боксом, ломая собственную натуру, изводя себя легкоатлетическими тренировками, укреплял волю.

После моего гостевания у Гординых мы проводили вместе с Мариком все свободные часы. Он читал мне из сестриного студенческого альбома «Хочу быть сильным, хочу быть смелым...», «Это было у моря, где ажурная пена...» и другие стихи. Я усвоил их с голоса нового друга. Ни Бальмонта, ни Северянина у нас в ту пору не издавали. «Как хороши, как свежи были розы..» нелюбимого мной Тургенева Марик декламировал с тем избытком экспрессии, что лишь усугублял выпренность писателя. Меня это раздражало, и я не утаил своего неприятия такой манеры чтения.

Прогуливаясь по центральной тираспольской улице, остановились поболтать с ребятами. Разговор, как водится в подобных случаях, велся малосодержательный, но безобидный. И вдруг Марик резко ткнул меня кулаком в челюсть. Даже отреагировать не успел — он уже прильнул ко мне со слезами на глазах.

— Пашка, дорогой, прости!.. — Я его отталкивал, Марик не отставал. — Прости! Хочешь, стану перед тобой на колени?.. Так тебя люблю, что решил проверить, смогу ли ударить...

После школы Марик поступил в Одесское высшее мореходное училище. Многие ему завидовали в нашем сухопутном городишке, удаленном от Понта Эвксинского всего на сто десять километров. Приезжал на побывку в широких клешах, в форменке с травленным в хлорке гюйсом, вызывая восхищение пацанов, которые бредили романтикой опасных странствий.

Первая же учебная практика показала, что юношеские грезы и реальность современного торгового флота не имеют ничего общего, большинство нынешних моряков интересуется только тем, что, почему и откуда везти. Марику претило делячество. Кое-как дотянул до третьего курса и перевелся в водный институт.

Мы поддерживали связь и в эти годы — переписывались, наезжали друг к другу. Химеры не оставляли его, но становился, вроде, трезвее, начинал видеть мир в истинном свете.

Назначение получил в Нарьян-Мар. Слал оттуда длиннющие лирические послания. Потом пухлые конверты доставлялись из Ильичевска — места новой работы. Жаловался на скуку диспетчерских обязанностей, провинциальную затхлость своей жизни. Мечтал вырваться в Москву, где на Пятницкой пролетело довоенное счастливое детство. И все ему мнилось, что стоит лишь очутиться в столице, как судьба переменится.

«Срочно вышли десять рублей тчк Марк». Пожалуй, он меня удивил этой телеграммой. Деньги я, конечно, отправил тотчас. А при встрече спросил:

— Что у тебя тогда стряслось, что послал депешу?

— Решил проверить друзей — и всем отбил одно и то же. Отозвался только ты.

— А если б все?..

— Вставил бы зубы.

В Москву Марик возвратился, женившись на Инне. Она не походила на девушек, в которых он обычно влюблялся, но привязался к ней, женой была хорошей, преданной. Родилась Ленка — теперь, казалось, наступил покой.

Иннина семья — Ладыженские. Происходили из Тирасполя. Рауль Моисеевич, уважаемый в нашем городе врач, был в тридцать седьмом году обвинен во вредительстве и сгинул. Близким его досталось лиха, потому после эвакуации они осели в Кишиневе, чтобы поме-

нять обстановку. Окончив десятилетку, старший сын Володя пробился в Московский областной пединститут, затем и младшая дочь Инна поступила в Ленинградский пищевой. Вдова, Фаня Давыдовна, исхитрилась получить за кишиневскую квартиру комнатку в Москве — только бы быть еще дальше от места, где несчастье постигло мужа, где каждое лыко было в строку родственникам «врага народа».

Постепенно все собрались вместе. Володя, удачно выступавший в самодеятельности, перескочил на профессиональную эстраду, в конферанс. Инна устроилась инженером-технологом на заводе, Фане Давыдовне довелось работать не то приемщицей, не то ретушером в фотографии.

Марик влился в эту дружную, спаянную, сбитую горем семью, но не стал в ней своим. Его приняли как необходимость, как неизбежность: дочери и сестре нужен супруг. Всегда оставался зазор — почти неуловимое для посторонних отчуждение.

Когда Ладыженские надумали эмигрировать, Марику пришлось признать: да, причины веские. Главное — обида за отца. Второе — артиста не пускают в зарубежные гастроли. Ну, и быт, конечно. Инне надоело в коммуналке с воинственными соседями, а видов на самостоятельное жилье — никаких. Марик обещал поехать через год после отлета тещи и зятя.

Минул год, и засобиралась Инна, и принялась тормошить Марика. Он тянул с решением, ссылаясь на родителей, хотя те и не были против, и даже нужную бумагу об отсутствии к сыну материальных претензий выправили. Ему ли было не знать, что в душе они не готовы к предстоящей разлуке навечно?..

Наконец, Марик сказал «да», вызов получен, назначили дату похода в ОВИР. Требовались справки со службы.

Инне справку выдали вместе с расчетом. На следующий день и Марик отправился в свой НИИ.

— У нас до сих пор не было ничего подобного, — упрекнул директор НИИ непатриотичного сотрудника. — Надо проконсультироваться. Приходите завтра.

Назавтра директор призвал себе в помощь секретаря партбюро и председателя местного комитета.

— Значит, бросаете, предаете Родину? — начал секретарь.

— Так сложились обстоятельства — год назад уехали мать и брат жены, — объяснил Марик.

— Вы муж или не муж?.. Прикажете жене выбросить дурь из головы.

— Я пытался — не получается.

— Пусть уматывает одна!..

— А дочка? У нас же дочка пятнадцати лет.

— Отнимем у изменницы-матери дочку.

— Как можно?..

— Девочка вырастет — не поблагодарит, что ее увезли к буржуйам.
— У тебя ж родители живы — неужели бросишь стариков? — задел за большое председатель месткома. — Жену-то и другую найти можно, мать с отцом — никогда...

Марик плакал, передавая мне этот разговор. Его ломали битых два часа и отпустили со справкой, удостоверяющей, что он не возражает против отъезда Ленки с Инной, — подпись заверили, печать поставили.

Инна, увидев принесенную бумагу, сказала:

— Мне обратного пути нету. Поедем без тебя.

Договорились о встрече втроем на Страстном бульваре.

— Вы не должны разлучаться, — как заклятье твердил я Инне и Марику, будто предчувствовал беду.

— Немного поживу один, дозрею. И родители поймут, что нельзя без семьи, — говорил он.

— Господи, сколько нужно, столько и буду ждать. Только приезжай! — твердила она.

1 сентября 1976 года в Шереметьевском аэропорту провожали Инну и Лену Гординых. Был унижительный таможенный досмотр, чего-то не пропускали. Все разнервничались и даже толком не простились. Марик глотал слезы, не в силах вымолвить ни слова.

После проводов сидели в кафе «Охотник» на улице Горького, глушили водку. Вроде, полегчало. Только Марик не успокаивался, не мог себе простить, что накануне вечером ударил Ленку, без спросу убежавшую в кино с подружками и заставившую волноваться мать.

— Она мне этого никогда не забудет...

Мы как раз на неделю отлучались из Москвы, и я предложил Марику пожить в нашей квартире. Он охотно согласился.

Когда вернулись, нам показалось, что ему удалось побороть отчаяние. Ты оставила нас вдвоем. И тогда услышал признание:

— Отдельная квартира — это хорошо. Только мысли разные в голову лезут... Хоть руки на себя накладывай.

— Сказал — значит, никогда не сделаешь! — Я не нашел ничего лучше успокоительного психологического стереотипа.

Он метался, пил, сблизился с сослуживцем — тихим алкоголиком. Тот уговаривал Марика креститься:

— Церковь тебе поможет.

— По моему, сначала надо поверить. И разве в обряде суть?.. — Притертый другом к стенке, я не мог скрыть своего отношения к обращению в христианство. Марик отвечал, что не безбожнику говорить такое. Сослуживцу ведомы тайны познания высшего, ему, полилоту и златоусту, доступно мистическое откровение, а что изгнан из АПН за пьянку, так это лишнее доказательство в его пользу.

Тебя не было дома, когда Марику удалось навязать мне их с сослуживцем визит. Заявились тепленькие, с бутылкой «Старорусской» в порт-

феле. Я собрал на стол. Опрокинули по рюмке, закусили. Марик стремился вызвать нас на открытую доверительную беседу. Не получалось. Второй гость отводил глаза, держался как человек с нечистой совестью.

Напряженность снял твой приход. Подкинула что-то, связанное с религией. Сослуживец оживился и, действительно, обнаружил эрудицию в теософских вопросах.

Вскоре я отбыл в месячную командировку, а когда вернулся, Марик объявил, что 6 декабря подал на выезд.

— Ну, слава Богу, теперь успокоишься! — подбодрил его я.

Вопреки ожиданию, он не обрел душевного равновесия. Перестал есть, спать. И плакал — теперь и всегда чувствительный, мой друг плакал по любому поводу. Без врачей было не обойтись.

В психоневрологическом диспансере давали направление в стационар — отказался:

— Назовут сумасшедшим и не выпустят, — делился Марик со мной своими опасениями.

Ограничился таблетками, которые прописал невропатолог, по-прежнему искал облегчения в вине, пускался в бесконечные, надрывающие сердце обсуждения — ехать или не ехать — с товарищами, знакомыми. Подсел к старикам, играющим в шахматы на бульваре.

— У меня жена и дочь в Америке, зовут к себе. Как, по-вашему, ехать или не ехать?..

Инна слала нежные письма, сообщала, что все налаживается, только бы он быстрее соединился с ней и с Ленкой. Вскользь заметила — счет на их трехкомнатную квартиру в Бостоне заполнен на его, Марика, имя.

Писала и Ленка. Он зачитывал вслух слова дочкиной любви и говорил:

— Это неискренне. Ее мать заставляет. Не забыла пощечину...

— Дети не злопамятны, — уверял я его.

— Свою дочку я лучше знаю. Нет, нельзя мне туда. Буду им в тягость. Не хотят расстраивать — вот и врут: хорошо, хорошо...

— Тогда ты там еще нужней!..

— Пашка, ты не бывал на Западе, а мой новый друг исколесил его вдоль и поперек. И он предупреждает: пропаду я в Штатах. Откажись, говорит, пока не поздно, найдем тебе женщину, обвенчаешься по церковному — и заживешь, в ус не дуй...

— Он не агент КГБ — твой новый друг?..

Разрешение ожидалось во второй половине февраля. ОВИР медлил. Марик совсем терял самообладание.

— Откажут. Не пустили же работать за границей из-за... Львовича. Гордин Марк Львович! Ежу ясно, без еврея не обошлось. Толку-то, что числюсь русским!

— Дурачок! Тут тебе и поможет еврейская половинка. Женский праздник на носу, почта загружена, потому и нет открытки.

Первого марта он позвонил:

— Приезжай. У меня Борька. Разругался с женой и переселился ко мне. Сидим, пьем, тебя ждем...

В тот вечер я был занят, пообещал навестить их на другой день.

Они, как и вчера, бражничали — наш земляк Борис, Марик и его сослуживец. Невесело было за столом в чернильных пятнах портвейна-бормотухи. Налили и мне. Проглотил, превозмогая отвращение.

— Павлик, ты сказал, что он, — Марик кивнул в сторону сослуживца, — агент КГБ. Я спросил, так ли это. Нет, говорит.

Я твердо посмотрел на подозреваемого, и тот впервые не отворотил взгляда.

— Да, сказал.

— Был агентом, — произнес сослуживец, — но не догадывался об этом. А когда узнал, сразу порвал.

— Порвал?..

— Конечно, я на крючке. А ты не на крючке?.. Все мы в одинаковом положении — и ты, и ты, — указывал он пальцем на каждого из присутствующих, — все!

— Так что мне делать? — растерянно спросил Марик.

— Держись своего решения, — посоветовал Борис.

— Чего ему там искать? Он ведь русский человек, — возразил сослуживец.

— А как в Совфрахт сунулся, оказался евреем, — напомнил Марик.

— С евреями не соскучишься, — сказал Борис. — Моя Лида двадцать лет проработала на заводе, в цеху, надоело ей. Попробовал в НИИ устроить с помощью друга. Тот переговорил, с кем надо, велел обратиться в отдел кадров, а там — отказ. «Что ж ты меня перед женой позоришь?» — предъявляю претензию другу: «Ты ж не предупредил, что она у тебя еврейка...»

— Теперь я понимаю и тех, которые едут, и тех, кто возвращается и потом пишет покаянные статьи в «Известия», — горько сказал Марик.

Я ушел за полночь, торопился — не опоздать бы на метро. Марик вызвался проводить.

— Как же я тебя люблю! — с хмельным воодушевлением воскликнул он, когда мы вышли.

— Не женщина, нечего объясняться в любви! — грубо оборвал я его. — Лучше не болтал бы лишнего — поберег бы меня...

— Не волнуйся, он свой.

— Левка — тоже свой. А к чему привела твоя трепотня?..

Помнишь, инцидент на школьном юбилее? Обвинения в сионизме, что обрушил на мою голову Дронин, были невольно спровоцированы Мариком. Мне стало об этом известно сразу же по возвращении в Москву.

Позвонил Марик, говорил заплетающимся языком:

— Паа-шка, срочно нужно п-овидаться...

— Ты пьян!

— Да, мы поддаем, — услышался в трубке дронинский голос, — но ты нам нужен.

— Мы с тобой уже обо всем договорились.

— Пашка, не держи зла, — умолял Марик.

— Я хочу извиниться, — вставил Левка.

— Ладно. Вы где?

Через час мы сидели в ресторане Центрального дома журналистов.

— Подайте друг другу руки, — попросил Марик. — В вашей ссоре виноват я. Поделился с Левкой планами об отъезде. Он: «Какого мнения Пашка?» Ну, сказал, что ты одобряешь.

Дронин стал оправдываться, я его оборвал.

— Пусть лопушок посмотрит Америку, сравнит, — говорил Левка, будто Марика здесь и не было. — Один, без жены пропадет...

— Не смогу я без России, без березок, — жалился Марик. — В петлю полезу.

— Чего уж проще — дважды вешался, — сказал Дронин в свойственном ему стиле ленивой бравады.

Когда-то, в восьмом классе, он уже рассказывал о своих неудавшихся покушениях на самоубийство. В первый раз оборвалась веревка, во второй — вытащил отец.

— Что тебя заставило? — спросил я.

— Дурость.

— А что вразумило?

— До трех раз судьбы не испытывают...

Марик тоже, кажется, слышал тогда Левкин рассказ, но теперь принылся допытываться:

— Что ты чувствовал?

— А ничего.

— И больно не было?

— Сначала больно, потом даже приятно, будто в сон впадаешь. И что-то похожее на оргазм...

Все это происходило летом. Сейчас же мы идем с Мариком к станции метро «Колхозная» — ночь со второго на третье марта семьдесят седьмого года.

— На чьи деньги пьете?

— Сегодня на мои — получил зарплату.

— Много осталось?

— Рублей шестьдесят.

— Отдай мне.

Он вытащил пачку смятых ассигнаций, пересчитал. В пачке оказалось семь десятков.

— Ну, вот что, сказал я, — червонца тебе хватит на два дня? У меня будут целей.

— Всю неделю пили на Борькины. Теперь — моя очередь.

— Пора кончать!.. Я присоединю эти шестьдесят к тем пятистам. Тебя на днях могут вызвать в ОВИР...

Ты знаешь, когда я настоял, чтоб весь Мариков капитал хранился у нас...

Среди причин, мешающих ему ехать к семье, он называл и невозможность собрать тысячу триста рублей. Вычислил, что ровно столько нужно на оплату отказа от советского гражданства, визы, на обменную валюту и экипировку.

— В Европу — голодранцем?.. Нет, куплю приличный костюм и кожаный чемодан! — горячился он.

Потребной суммы не набиралось — Марик пил. Вот потому-то я и предложил отдавать мне деньги на хранение. И еще вызвался собрать у друзей — кто сколько даст — недостающие.

Как рассказать о последнем нашем общении? Девятого утром он сообщил по телефону:

— Наконец-то пришла открытка! Поздравь меня! Ждал, ждал, а теперь не знаю, с чего начать...

— Сходи в институт — объяви, что получил разрешение, подай на увольнение (его держали на работе до последнего дня), попроси подготовить расчет.

— Так и сделаю.

Мелькнула мысль: взять Марика за руку — и всюду вместе, до самого трапа в самолет. Но отогнал ее. Что он, маленький?.. И не получилось бы, что боюсь, как бы не соскочил, выпихиваю. Пусть все сам, в Бостон к Инне и Лене он попадет месяца через четыре. Надо привыкать.

— Держи меня в курсе.

Позвонил вечером:

— Нужны деньги.

— Платить собрался?

— Нет, я никуда не еду. Я вызвал... — Он произнес имя женщины, которую не буду называть. Да, не обошлось без женщины...

— Денег не дам! — крикнул я и бросил трубку. Утром — снова звонок:

— Хоть пятьдесят рублей... ,

— Если встретишь и вручишь обратный билет. Приезжай, я дома до одиннадцати.

— Мне перед Тамарой стыдно...

— Тогда в одиннадцать у нашего метро.

И еще звонок:

- Что у Марика? — интересуется одноклассник, который тоже подумывает об эмиграции.

— Получил разрешение, но хочет от него отказаться. Вызвал какую-то бабу из Кишинева. Деньги, говорит, нужны.

— С этим пора завязывать. Отдай ему его деньги, и пусть делает то, что считает нужным.

Пятьдесят рублей сунул в нагрудный карман, остальные положил во внутренний.

Марик ждал у Текстильщиков вместе с Борисом. Поздоровались. Борис деликатно отошел в сторону.

— Так что ты решил?

— Остаюсь. Мы поженимся, обменяем ее кишиневскую квартиру и мои комнаты на роскошное жилье в Москве — начнем все по новой.

— Она переберется сюда со своими сопливыми, как ты сам говорил, детьми, ты станешь пить еще больше — и тебя выгонят на улицу. А на работе?.. Думаешь, теперь твой директор обрадуется, что остаешься?.. Борька! — позвал я маявшегoся неподалеку земляка. — Чего ты там стоишь? Ты ведь тоже друг. Подойди, послушай, что он мелет. — Борис приблизился, но стоял молчком. — Болтаешься, как дерьмо в проруби! — Кажется, я уже орал. — Для чего затевал всю эту возню?.. И почему именно она, которая для тебя должна быть табу?.. Нет большего падения для мужчины, чем пожелать жену живого своего родича! — Достал деньги. — Тут все... И больше не втягивай меня в свои дела!

Клянусь неотмолимую ту минуту и те слова.

— Паша, зачем ты с ним так? — с укором сказал Борис. — У него ведь душа мягкая...

— Я дам знать, — пообещал Марик.

— Не надо. Как-нибудь дойдет, что у тебя, — бросил я и нырнул в метро.

Сказать-то сказал, но сердце за него болело, и несколько раз просил одноклассника, чтоб позвонил Марику. Он набирал номер. Соседи отвечали, что никого нет. То было десятого.

Вечером одноклассник отбывал в Тирасполь. С Киевского вокзала при мне (я его провожал) он снова пытался связаться с Мариком. И снова безрезультатно.

Все-таки было спокойнее от сознания, что при нем Борис.

Одиннадцатого меня дважды спрашивала по телефону какая-то женщина. Саше голос показался хриплым. Я подозревал, что это она, Марикова зазноба. Потом, тринадцатого, в воскресенье, я ее разыскал в Кишиневе. Она подтвердила, что звонила, а диск вращал Марик. Хотела переговорить еще и перед вылетом, но не вспомнила номера.

— Что он вам говорил при расставании?

— Сказал: «Уйдешь — я повешусь!» С ним что-нибудь случилось?

— Как же вы его оставили?..

— Я бросила детей на больную мать. Мы условились с Марком, что в понедельник он оформит отпуск и прилетит. У меня подруга — врач в психбольнице. Решили, ему надо подлечиться. Он болен. Не могу же я выйти за него, когда он в таком состоянии... Уже в дверях столкнулась с соседями. Посматривайте, сказала, тут за ним — грозил повеситься...

— Нет больше Марика.

Я узнал страшную новость два часа назад. В шесть позвонил Дронин:

— Ты не в курсе, что с Мариком?

— Нет.

— Только что разговаривал с Борисом. Он позвал его к телефону, подошел незнакомый мужчина, отрекомендовался работником милиции. «Вы ему кто?» - «Друг». — «Можете сейчас приехать?» — «Да, только я далеко». — «Ну, тогда жду вас в отделении...» Больше ничего не сказал.

— Борис ведь жил у него...

— Жил, пока какая-то баба не приехала.

— Беру такси, подхвачу вас на площади Революции.

Мы отыскивали отделение милиции в переулке близ Сретенки. Напротив располагалась забегаловка, настоящий гадюшник, рядом с которым всегда толкуются мужики, цедят пиво из захватанных стеклянных кружек.

— Наверно, зашел сюда и с кем-нибудь подрался, — предположил Борис.

Обратились к дежурному.

— Вы насчет Гордина? Восемнадцатая комната.

Поднялись на третий этаж. Нужная дверь была заперта. Стояли рядом, дожидаясь сотрудника.

— Не наложил ли он на себя рук? — сказал Дронин.

Появился молодой человек в штатском, пригласил в кабинет.

— Вы по поводу Гордина? Кем ему приходиться?

— Другья, — сказал я.

Следующая фраза оперативника до меня не дошла, прозвучала невнятно.

— Но он жив? — спросил Дронин.

— Мертвее не бывает, — ответил оперативник. — Что можете сообщить о причинах самоубийства?..

— Мы сейчас не... нам надо придти в себя. Дайте свой телефон или запишите наши, — сказал Дронин.

У гадюшника происходила обычная жизнь. Компания парней осаживала пену в кружках струей из поллитровки.

— Надо выработать единую версию, чтоб чего лишнего не сболтнуть следователю, — услышал я Дронина. Он понимающе на меня посмотрел. — Ты как думаешь?..

— Зачем?

— Павел, не горячись! — сказал Борис. — Марка нет. Ему ничем не поможешь. Но имя трепать, копать в белье — не надо. Будем у тебя завтра после семи и все обсудим.

На другой день мы процедили правду. О женщине — ни слова. Эмигрировали жена и дочь. Тосковал по ним, но и бросить отца с матерью, Родину не мог. Разорвался.

Прилетела сестра Лида. О несчастье ей сообщили кружным путем, через подругу, чтоб не убить телеграммой стариков. Вопреки ожиданию, Лида держалась мужественно.

— Где он? Оставил записку?

— Надо спросить у следователя.

Поехал с ней в милицию. Молодой оперативник достал из сейфа дело, извлек несмятый бумажный лист, ничем не отличающийся от того, что сейчас передо мной:

«Дорогие мои папа, мама, Лидочка, Наташенька!

Простите.

Надоело мучиться, надоело страдать.

Вчера сделал непоправимую ошибку.

В этой жизни все осточертело и обрыдло. Та — пугает, тревожит...

А в общем-то не могу я приспособиться ни к той, ни к другой жизни.

Надоело жить.

Простите за причиненную боль. Но мне тоже очень гадко.

Прощайте!

Иночка и Павел были во всем правы. Они мудрые...

Борис, дорогой, прощай!

Телефон в Тирасполе

95306 (здесь был указан и телефонный номер женщины)

Деньги и все прочее

Лиде и Наташе.

Я не первый, я не последний».

Оперативник сообщил, что в пятницу, одиннадцатого, Марик в сопровождении знакомой был в ОВИРе. Он отказался от разрешения на выезд, и тут с ним случилась истерика. Заявление пришлось составлять женщине. Он только подпись поставил.

При выходе из кабинета следователя нас с Лидой перехватили два сослуживца Марика. Вид у них был виноватый, побитый. Они сочувствуют, администрация соболезнует, какое горе! Вот сумма за неиспользованный отпуск и фактически отработанные дни. При выносе тела кто-нибудь обязательно будет, но на гражданскую панихиду рассчитывать не приходится — тут, знаете, особые обстоятельства.

— Ладно, ладно, — сказала Лида, — мы сами...

Из милиции мы отправились на квартиру. На столе лежала стопка бумаги. Верхний лист повторял последние слова Марика — оставила след шариковая ручка.

Заглядывали помягчевшие соседи, рассказывали, что всю субботу без конца звонили. Они стучали в дверь — ключ торчал в английском замке, — но никто не откликнулся. Он и раньше иногда оставлял ключ. Это не встревожило.

И только в воскресенье, когда утром он не прошел в ванную и потом не появился до обеда, отперли комнаты.

Марик висел на крюке для люстры. Веревку он сплел из синего упаковочного шнура.

Надо было думать о похоронах.

Мы с Лидой колесили по Москве. Взяли в морге справку. Без нее свидетельства о смерти не выдадут. А вместе со свидетельством дали другую справку, по которой пособие на покойника положено. Вот как еще можно выйти из советского гражданства — не полтысячи платить, двадцатку отвалят... Потом покупали гроб, заказывали венки, цветы, автобус и кремацию.

Лида не хотела, чтобы брата поминали в запущенных пустых (две раскладушки, стол и несколько стульев — остальная мебель продана) комнатах. Ты, спасибо тебе, предложила устроить тризну у нас.

Похоронные хлопоты отвлекли. Не нарочно ли все так осложнено, чтобы близкие умершего не имели возможности предаваться отчаянию?..

В последний путь он отправился из морга. Лида сказала, что после отъезда жены и дочки дома в Москве у него не осталось.

Мы приехали, когда Марика еще обряжали. Я подошел к стоявшим группой троим моим соученикам.

— Не уберег ты его, Паша, — встретил меня один.

Не успел ничего ответить да и не ответил бы — позвала Лида: служителью понадобилась какая-то квитанция.

Ты находилась недалеко, расслышала реплику одноклассника.

— Да как так можно! Если человек повесился, значит, виноваты мы все, кто его окружал. И я виновата, и Павел, и каждый из вас...

Я тебе благодарен за эти слова.

И за поминальной трапезой не наступило мира. Подпив, тот, кто меня укорил, и присоединившийся к нему Дронин говорили, что мой это грех, потому что я был с ним ближе всех, и любил меня больше всех.

Сослуживец Марика, порвавший, по его словам, с КГБ, оказавшись рядом со мной, шептал:

— Бога люди забыли, оттого страсти. Я в Шестидневной войне участвовал, орденом Боевого Красного Знамени был награжден, но уверовал и спасся. Не дотерпел Марк... Уже крещение назначили, чуть-чуть не дотянул...

Лида встала, отдала мне часы Марика и сказала:

— Пусть будут у тебя. Ты был его лучший друг.

Теперь эти часы отмеряют мое время.

Часть вторая

ТРУБА ИСХОДА

Перед отъездом в Америку Леня Дондыш прощался со мной в нашей новой пустой квартире в Текстильщиках. Домочадцы еще оставались на Горького, в коммуналке.

Я лезил по полу тряпкой, смоченной растворителем, очищая линолеум от потеков масляной краски, а друг стоял над моей головой и торопил минуты расставания:

— Не провожай. Нечего сердце рвать...

— Меня и не будет в Москве. Отбываем с Сашей в Коктебель. Путевки с зимы заказаны.

— А Тамара?

— Тамара остается за тещей ухаживать — кладут в больницу Марию Федоровну.

— Что у нее?

— Радикулит,

— Так ли?.. Нет ли там рачка?.. В общем, послушай меня: пока жива Мария Федоровна, никуда ты не двинешься, а потом — готовь Тамару. Ее нелегко будет убедить...

— Знаю. Но созрел ли я сам?..

Под конец Леня сказал:

— Разбогатею в Штатах, найду способ помочь тебе. Но не засиживайся...

Мы крепко обнялись. Увидимся ли еще?.. Тогда эмигранты исчезали вернее, чем покойники. С теми в загробном мире была надежда встретиться...

В Коктебеле мы с дочкой старались надыхаться морем после московской духоты. Саша только что закончила первый класс престижной английской школы на улице Станиславского, устала, но пригубила элитарности. Без мамы-поэтессы снова оказалась среди простых смертных. Нас поселили в заштатном крайнем коттедже вместе с другими, такими же, как мы, второсортными постояльцами: членам семьи писателя не положено то, что ему самому...

И все равно было хорошо. Вот только косы заплетать — морока. Пока расчешем длинные, ниже колен густые волосы, измучаемся оба.

Звонили чуть ли не каждый день в Москву, выстаивая в вечной очереди.

— Отдыхайте, набирайтесь сил, — наставляли нас Тамара. — У мамы не находят ничего подозрительного. — Больше ни о чем и говорить не могла.

Быстро пролетела коктебельская пауза. Мы вернулись домой. И я первым делом поспешил в больницу. Еще вчера лечащая врачаха

успокаивала Тамару: «Все нормально!» Со мной, зятем, она не церемонилась:

— Нам, действительно, очень долго не удавалось обнаружить причину радикулитных болей. Теперь картина ясна — цирроз печени, метастазы проросли в костную ткань...

— Цирроз печени — болезнь алкоголиков. А Мария Федоровна, кроме лафитничка вина по большим праздникам, сроду не пила.

— К сожалению, диагноз правильный.

Привезли не больную — умирающую в новый наш дом в необжитых еще Текстильщиках. Когда оставались с ней вдвоем, теща спрашивала:

— Павел, сколько мне еще?.. Ты врать не любишь, скажи, как есть.

— В том-то и спасенье, что один Господь это знает, — отвечал я, неверующий, своей теще-безбожнице.

В Литфондовской поликлинике сердобольный главный врач Вильям Ефимович Гиллер, — в войну, говорили, он командовал санитарным поездом, — выделил без счета ампул промедола, назначил медсестру — делать инъекции. Она приезжала утром и после обеда. Но если нестерпимые боли подступали в промежутках, вечером или ночью, хвататься за шприц приходилось мне...

Со школы не давал себя колоть. Других кололи — отворачивался, одолевая противную тошноту, боясь, что упаду в обморок. Нужда заставила позабыть о своей слабине...

Ровно на месяц растянулся уход Марии Федоровны. Мы дежурили по очереди. Я давал тебе отдохнуть, чуток поспать. Ты же хотела быть с матерью безотлучно.

Агония началась в третьем часу в ночь на двадцать восьмое августа. В первый раз видел это, когда умирал твой отец. И вот снова... Бросился тебя будить. По моему разумению, в такой момент рядом должен быть родной человек.

Я не стал ей сыном, да и не мог стать. Так и остался зятем, хотя хорошая у меня была теща. Благодарен. Если иной раз возникали ссоры между тобой и мной, всегда принимала мою сторону: «Павел — он здесь один, а нас — двое».

Ладил тризну, запасшись бутылкой кагора, любимого Марией Федоровной. А вот открыть и налить ей в лафитничек, положив сверху кусочек черного хлеба, не успел...

Рассаживались после крематория за столом, и вдруг кагор рванул, да так, что темно-красной струей обдало Леву Нудлера в белоснежном офицерском кителе. Покойная будто подавала знак. Какой? Среди поминальщиков большинство были ее ровесники — старики. А полковнику Леве, мужу племянницы, едва сравнялось пятьдесят. Но к нему первому явилась смерть...

В крематорий в положенный срок я поехал один, без Тамары. И так подгадал, чтобы вернуться в ее отсутствие. Спрятал урну в дальнем

углу шкафа и принялся звонить жениной кухне Софье Мироновне Жирмунской.

После кончины тестя десять лет назад уже обращался к ней за тем же самым — за разрешением захоронить прах в фамильном склепике.

Этот склепик и был в свое время сооружен тестем для единокровного старшего брата Мирона, умершего в девятнадцатом. Разница в возрасте братьев составляла тридцать четыре года, что и привело впоследствии к родственным курьезам: Тамара, например, уже в детстве обзавелась двоюродными внуками.

Склепик на Введенском, оно же Немецкое кладбище, превратился в семейную усыпальницу — в тридцатые годы умерла вдова брата. И устроителю место здесь полагалось само собой.

Оно бы хорошо. Но еще одну надпись негде выбить на гранитном камне. Пришлось поднимать его автокраном, отвозить в мастерскую, шлифовать лицевую сторону и на ней убористее выстукивать имена и даты. Уж сколько пол-литр спойл я мастерам — не счесть. Зато услужливы были и покладисты. И выгадана была площадь даже на будущее.

Книжечку сусального золота припасла Софья Мироновна. Я оплатил потраченные на тестя листки, и новые буквы и цифры засияли.

У Марии Федоровны не было столь же безусловного, как у мужа, права на склепик. Однако, не разлучать же супругов после смерти. Потому-то мне и пришлось тревожить опять Софью Мироновну. Будь она на похоронах, можно было бы обойтись без телефона, сразу бы все и обговорили. Только Софья Мироновна проститься с некровной теткой не пришла. Возможно, избегала кручинящих впечатлений, не так давно проводив на тот свет одного за другим двух своих мужей. А может, испугала эта смерть — ведь Марья Федоровна была ее двумя годами младше...

Наконец я дозвонился. И был сама деликатность.

— Софья Мироновна, извините за беспокойство... Мне приходится прятать урну Марьи Федоровны в шкафу, чтоб не травмировать Тамару и Сашу. А без документа на кладбище и разговаривать не будут...

— Да, Павел. И это в последний раз. Больше из вас я никого там хоронить не позволю.

Каково? Уж не думает ли она пережить кого-нибудь из нас троих, кому всем вместе не так уж намного больше лет, чем ей одной?!

Потом, когда прослышала о нашем «безрассудном решении», мы для нее, действительно, умерли. И оправдывалась Софья Мироновна тем, что боится испортить дипломатическую карьеру внука. Этот внук — Андрей Козырев — правда, ненадолго, стал российским министром иностранных дел, но не терзается ли в горних пределах бессмертная душа Софьи Мироновны из-за того, что отступилась от родни?..

По весне мы обустроили с женой многонаселенную могилу. Я заново покрасил ограду, починил скамейку. Александр Владимирович и Марья Федоровна довольно глядели на наши хлопоты с фаянсовых овалов, врезанных в розовый гранит.

Ну, а осенью, как созрели ландыши на даче у знакомых, мы, по их совету, выкопали растеньица с луковичками и пересадили в цветочницу над бетонной крышечкой склепика. Теперь, верилось, ее долго не надо будет ворошить. Нам было обещано, что если ландыши примутся, то в тени кладбищенских деревьев проживут не один год, не требуя ухода.

Не требуя ухода — это меня устраивало. Я всерьез подумывал об отъезде и знал, что сколько не заплати вперед кладбищенской службе, положиться на нее нельзя. Потомки же Софьи Мироновны редко проводывали усопших предков.

Догадывалась Тамара о моих планах? Наверное, да. Когда тебя неоступно терзает однажды запавшая в сознание мысль, ты не можешь не обмолвиться о ней, не выдать себя.

А постоянные разговоры в нашем окружении, проводы отбывающих? Все, кто в эти годы покинул страну из родных и друзей, проходили через нашу квартиру. Исключения бывали редки. Движение поднималось с юга — из Молдавии, Крыма, Буковины. Я же и после долгих лет жизни в столице не превратился в москвича. Душевные мои связи оставались в провинциальном прошлом. Как мог я отказать этим людям в гостеприимстве?

Тамара давно смирилась с тем, что давать приют в своем доме надо не только мужниной родне, но и его землякам, оказавшимся в Москве без крова. Даже когда еще обитали в одной комнате, и при Марье Федоровне за ширмочкой, мне приходилось иногда ночевать на раздвинутом столе, благо, был он большой старинный, еще бабушкин, а все потому, что в полночь позвонил кишиневский приятель, которому и по командировочному не предоставили койки в гостинице, вот я и уступал свою раскладушку.

И лишь однажды после очередного такого налета жена спросила с напрягом в голосе:

— Милый Павел, ты можешь сказать, сколько у тебя таких закадычных?..

— Не считал.

— А ты сосчитай и сообщи цифру, чтоб я знала, много ли еще постояльцев ждять.

В новой отдельной квартире на сорока четырех метрах с приезжими стало полегче. Теперь у меня была своя комната с полутораспальной тахтой, в лоджии стоял топчан, по дешевке купленный в поликлинике, когда мучился позвоночником, и еще сохранялась раскладушка, служившая моим ложем с добрый десяток лет. А при полном

переборе в дело шло и раскладное кресло, приобретенное специально для мамы еще в первые ее гостины на Горького. В общем, принять было и где и на чем.

Жена воспринимала отъезжантов-эмигрантов как несчастных людей, по собственному неразумию ломающих себе жизнь, обреченных скитальцев с безвестной чужбинной судьбой. И по-христиански их жалела.

Пустить в свой дом — это не просто дать пристанище и пищу. Надо вникать в чужие печали и хлопоты, помогать неискушенным провинциалам ориентироваться в столице — в нашем бездушном Вавилоне, наконец, возить в разные концы. И порой по адресам, где светиться опасно: КГБ эти точки блюл, сомнений не было.

Рассказывали о таком случае. Некий военный в немалых чинах, переодевшись в штатское, осмелился явиться на вокзал — проводить фронтового товарища. Его засекли. И в наказание поперли из армии. Свирипствовала Софья Власьева...

А при мне однажды случилось так. Улетали мои тираспольчане. И любимую собаку увозили. Взяли, как положено, справку у ветеринара, синий билет, заказали клетку. Все это обошлось в круглую сумму. Пришли таможенники, разобрали клетку — бриллианты искали. А собрать до рейса — времени не осталось: пропустили самолет.

Отсидели сутки в аэропорту. Наступила снова очередь проходить через позорные турникеты. И тут кто-то из контролеров услышал, как звякнули медали под плащом у отца семейства, когда тот остутился на своем протезе.

— Что там у вас, — спросил таможенник, распахивая плащ на инвалиде. — И «За отвагу» нацепил?.. Нельзя вывозить. Немедленно сдайте.

— Мне эту медаль за отрезанную ногу выдали...

— Сказано, нельзя!

Мой земляк бережно снял награды и передал племяннику, который пока еще оставался в Союзе, потому что только недавно демобилизовался. Выпустят его лет эдак через пять.

Я не сдержался — пристыдил молодого цербера. Хорошо, обошлось без последствий...

Примерял ли на себя эмигрантскую судьбу? Да, примерял. И не находил ответа — для меня ли она.

А для Тамары?..

О Саше думал.

Но все отъезжающие главным образом и оправдывали свое решение заботой о будущем детей: вот кому легче всего дается перемещение в пространстве, вот кто безо всяких потерь адаптируется к другой жизни, к чужому языку. Наоборот, проблема в том, чтоб свой родной с годами не забыли. И не забудут, если отцы да матери не перестанут говорить с ними по-русски.

Имею ли я право навязывать дочке заокеанскую судьбу, лишать ее того, что изначально и единственно, — земли предков? Пусть сама, как вырастет, сделает сознательный выбор... Да ведь столько десятилетий была на запоре граница! И долго ли останется приоткрытой? Исключение — только для евреев и только теперь.

И не ты ли сам мысленно корил деда за то, что не воспользовался случаем — не увез маму в двадцатых, пусть это и исключало ее встречу с папой, значит, и твое появление на свет?..

В самом ли деле необходимо все бросить, чтобы изменить собственную жизнь?

Иначе не получится, коли застыло, заколодило кругом на веки вечные. Нет сносу режиму при медленном зловонном гниении. И тебе хватит до окончания дней. И после — тоже.

Сравнивал две биографии — двух стариков Александра и Виктора Жирмунских, тестя и его младшего на пять лет брата.

Первый из кандидатов права — в вольноопределяющиеся, с мировой войны после ранения — на гражданскую, потом трясся вместе со страной в постоянных передрыгах, спал с котомкой в большой террор. Не спал вовсе в период борьбы с космополитами. Недосчитался Бог знает скольких кузенов и прочих родичей. И дотянул в таких-то радостях до семидесяти двух лет...

Ну, а Виктор с женой-балериной при Дягилевской группе ускакал за границу. Также хлебнул в эмиграции и бездомовья, и бегства от немцев, захвативших Париж. Потом была новая эмиграция — уже в Бразилию, возвращение в Европу после победы — в Лондон. Перемещения эти, сопровождавшиеся, конечно, всякими тяготами, были не без приятности, если и на десятом десятке дядя Витя нашел в себе силы навсегда перебраться в Рио к дочери, которая вышла там замуж в военную еще пору.

Где родился — там и пригодился... Мудро, почти как всякая поговорка. И ограниченно, как любая прописная истина.

Вот я вывалился в этот мир — вывалился в прямом смысле — в знаменитых теперь, после приднестровского конфликта Дубоссарах. Первородка мама, никак не ожидая от меня такой прыти, очень боясь мук, которые сопутствуют появлению ребенка на свет, села в автобус и поехала в эти самые Дубоссары к бабушке. Шестьдесят километров и тогда при регулярном автобусном сообщении не были неодолимым препятствием. Весь путь от дома моих будущих родителей в Тирасполе до дома родителей мамы в Дубоссарах занимал каких-то два часа.

Увидев на пороге беременную дочь, бабушка запричитала:

— И что ж ты, горь мое, с таким животом отправилась в дорогу. А схватки начнутся?.. Ой-ой-ой! В нашей глухомани и врача приличного нет. Не то, что в вашем столичном Тирасполе.

Тирасполь тогда был главным городом Молдавской автономной республики.

Как ни упиралась мама, как ни пыталась разжалобить несговорчивую родительницу, та отвела ее на автостанцию и отправила обратно ближайшим рейсом.

До Тирасполя маме кое-как удалось дотянуть. Но тут её снова одолели страхи, и снова она пустилась в Дубоссары. Видно, на небесах было предначертано мне родиться в Дубоссарах именно в этот день 30 сентября 1932 года. Как в сказке, трижды проехала мама эти злощастные шестьдесят километров. И так напоследок растрясло, что едва успели довести до местечковой больницы, где я и выпал прямо в руки сноровисто подхватившей меня акушерки.

Значит, не случай определил место моего рождения? А жил я в Дубоссарах у деда с бабкой лишь до войны в короткие наезды. Исключение составила та долгая зима с тридцать седьмого на тридцать восьмой год, когда посадили отца. Еврейское местечко — штэтл приютило мальчишку-полусироту, которому суждено было здесь появиться на свет.

Летом сорок первого прекратилось существование Дубоссар как места, где обитали евреи. Их расстреляли на днестровском берегу. Тех, кто не эвакуировался, — не успел или не захотел... Осталось одно только географическое название. Да записи в моих метрике и паспорте...

Почти девять моих предвоенных лет связаны с Тирасполем. Следующие три с половиной года прошли в Алма-Ате. Потом опять Тирасполь до пятидесяти первого — года окончания средней школы. Пять лет учебы в университете — это Кишинев. Первая настоящая работа — Караганда, два года. Снова Кишинев с пятьдесят восьмого по шестьдесят третий — еще пять лет. Ну, а остальные приходятся на Москву.

Да, дольше всего я жил именно в городе на семи холмах. Но сделался ли здесь своим, нашел ли здесь себя, сгодился ли?

Служил в редакциях, сотрудничал в газетах и журналах, писал сценарии, снимал фильмы для кино и телевидения, переводил прозу. Только никогда не оставляло чувство своей навязанности и ненужности.

Так, возможно, полез не в свое дело? Была бы реальная профессия, все сложилось бы по-другому. Сам виноват! И дарование мое сомнительного качества. И характер нетверд...

Не от одного коллеги слышал:

— Эх, был бы я в ладу с математикой да с физикой, разве бы подался в шелкоперы?

Но я-то всегда шел в классе среди первых в точных науках. И естественные легко давались. Мог бы стать врачом — типично еврейская специальность. И все довольны.

Только втемяшил себе в голову, впрочем, не без помощи учителей, что у меня литературные способности. Стихи писал, сочинения на так называемые вольные темы удавались. Потерпел неудачу на отделении журналистики МГУ. Поступил в Одесский институт инженеров морского флота. Так что понесло еще до начала занятий из корабелов в филологи? Отчего ж так настырно стремился в гуманитарии? Представлял ли, что ждет в будущем, когда выучусь на журналиста? Ну, конечно, работа в столичной газете, заграничные поездки. С моим общественным темпераментом, при комсомольской активности с младых ногтей в таком-то деле наверняка буду на месте...

Отчего влекло меня к занятиям, связанным с русским языком? Да я просто был в него влюблен, как и в отечественную классику. Упивался самым звучанием родного слова. Именно родного. Другого не знал. И это в Приднестровье, где никто толком и не говорил по-русски, а чаще здесь изъяснялись на «суржике» — смеси украинского с русским, приправленной еврейскими и молдавскими речениями, а акцент был, как у жителей соседней Одессы-мамы.

Сам я навсегда избавился от такого выговора во время войны в Алма-Ате.

Бывшую крепость Верный населяли семиреченские казаки. Их великорусский отличала одна особенность — чалдонское чоканье. В остальном это был удивительно чистый и правильный, почти литературный язык. По-мальчишески ловко усвоил его, и больше не угадывали во мне южанина.

Впоследствии, приезжая на побывку к маме, я чувствовал, что в разговорах с местными естественнее звучит местный же диалект и пластично возвращался к нему. Мой знак зодиака — Весы. Они предполагают гармонию с окружающим миром... Иначе не поняли бы меня, сочли московским ломакой.

Мечтал ли о писательстве? И думать не решался. Слишком любил литературу, чтобы посягнуть на нее: шедевры удаются избранным. И недостаток воображения ощущал.

Нет, журналистика в самый раз.

Хотите — верьте, хотите — нет, мне свойственна природная грамотность. В четыре года — еще пешком под стол ходил — научился читать и никогда не расставался с книгой. Наверно, это и помогло. Иначе как объяснить: правил не знаю, а пишу правильно?..

И слова диковинные неведомо откуда засели в башке.

Есть такая игра: берется толковый словарь русского языка и устраивается состязание: кто знает больше слов из любого подряд десятка. Всегда был первым. Не хочу ли этим сказать, что владею великим и могучим в совершенстве?.. Нет. Но лучше многих.

На третьем курсе преподавательница современного русского предложила заковыристый диктант, рассчитанный на то, чтобы повергнуть ниц даже самонадеянных филологов. Испытание, действитель-

но, трудное. Положительные оценки получили только два студента. Одним из них был я, хотя и не отличался особым рвением в учебе.

Но, если что-нибудь меня захватывало, тут я зарывался в науку глубоко, пусть даже и пренебрегал методологией, то бишь марксистской подкладкой всего и вся.

Впрочем, экзаменационные сессии сдавал на пятерки. Так ведь потому старался, что повышенная стипендия позволяла чуть-чуть из бедности выкарабкаться.

Больше все же занимался тем, что доставляло удовольствие. И, как ни странно, парадоксальные — невпазд — высказывания на семинарах, неожиданные гипотезы в виде курсовых, ответы на экзаменах, ставившие порой в тупик испытующих, создали мне репутацию перспективного студента. В конце концов кафедра литературы решила, что я достоин аспирантуры.

От ученой карьеры меня избавила замечательная национальная политика. Ее еще называли ленинской. Она наглухо перекрыла евреям дорогу в науку. Искреннее ей спасибо за это. Не то усохнуть бы мне от скуки.

Когда в Караганде, работая в газете, я почему-то поступил на вечернее отделение электромеханического факультета горного института, то, должно быть, подсознательно стремился постичь реальное дело. Для журналиста оно и вправду было бы хорошим подспорьем. Но не вцепился мертвой хваткой, бросил горный, лишь только назначили замответсекретаря — рабочий день не нормирован.

Ошибка, о которой часто потом жалел. Причины были... Будь жив отец, наверно, не позволил бы — отсоветовал приобретать профессию, что не гарантирует твердого заработка.

А мама? Да, мама и сестры — постоянное женское окружение и культивировало во мне беспочвенную мечтательность и отрыв от реальности, хотя положение семьи, напротив, обязывало быть мужчиной.

Только троюродный дядя Аркадий дал однажды практичный совет: — Иди в строители. Вон сколько разрушений после войны...

Не послушался бывалого человека.

И еще один зигзаг судьбы мог бы увести от витания в эмпиреях. Это когда непрактичная мама, не спросивши моего согласия, определила меня в строительно-энергетический техникум. Недолго я там продержался.

Да, видимо мне на роду написано — век вязнуть в словесных тенетах. Если не филолог, то журналист. Если не переводчик и критик, то кинодраматург. Мало, что без верного куса хлеба, так и угораздило в самое пекло...

Посягнул-таки на святая святых. Охранители предупреждают инородца: «Не замай! Оставь в покое российский глагол — самое сокровенное из созданного народом, гордость нашу...» Не внемлет. Много, слишком много евреев среди работающей со словом публики. Загля-

ните в справочник Союза писателей. Или изучите состав нашей гильдии сценаристов. Через раз — жидовская морда. Ну, как остаться безучастными Куняеву да Шафаревичу? .

А не проследить ли нам между делом этимологию фамильного прозвища автора «Русофобии»? Шофар — рог на иврите. И по-древнееврейски. Да не простой рог — ритуальный, в который трубят по религиозным праздникам. Может, есть какая связь между этим рогом и родовым именем разоблачителя «малого народа». Не ново, что в жидоморстве особо лютуют именно ренегаты.

Может, потому так неистовы охранители, что среди пархатых бездарей больше? Да если б даже и так, три первых русских поэта в двадцатом веке — Мандельштам, Пастернак и Бродский — еврейских кровей. Не достаточно ли и для оправдания остальных?.. Почву-то унавозить надо!

Среди прозаиков — Исаак Бабель, Василий Гроссман.

Среди философов — Лев Шестов, Семен Франк.

Не стану продолжать. Списки могли бы быть внушительнее... Еще деды этих корифеев русской культуры не ведали другого языка, кроме идиш. Внуки уже вошли в пантеон русской культуры. Осатанеешь, коли ты антисемит...

И это — только из чистокровных, так сказать. А половинки? Лев Аннинский, который сам из них, где-то выудил: по бывшему Советскому Союзу этих самых половинок было двадцать пять миллионов. Сколько тогда тех, кто с легкой прожидью? .

Чужак, выучивший русский, подчас говорит на нем правильнее исконного русака. И охранители не прощают этого. Но я-то не выучил. Он мой родной, изначальный, незаменимый. Почему же невтерпёж сторожам российской словесности, когда в ней работают подобные мне?

Не упомянуть уже, сколько поколений моих предков жили и трудились на этой земле, поливали ее своими потом и кровью. Но не признают за мной права жить здесь на равных с представителями так называемых коренных национальностей. И самое печальное, что и я не настаиваю на таком праве, как будто не мой отец лежит в братской могиле под Ливнами.

Или, может, я уже отделился душевно, внутренне эмансипировался, и справедливо видеть во мне чужака, отщепенца? Нет, тысячу раз нет! Надо ли подтверждать свою растворенность без остатка во всем русском, если оно подлинно родное. И что же? Тебе отвечают недоверием и подозрением в притворстве, а двурушничество и неискренность, корысть и подлость считают неперемненными твоими свойствами.

Что за доля такая? Ты постоянно должен предъявлять доказательства того, что не хуже других — не хуже большинства...

Надоело!

Тамара спрашивала:

— Ну, чем ты недоволен? Вырос без отца в провинции, окончил заштатный университет, а сейчас — столичный журналист, кинодраматург, переводишь, критические статьи печатаешь...

— И широко известен в узких кругах, — отвечал я затрепанной писательской шуткой, а на душе было муторно.

Отчего же не радовало мое положение в деле, которому отдавался без остатка? Стремился не к славе и большим деньгам. Хотелось уверенности в завтрашнем дне, нормальной работы и, конечно, сносной жизни. Из нужды выбиться. Она ведь не выпускала меня из объятий с сорок первого года. А есть досыта стал только в Караганде, где впервые получил штатное место.

В Москве в штат не брали. И жена была свободным художником. Сдвоенный гонорар обеспечивал очень скромную жизнь. Куда одному? Не выходило у мужика быть кормильцем семьи. Случалось — и вовсе стыд — я приносил в дом меньше моей половины...

В кино платили лучше. Но благополучие это было зыбким, потому что конкуренция жестче. Надзирающих за кормушкой становилось все больше. Достаточно не понравиться какому-нибудь, не потрафить в чем-то — и перекроет кислород, и нет хода твоей заявке, и не пройдет уже написанный сценарий, а то и готовый фильм тормознут.

Не ловчил, не подличал. Соглашался на любые заказы — лишь бы не против убеждений. Темы предлагал нейтральные, далекие от идеологии и где можно не врать.

Постепенно у меня образовалась как бы своя ниша — фильмы о войне. Память об отце болела, и святым оставалось для меня это время, несмотря на запрет говорить правду о причинах наших поражений в начальный период, называть подлинные потери, рассказывать о действиях заградительных отрядов и СМЕРШа.

Вот пример. Снимаем фильм о Родимцеве, Александр Ильич увлекся и начал вспоминать, как в Сталинграде за боевыми порядками его тринадцатой гвардейской дивизии отсиживались «герои» НКВД — стерегли его солдат от соблазна убежать в тыл. Теперь в этом месте на парапете набережной Волги выведена надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, победили смерть».

В готовую ленту эпизод, конечно, не попал — по цензурным сообщениям...

Уже в горбачевскую эпоху, когда в республиках, в том числе и в Молдавии, расплодились народные фронты, поехал к маме — обогреть ее и самому отойти душевно.

В Кишиневе надо было уладить и какие-то мамины проблемы. Иду по центральному проспекту, тогда еще Ленина, теперь — Штефана чел Маре — значит, великого. Так называли господаря, то есть князька маленького молдавского государства одержимые манией грандиоза римс-

ко-дакские метисы. Иду, направляясь в какое-то учреждение, и вдруг кто-то бросается ко мне, широко разведя руки для дружеского объятия.

В городе, где я провел молодые годы, не избежать встреч на улицах. Ба, да это ж Гицэ, Георге Маларчук! Учились вместе в университете, слушали в одном потоке лекции по зарубежной литературе, на военной кафедре осваивали гаубицу, ставили палатки в ваду-луй-водских армейских лагерях. В ту пору Гицэ был тщедушным и сутуловатым, совсем не походил на деревенского парня. И объяснялось все просто: его родители состояли сельскими учителями.

И вот навстречу шагнул матерый молдаванин — грузные плечи, наливанное пузо торчком.

— Мэй, Павле, — обнимая, дубасил меня по спине обрадованный однокашник. — Где пропадаешь? .

— Да в Москве я. Неужели не знаешь? Ты же бываешь в своей редакции. Почему никогда не звонишь? .

Видел его статейки на страницах «Литературной газеты». И подпись под ними — собственный корреспондент. А еще, слышал, Маларчук сочиняет пьесы.

— Возвращайся домой, фрате! — не поскупился, братом нарек. — Ты ведь свой. Молдавский язык знаешь. И могилы твои здесь. Такие, как ты, нам сейчас нужны, фрателе.

— А раньше был чужим этот браток?

— Как русские говорят, кто старое помянет — тому глаз вон.

— Так ведь вы от русских к румынам хотите податься. А мне — что? Жену, детей бросить? Не поедут они в Молдову, да еще такую Молдову, которая норовит с Румынией слиться. И уж больно вы стали грозными.

— С чего ты взял?

— А не ваша ли активистка орала на митинге: «Утопим русских в еврейской крови!»?

— Стоит ли обращать внимание на оголтелых? Да, у нас есть радикальное крыло, но оно не влиятельно.

— Когда дойдет до настоящей свары, именно такие и поведут за собой чернь.

— Нет, нет, не дадим,

Все равно произошло побоище.

Я снова приехал на родину как раз той осенью, когда только-только наступило неустойчивое затишье на берегах реки моего детства. Получил задание от ежемесечника «Журналист». Надо было написать о самочувствии русскоязычной прессы в независимой румынизирующейся Молдове. И, если удастся, взять интервью у генерала Лебеда.

Накануне в Кишиневе побывал заместитель главного редактора «Журналиста». Ему встретиться с Лебедем не удалось — действовал

запрет министра обороны России Грачева на общение командарма четырнадцатой с представителями масс-медиа. Но меня все-таки просили сделать еще одну попытку. Тут и разыграл репортерский азарт.

Теперь Кишинев и Тирасполь разделяли пограничный кордон и миротворческие силы. Нехитрые формальности, и я в родном городе. Только никого из родственников здесь больше не осталось. Не идти же в гостиницу — отыскал однокашника через справочную. Про него мне точно было известно, что он Тирасполя не покинул.

Земляк проявил и радушие и хлебосольное гостеприимство, а когда услышал, какое дело привело меня в Приднестровье, решительно сказал:

— Все ясно — двигаем в нашу городскую газету. Я с главным по корешам. Он имеет выход на Лебеда.

Я глянул на часы — рабочий день на исходе.

— А застанем ?

— Попытка — не пытка.

Нам не повезло: кроме дежурной сотрудницы в редакции никого не было, а она ничем помочь не могла. Надо ли говорить, как я огорчился?

— Есть еще варианты? — мой вопрос прозвучал безнадежно.

— Да не волнуйся, — успокоил земляк, — вечером посидим от души, переночуем, а утром — снова сюда. И все будет тип-топ.

В Тирасполе до сих пор существует советская власть, и все ее ветви, включая четвертую, размещаются в одном здании, которое, как и прежде, зовется Домом советов. Спускаемся по лестнице — навстречу довольно молодая и симпатичная женщина.

— Марья Ивановна, — окликнул ее мой спутник. — Разрешите представить: Павел Сиркес — московский журналист и наш коренной земляк.

— Добро пожаловать домой! — с чувством сказала Марья Ивановна. — Чем могу быть полезна?

Не зря, значит, понадеялся я на малую родину...

Марья Ивановна повела нас в свой кабинет. Она оказалась зампредом горисполкома. На боковом столике у нее дремало подобие местной вертушки.

Крутанула магический диск — и на проводе недоступный Лебедь.

— Александр Иванович, тут у меня журналист из Москвы. Вообще-то он наш, тираспольчанин. Просит похлопотать, чтоб вы его приняли. — В голосе Марьи Ивановны не слышалось подобострастия, она говорила как равная с равным. — Ну, вот и хорошо. Спасибо. — Положила трубку. И потом обратилась ко мне. — Вас будут ждать на КПП армии в восемнадцать ноль-ноль.

В запасе оставалось двадцать минут.

— Это далеко? Успею ли? .

— Не волнуйся, у меня машина на пару, сейчас вызову, — успокоил однокашник, — мой шофер — ас, мигом довезет.

— Будут еще вопросы, приходите, — сказала, прощаясь, Марья Ивановна, — сделаю, что в моих силах.

Мы бегом спустились вниз к уже заждавшейся у подъезда «волге».

— Тут недалеко. Помнишь Красные казармы, — говорил хозяин машины, усаживая меня в кабину, — водитель тебя подождет и после беседы с Лебедем доставит прямо к нам домой. Жена готовится...

За те годы, что я здесь не был, Тирасполь сильно разросся.

Но по московским меркам все, действительно, находилось рядом. А ведь когда-то Красные казармы считались далекой окраиной. Существовали еще и Белые — и тоже на краю города, но на другом. Концы эти одолевали пешком, потому что автобусных маршрутов было раз, два — и обчелся. Бывшая столица Молдавской автономной республики от военных ран оправлялась медленно.

Перелом произошел уже без меня. Тирасполь стал современным промышленным центром. Моему же сердцу был ближе и дороже тот, прежний... Как спешил я сюда в скудную студенческую пору! Чуть ли не каждый выходной выбирался. Ехал безбилетником на подножке последнего вагона международного поезда Яссы — Москва. Только этот, старой конструкции вагон и сохранил приступочки. Я ехал и, держась за поручни, приплясывал, чтоб согреться на ветру. И в полный голос пел.

Вот и мост через Днестр. Скоро Тирасполь — первая после Кишинева остановка. Тут я затыгивал «Любимый город» из кинофильма «Истребители». И невыразимое чувство переполняло все мое прошлое существо.

Прыгал вперед по ходу, когда поезд уже сбавлял скорость, но до начала перрона: боялся железнодорожных надсмотрщиков. Минуя привокзальную площадь, неся вдоль погруженных во тьму пустынных улиц до нашего дома. Расстояние в два километра пробегал мигом. Я ведь тогда часто выступал в соревнованиях, и завкафедрой физкультуры считала, что у меня данные, как у знаменитого чешского стайера Эмиля Затопека, только тренируюсь мало и настойчивости не хватает. Лукавила наша завкафедрой. Она прекрасно понимала, что тощ и легок ее атлет от скудости кормежки. А рекорды — удел сытых и сильных.

Мы подъехали к КПП без пяти шесть — быстро пролетели воспоминания о прошлом.

На проходной козырнул прапорщик. Он и отвел меня в приемную командарма. И хоть в ней теснились многочисленные военные, в кабинет я был приглашен вне очереди.

Лебедь встал, протянул большую руку поверх зеленого сукна столешницы и жестом пригласил сесть. Он смотрелся точь-в-точь, как в телевизоре, — скуластый солдафон, себе на уме, но, что называется, всегда готовый резануть правду-матку.

— Сколько вам лет, Александр Иванович? — был мой первый вопрос.

— Сорок два.

— Мне за шестьдесят перевалило, поэтому, позвольте, буду говорить с вами, как с младшим братом.

Он сдержанно улыбнулся, и лицо его сразу стало совсем не грозным и даже по-своему привлекательным.

— Вы какое училище закончили?

— Рязанское ВДВ.

— Когда?

— В начале семидесятых.

— Да ведь мы тогда-то и снимали в вашем училище фильм «Чистого вам неба». Мы — это киногруппа творческого объединения «Экран» Центрального телевидения.

— Как же, помню! Так это вы были?.. И на прыжки с нами летали в АН-десятым.

— Летать — летали. И парашюты нам дали, а прыгать запретили.

— Кому ж охота отвечать за неподготовленных штатских?

— И на вопросы штатских отвечать неохота..

— А вы посмотрите, как изобразил меня московский журнал «Столица»! — Он передал мне номер этого издания, где был на обложке в тельняшке, через грудь вперехлест пулеметные ленты — ну, вылитый матрос-партизан Железняк. Фотомонтаж смотрелся точно подлинный снимок.

— Ловкачи.

— Так как я должен относиться теперь к вашему брату — снимающим и пишущим?

— Обещаю вам, Александр Иванович, что ни слова не изменю в интервью, которое дадите.

— Но министр против того, чтобы я делал заявления для прессы.

— И Лебедь положил передо мной факс, излагающий этот запрет.

— Зачем же согласились на встречу с журналистом?

— Вы ж земляк. А я у Грачева помкомвзвода был — у нас отношения неформальные. Короче, что вас интересует?

— О вас часто пишут, вас часто показывают по телевидению. «Журналист» — есть такой профессиональный журнал — хочет в новом номере опубликовать подборку высказываний тех, кто фигурирует в новостях, о тех, кто их делает.

Он лукаво улыбнулся.

— Только уговор — напечатаете слово в слово.

— Обещаю.

Лебедь очень складно продиктовал текст, который потом безо всякой правки увидел свет в журнале. Теперь мы могли говорить не по делу.

— Александр Иванович, не обижайтесь, но с экрана телевизора вы глядите таким Скалозубом. Нарочно эпатируете публику?

— А я никому не обязан нравиться. И хорошо, если иные будут бояться.

— Не вида вашего — силы, что за вами?..

— Конечно. Я же армию не выведу, пока есть малейшая опасность возобновления военного конфликта. Под моим началом служат в основном местные жители. Здесь их семьи. Не позволю, чтоб снова пролилась кровь.

Аудиенция затягивалась. Прервал ее телефонный звонок.

— Извините, — сказал Лебедь, — ко мне едет вице-президент Приднестровской республики.

Вскоре появился и ожидаемый вице. Командующий представил нас друг другу. Потом встал, вышел из-за стола попрощаться. Крепко пожал руку. Стоя, он вовсе не казался таким богатырем, как в телящике.

Долго защищать моих тираспольчан ему, однако, не пришлось. Да и конфликт уже перешел во вялотекущую латентную фазу. Молдаване из миролюбивых южан. И хотя земли у них маловато, а население бурно растет, они предпочли путь переговоров.

Лебедь, сидящий на армии в самопровозглашенной приднестровской столице, всем вдруг оказался поперек горла. И местному руководству и московскому. Министр Грачев заменил его другим, более покладистым генерал-лейтенантом, переименовав 14-ю в какое-то хитрое воинское формирование, призванное ликвидировать самое себя. А бывшего друга отправил в отставку.

Спустя короткое время Александр Иванович появился на российском политическом небосклоне. То со Скоковым его видел, опять же в телевизоре, то с Рагозиным. Иногда он что-то говорил невпопад. Даже подозрение в антисемитизме кое у кого вызвал. Но говорил всегда складно, афористично, без бумажки, высказывания так и просились в суворовские прописи. Должно быть, ему не сразу удалось сориентироваться в большом раскладе стремящихся к власти сил. С разных сторон тянули к себе популярного генерала, полагаясь на его несомненную харизму.

Не удивился, когда узнал, что Лебедь — кандидат в президенты России. Неожиданностью стало скорее соглашение с Ельциным после первого тура выборов, когда он получил под свое крыло Совет безопасности. Поверил: это — чтобы прекратить чеченскую войну. И не был обманут.

А потом... Как же так, наивно недоумевал я, два кандидата на высшую должность в России заключили альянс. Один на определенных условиях отдал другому голоса избирателей, которые его предпочли. Эти голоса помогли Ельцину победить Зюганова. Отчего ж, даже после замирения в Чечне, Лебедь оказался не нужен?..

Давно уже не обольщался насчет твердости слова российского президента. Но не ожидал, что он обойдется с генералом подобным образом.

Был у меня разговор на эту тему с помощником Ельцина по политическим вопросам Георгием Сатаровым, тоже впоследствии отставленным. На вопрос, не вероломно ли поступил президент со своим союзником, Сатаров ответил:

— Так ведь он все время выходил за рамки предоставленных ему полномочий...

— Они что, были прописаны в соглашении?

— Само положение о секретаре Совета безопасности ясно их очерчивает, — заверил президентский помощник.

Лебедь написал книгу «За державу обидно». Мне тоже обидно за страну. И за генерала заодно...

...Ужинали, как и было намечено, у однокашника. Он и его жена, волнуясь, рассказывали о конфликте, который возник минувшим летом по обе стороны Днестра. В Тирасполе, правда, боев не велось, его заслонили собой Бендеры. Зато мои отчие Дубоссары превратились в арену ожесточенных сражений. Не вмешайся Лебедь со своей четырнадцатой армией, побоище не прекратилось бы еще долго. Говорили о хрупкости перемирия, и я спросил:

— Не думаете ли уехать в Израиль? — Мне было известно, что мать и сестра однокашника давно живут в земле обетованной.

Хозяйка — кроткая русская женщина кивнула в сторону мужа:

— Как он решит, так и будет...

— Некуда и незачем нам отсюда бежать! — отрезал однокашник.

Есть же такие упрямые евреи. Жестоковейный мы народ.

На следующий день наметили посетить кладбище. В последний раз я был на нем вместе с отбывшим в Израиль кузеном. Поклонились бабушке, дяде Аркадию. А могилы деда не нашли. Однокашник заверил, что знает, где он покоится, — лежит рядом с его отцом.

Однокашнику до обеда надо было уладить несколько неотложных дел на работе. И утро у меня выдалось свободным.

Отправился бродить по городу, надеясь встретить кого-нибудь из старых знакомых. Шел через центр — и ни одного узнаваемого лица, будто не на родине я, а на чужой стороне.

Ноги сами привели к дому, где мы когда-то жили. Нашу квартиру, — дверь из передней комнаты выходит прямо на улицу, — судя по вывеске, превратили в коммерческий магазин. Я заглянул. Господи, так вот где мы ютились с сорок четвертого года, когда вернулись из эвакуации?! Довоенное жилище лежало в руинах, и нам предоставили этот жалкий кров — убогое помещение, где прежде располагалась токарная мастерская. У других и такого не было, а семье погибшего офицера после долгих маминых хлопот предоставили.

Здесь стоял топчан, на котором спал: голова — в стену, ноги — чуть ли не до порога достают... Ночью, как слышится ровное дыхание мамы и сестренки из второй комнаты, служившей и кухней, — значит, спят, включал свет и читал. Сколько замечательных книг прошло тогда предо мной!

Потолок навис над головой. Как же я тут дорос до своих ста восьмидесяти двух сантиметров?

Ко всему безразличные продавщицы будто не замечали странного покупателя, который ничего не спрашивает, но и не уходит. Время для меня как будто остановилось: я весь был в тех, навсегда ушедших годах. Опомнившись, наконец, посмотрел на часы — стрелки не двигались. Не мистика ли?..

— Нет ли у вас подходящей батарейки? — спросил я и постучал по циферблату.

— Есть.

Заплатил. Новую батарейку вставили взамен севшей, а стрелки так и не шевельнулись... Видно, не в батарейке причина.

Вышел. Куда теперь себя девать? Пойду-ка я к Гординым. Лида на пенсии. Наверняка застану. И на кладбище уговорю с нами поехать. Без нее не найти мне могилы Марика...

Спустился вниз к Днестру. Вон там стоял добротный дедов дом. Снесли. Теперь гостиница на том месте. Здесь, где висит над двором деревянная баллюстрада, обитали Дондыши. Здесь Моня Шац, склонившись над доской, решал шахматные задачи. Здесь мог я сорвать первый в жизни поцелуй, но постеснялся, отвернулся от раскрытых ярких губ Ленки Шахвердовой... И она заслонила их краем простыни. Это я увидел боковым зрением.

Гордины жили за углом — в двухэтажке итээровцев швейной фабрики. Лиды я, к сожалению, не застал. Дочка и зять были на службе. А ждать мне некогда: надо было спешить к однокашнику, близилось время ехать на старое еврейское кладбище.

Добрались на троллейбусе — тираспольское нововведение. Медленно брели по погосту, где больше никого не хоронят. Уже объявлен срок, когда все здесь будет порушено. Кто не перенесет прах своих родственников, пеняйте на себя. Земля нужна городу для других нужд.

Ничем не нарушаемая тишина стояла над обреченным некрополем. Шел вдоль его кварталов и прочитывал на стеллах и на плитах имена людей, о которых и не знал, что они умерли. Так вот где мои тираспольчане!..

Оставили по осеннему букетику бабушке, дедушке и отцу однокашника. Их могилы, не ошибся земляк, оказались и вправду рядом. По еврейскому обычаю, положили на каждую и по камушку — нетленный кремний надежнее недолговечных цветов. Каддиша — поминальной молитвы прочесть не умели, а синагогальных служек, обычно предлагающих за скромную плату совершить эту потребу, на заброшенном кладбище не сыскать.

Напоследок завернули и к дяде Аркадию. Место его последнего упокоения находилось в стороне, но было приметным из-за металлической, тронутой ржавчиной беседки, водруженной над мраморным памятником. Кругом веяло запустеньем и неухоженностью.

Бедный Аркадий! Не везло ему в жизни, не повезло и в смерти. Родителей, младших сестер и братьев расстреляли фашисты в Дубоссарах. Он был на фронте, потому и жив остался. Попал в плен. Спасся, как и мой дядя по отцу — Хаим, выдал себя за молдаванина. Освобожденный из концлагеря, успел еще повоевать в Венгрии и Австрии. Демобилизовался артиллерийским ефрейтором с рядом медалей на груди, возвратился в Дубоссары и узнал о гибели всех своих. Куда деваться? Поехал в Тирасполь, где, ему сказали, осела его любимая одноклассница Рива Кацевман — младшая мамина сестра. Так и прибился к нашему клану.

Перед войной гражданской специальности у него не завелось по молодости лет. Молдавский голод сорок шестого года заставил Аркадия податься в продавцы: хлебное место. Получал колбасу на мясокомбинате и припрятал вместе с шофером пять кило сего вожденного продукта. У каждого ведь дома алчущие рты!.. Охрана обнаружила затырку. И получили оба по пятерочке.

Теперь Аркадий сидел в советском лагере. Мама с юности дружила с некой Агриппиной Крачун. Они в Дубоссарах в двадцатые слыли первыми синеблузницами. Крачун, не в пример маме, выросла сначала до должности министра, а потом и председателем президиума Верховного Совета Молдавии была избрана. Другая бы возгордилась. Бывшая синеблузница сохранила комсомольский демократизм. Во всяком случае, она не отказалась принять маму, когда та пришла просить за несчастного Аркадия.

Ходатайство подействовало: Аркадия помиловали. Но около двух лет он все же отсидел.

Лагерь немецкий... Советская тюрьма... Перебрал человек неволи. Стал он болеть. А потом — и того хуже — рак обнаружили. Операция не избавила от страданий. Не мог принимать пищи. И умер мучительной смертью, когда ему и сорока девяти не было.

Вдова — дорогому мужу, дети — любимому отцу достойно обустроили могилу. А когда уехали в Израиль, то за ней некому стало смотреть. Мне же в короткие мои визиты в Тирасполь не удавалось организовать покраску металлической беседки. Вот она и стояла ржавая...

Хотелось завернуть, хоть на часок, в Дубоссары, посмотреть, сохранился ли довоенный дом деда Нухима. Этот дом не спутаешь ни с каким другим: там на дверных филенках вырезаны его инициалы — Н. К. — Нухим Кацевман. Дедушка продал его в сороковом и купил в Тирасполе тот, который снесли, чтоб построить гостиницу. Но я-то по-прежнему почитал дубоссарскую обитель за родовое гнездо и всегда старался там побывать.

Увы, на сей раз времени было в обрез, а главное задание редакции — написать о русскоязычной прессе в Молдове, оставалось невыполненным. Едва поспел на кишиневский поезд.

Под стук колес посетила меня резонная мысль: что было бы, если бы я не покидал Тирасполя или, допустим, вернулся туда после университета? Стал бы уважаемым в городе школьным учителем, может быть, преподавателем местного пединститута, погрузился бы в общественную деятельность? Может, зря пренебрег советом не ездить в Москву, оставаться там, где меня знают? К чужому не прислушался. Папа — вот кто мог сказать веское слово. Да слишком рано он ушел, чтоб влиять на мою безалаберную жизнь. Мама же хватало лишь на то, чтобы худо-бедно накормить, хоть как-то одеть-обуть троих детей. Посвятить в премудрости человеческих взаимоотношений, научить ориентироваться в хитросплетениях бытия — до этого у нее руки не доходили. Она была живым воплощением любви и самоотречения. За пределами родительского дома ничего подобного мне не приходилось встречать. И тем горше оказывалось разочарование, когда мир предстал не таким, как ожидалось.

Первую остановку поезд сделал в Бендерах. Здесь свежи были следы недавнего ожесточенного противостояния. Попадались разрушенные дома со щербинами от пуль и осколков на стенах. Землю уродовали воронки от снарядов. По телевизору я уже все это видел. В натуре оно казалось еще страшнее...

После того, как мама умерла, в Кишиневе у меня оставался единственный родной дом — дом двоюродной сестры Полины. Мы были с ней, можно сказать, тезками, потому что нас называли обоих по папиному брату, а ее отцу Пинхасу. Произведенное от Пинхаса женское имя в русской транскрипции стало Полиной, мужское — Павлом.

И должно же так было случиться, что именно сегодня, 20 мая 1995 года, когда пишутся эти строки, Полю хоронят на кладбище «Дойна» в предместье молдавской столицы. Поля была последней моей кухонной, не покинувшей отечества...

А тогда, как и прежде, исполнить печальный долг перед памятью отца и матери мне помогал муж Поли — Хаим Рашкован — еврей, носящий молдавскую фамилию. Бессарабец, старше на двадцать один год, он успел поучиться в хедере, освоить язык культа. Я творил зауспокойную молитву, повторяя за Хаимом непонятные слова.

Среди ашкеназийских евреев, к которым относятся все европейские ветви колен израилевых, кроме тех, что в малом числе сохранились на Пиренейском полуострове да еще почему-то в Болгарии, бытует идиш — диалект немецкого языка. Возник лингвистический барьер, отделивший за тысячелетия диаспоры российско-украинско-молдавское еврейство от исконной традиции. Тонкой нитью, не прерывавшейся связью выступала одна религия. Но ее исповедовали только старики. И лишь они ведали лошн-койдиш, то есть речь каддиша, или поминовенья.

Жена, случилось, говорила мне:

— Сходи в синагогу. Ну, не помолишься, так хоть покажешься Богу...

Однажды в праздник Песах, а услышали о нем из передачи «Голоса Америки», мы забрели на улицу Архипова. Уже на подступах — кордоны милиции, какие-то явно гебистские молодчики. Нас будто не сла плотная толпа, чем-то все же отличная от обычной. В ней было много пожилых людей, и, казалось, они только что вышли из книг Шолом-Алейхема. Конечно, то были не коренные москвичи, таких бы в первопрестольную не пустили, а люд, прибившийся в столицу, когда стерли с лица земли черту оседлости. И за столько лет не обте-сались?.. Нет, ютились, наверно, в каких-то сокровенных закутках, перебивались кустарным ремеслом, грошовыми гешефтами. И дожили до наших дней.

У самой колоннады в стиле русского ампира, которая поддерживает фронтон московской хоральной синагоги, гуртовалась молодежь. Вполне современные девушки и ребята пели ивритские песни, танцевали «Хавенагилу».

Мы протиснулись внутрь «дома собрания» — прямой перевод слова «синагога». Жене, по правилам, как и другим дочерям нашей прародительницы Евы, полагалось подняться на балкон. Но в суматохе никому ни до кого не было дела, и она прошла в зал вместе со мной.

Прихожане выразительно переглядывались друг с другом, обменивались эмоциональными репликами, иные что-то живо обсуждали. А поверх приглушенного гомона звучал красивый и сильный голос кантора.

Где благоговенье, что должно снизойти на молящихся в храме? Не замечал его.

И вдруг божественный напев что-то всколыхнул во мне и пробудил далекое воспоминание: башка-полуподвал, дед и бабка — Моисей и Идис, бедные в убогом жилище. И девять старцев украдкой спускаются сюда, почти в подполье, чтобы вместе с дедом составить ми-ньян и обратиться покорно к Ягве. Меня в расчет не принимали, потому что мне было только пять лет, а мужчиной еврей становится в тринадцать, после бар-мицвы.

Выпрастывались из синагоги с трудом, пробираясь сквозь ряды прихожан и любопытствующих. Притихшие пошли к метро. Жена первой нарушила молчание:

— Подумать только, — сказала она, — те же самые слова в такой же пасхальный вечер звучали и четыре тысячи лет назад!..

Но в том-то и беда, что, слыша эти слова, я, как и абсолютное большинство евреев на подсоветской территории, мог понять их лишь в русском переводе. Ветхозаветные письмены, дошедшие до нашего времени в своем первоизданном виде, употребляются и доныне. Мне они напоминают наводящий тоску частокोल надгробий на заброшенном иудейском кладбище. Видел такое в Кишиневе.

Но еще страшнее было наблюдать, как корчевали на нем, как выворачивали из могил памятники тех, чьи потомки умерщвлены в немецких лагерях смерти. Потому-то эти памятники и остались бесхозными. И теперь по решению уже новой, советской власти здесь прокладывали аллеи будущего парка, благоустраивали быстро растущую окраину молдавской столицы.

Столь же варварски обошлись и с могилой деда жены в будто бы цивилизованной Литве.

В шестьдесят четвертом, летом, когда Тамара носила нашу будущую дочь, поехали они с тещей отдохнуть в Друскининкай. Из рассказов отца жена знала, что ее дедушка умер на этом прибалтийском курорте и там же похоронен в 1900 году. Столько лет прошло! После революции никто не посещал его могилы, оказавшейся за кордоном. И вот теперь отправились мои женщины на еврейский погост, чтобы разыскать ее.

Двигались наобум. И вдруг увидели великолепный памятник в виде дерева с шестью подрезанными ветвями. На розовом граните выделялись две надписи: по-немецки и по-еврейски. Обе они свидетельствовали, что здесь покоится прах Вольфа Жирмунского. Ветви символизировали число детей усопшего.

При всех войнах и режимах устояло гранитное дерево, пока не вздумали ретивые литовские власти разорить и это еврейское кладбище, чтоб и следов пребывания антихристового племени в сих пределах не осталось.

Когда тревожат мертвых — это верный знак, что хотят избавиться от живых...

Жена написала жалобу, просила учесть, что среди родичей Вольфа много достойных людей: два академика, дипломат, врачи, учителя, поэта.

Не знаю, что сейчас с памятником: нас с Литвой разделила граница. И осталась лишь фотография, которую успела снять жена.

Неужели так будет и в Тирасполе? Ведь и там скоро совсем не останется тех, кто может сюда приходить... А издалека — из другой страны часто ли выберешься?..

Пока же я стою перед самой дорогой моей могилой. И ничего нет для меня священнее этого места на земле. Оно на «Дойне» — межконфессиональном кладбище. Один квартал христианский, другой — еврейский. Чересполосица, но не на равных. Еврейских кварталов меньше. В Кишиневе почти не осталось евреев, хотя когда-то, совсем недавно, они составляли большинство населения. Разъехались по белу свету: Израиль, США, Канада, Германия, Австралия и даже экзотическая Новая Зеландия приняли их.

«Дойна» — молдавская печальная песня, песня жалобная и умиротворяющая. И то, что она в названии некрополя, где почил в Бозе приверженец разных верований, вселяет надежду: ничто не потревожит покой мертвых.

Но всякий раз приближаюсь к могиле и тревожусь: не порушили, не осквернили ли?.. Ведь такое случалось — и не только в Кишиневе...

Нет, цела моя могила и даже ухожена. Кто-то выкосил бурьян вокруг, посадил цветы. Кто? Сначала решил, что это Марк Яковлевич, недолгий мамин муж. Нет, оказалось — Боря Фишман, брат зятя моего Пети. Навещал свою маму, заглядывал и к Анне Наумовне, которая всегда была к нему добра.

Собственно памятник над местом упокоения мамы мы с сестрами решили поставить такой, чтоб он был как бы общим — и папиным тоже. Лежит он у Ливен в братской яме под двумя каменными плитами. На них выбиты семьдесят две фамилии убиенных воинов. Нечасто удавалось мне выбираться в орловскую глубинку. А, приезжая в Кишинев, буду навещать обоих: в одной ведь лежат земле...

Заказал два портрета на фаянсовых овалах. Папа на всех снимках молодой. Пришлось и карточку мамы подбирать такую, где она помоложавее, чтоб они смотрелись парой. Овалы, как медальоны, — друг против друга на белом мраморе.

Под маминым надпись:

*Сиркис Хана Наумовна
1913 - 1987.*

Ниже — короткая эпитафия: «Мама!»

Под папиным портретом выбито:

*И в память погибшего отца
Сиркиса Семена Моисеевича
1911 - 1942.*

Может, это наивно, только я не перестаю верить, что упоминание о гибели в военную годину убережет нашу могилу...

...Застыл, склонив голову, рядом с Хаимом и повторял вслед за ним речитатив «Каддиша», с трудом выговаривая непривычные сочетания звуков. И легче становилось на сердце.

После смерти мамы меня мучили тягостные сны. Просыпался в слезах, а что привиделось в недолгом ночном забытии, не помнил. Иногда жена прерывала мои стенания, и все равно покоя не наступало. Пробуждаясь, испытывал смутное ощущение какой-то вины перед мамой. В чем она была, эта вина, того я не сознавал, сбрасывая сонный морок.

Тамара шла в церковь, жгла свечечки, заказывала молебны в православном храме о преставившейся Хане. Бог един для всех, и все перед ним равны, была убеждена жена. И опять и опять просила:

— Сходи в синагогу. Узнай, что положено сделать сыну еврейки, когда она умирает, и поступи по закону, по обычаю — не важно.

Смерть мамы как-то по-другому заставила взглянуть на наше бренное существование и поколебало мое прежнее неверие в вечность некой надматериальной субстанции, которая зовется душой. Как же мамы нет, когда она в сердце и памяти и уже потому присутствует в повседневности? Рука тянулась набрать такой привычный кишиневский номер. Я мысленно разговаривал с мамой, проявляя терпение и доброту, каких порой не хватало, когда она была живая во плоти. В извечном вопрошании о Боге меня больше не удовлетворяло пустое отрицание. Теперь мне стал ближе взгляд агностика, который не говорит — Бога нет, а сознается, что не знает, есть ли Он.

Но тот последний разговор с мамой по телефону остался нескончаемым укором. И чтобы все было понятно, надо о многом рассказать, то есть углубиться в далекое прошлое...

Тридцать три года вдовела мама. Даже тридцать четыре, если считать время соломенного вдовства. Повестка предписывала папе отбыть в армию тридцать первого декабря — в самый канун Нового, 1942-го года. Помню, как мы сидели при мигающем свете коптилки перед его отъездом в Аягуз, где формировалась их восьмая дивизия — не гвардейская, прославившаяся под Москвой, просто стрелковая. И папа тихо сказал деду по-еврейски:

— Любую руку отдал бы, лишь бы остаться с детьми... — По его щеке скатилась слеза.

Близилась смена годов, а в наскоро слепленной нашей сырой землянке и не чувствовалось предпраздничного настроения. Уныние сопровождало уход папы. Он знал: м^инут, может быть, недели, и соединение отправится на фронт.

Станция Аягуз расположена на ветке, ведущей из Алма-Аты в Семипалатинск. И в лютые февральские морозы мама поднялась в дорогу. Послала телеграмму, завернула в стеганое одеяло грудную дочку и села в заиндевший поезд.

Папа телеграммы не получил. Его в те самые дни неожиданно командировали в Ташкент, в штаб Среднеазиатского военного округа. Женщину с младенцем встретили папины сослуживцы. Привезли в часть, отогрели, уговаривали остаться до возвращения мужа. Но неугомонная мама первым же поездом двинулась в обратный путь. И правильно сделала. Хорошо зная папу, мама не сомневалась: дорогу из Ташкента он обязательно выберет ту, что пролегает через Алма-Ату.

Так и случилось. В нашей землянке они появились почти одновременно. И это была их последняя встреча.

Потом, по весне, когда эшелоны дивизии потянулись к фронту, мы ездили с мамой на Алма-Ату-Первую, где пролег Турксиб, все надеялись перехватить папу. И он надеялся, потому и предупредил нас.

Эшелоны шли и шли. Но папы в них не было...

Мы и в то утро были на станции. И напрасно. В полдень мама затопилась домой — надо было кормить хворую Идочку.

Вернулись. Мама дала больной малышке грудь.

Мы с Марой тоже голодны. Да терпим. Накануне была съедена последняя чашка риса. Запасов — никаких.

Насосавшись, Идочка уснула. Жар у нее спал. Теперь мама могла позаботиться и о нас, старших.

— Я скоро, — сказала она. — Сбегаю в город. Может, удастся что-нибудь раздобыть.

Только она ушла, послышался стук в наше подслеповатое окошко. Выглянул — и увидел папу.

Я отпер дверь. Папа, пригнувшись, шагнул в полутемную землянку, прижал нас с Марой к себе. Так мы и застыли на мгновение все трое.

Зашевелилась в своей кровати малышка. Папа склонился над ней, совсем несмышленьшем, не могла она его запомнить.

— Где мама? — точно сбросив оцепенение, спросил папа.

— Который уж день встречаем тебя на Алма-Ате-Первой. И сегодня пробыли там до обеда. А вернулись, потому что Идочка заболела. Мама только что ушла: дома — хоть шаром покати.

— Больше я ее не увижу, — сказал папа.

Но тогда до меня не дошел истинный смысл его слов.

Он что-то сунул мне в руки, снова перещеловал нас всех.

— Пора, сынок!.. — И двинулся к двери.

— Ты куда? Мама сейчас, она скоро...

— На улице ждет грузовик. Отстану от эшелона — будут неприятности.

Мы с Марой — следом. Папа вскочил на подножку «газона» и нырнул в кабину.

Это было 4 апреля 1942 года. Ему оставалось жить четыре месяца и двадцать два дня.

Пока шла война, мы верили, что, может, он где-нибудь есть — в госпитале, в плену.

Маме не было и тридцати двух лет, когда пришла долгожданная Победа. За красивой и статной молодой женщиной, понятно, роем вились поклонники. А как узнают о прицепе из троих детей, мигом линяют...

Я ревновал маму к любому мужчине, который возникал рядом, и не мог скрыть неприязни. И одновременно мне нравилось, что на нее заглядываются чужие дядьки. Ей долго удавалось сохранять привлекательность и свежесть, точно непрожитая женская жизнь сберегала от увядания.

Поначалу завелся некий подполковник с подкупающим именем Абрам Израилевич. Такое прозвание — бальзам на сердце бабушки. Да и маме внушал доверие «свой человек». Подполковник не скрывал,

что до войны у него в Москве была жена, но они будто бы давно расстались. Это мне стало известно из не предназначенных для моих ушей разговоров, которые вели мама и бабушка и которые я нечаянно подслушал.

Подполковник обычно приходил не один, а со своим адъютантом Илюшей. Этот лейтенант являлся со скрипкой, пел, сам себе аккомпанируя, «Офицерский вальс», американский солдатский «Кабачок» и другие популярные песни. Концерты начинались сразу после чаепития с гостинцами, принесенными военными: заокеанские каменные галеты, консервированная колбаса. Голодные, мы мигом расправлялись с дарами союзников. Вина на столе не бывало — мама его не терпела.

Если визитеры засиживались, нас, детей, старались спровадить в постели. Девочек удавалось уложить. Я же бдел, и никому не удавалось побороть мою ревнивую подозрительность ссылками на то, что завтра рано в школу. Нет, я досиживал, преодолевая сонливость, до конца — до ухода подполковника с лейтенантом. Однажды, когда мы остались вдвоем, мама спросила:

— Ты не будешь против, если я соберусь замуж?

— А тебе что — сделали предложение?..

— Нет. Но всякое может случиться...

— Выходи. Только я с тобой жить не буду.

— Куда ж ты денешься?

— Уйду к бабушке с дедушкой.

Спусти много-много лет, приехав на побывку ко мне в Москву, мама через справочную разыскала Абрама Израилевича, позвонила. Он уклонился от встречи, сославшись на нездоровье жены — той самой жены, с которой у него расстроились отношения еще в довоенную пору...

Потом маму стал обхаживать заведующий столовой, куда она поступила официанткой в лютый голодный мор, поразивший Молдавию в сорок шестом году. У заведующего была семья — уродливая жена и рыжая дочка в мелких барашковых кудряшках. Судя по тому, как поглядывала на меня эта рыжуха, все кончилось бы скандалом, если б мама не бросила сытное место и не ушла регистраторшей в поликлинику.

В поликлинике платили гроши, дополнительного прибытка никакого не было. Коллектив состоял в основном из женщин. Редкие мужчины-врачи отличались, видимо, высокой нравственностью. По моим пристрастным наблюдениям, на мамино целомудрие не посягали.

Окончив школу, я покинул Тирасполь. Учась в университете, появлялся ненадолго, наездами — в выходные, на праздники и каникулы. Когда работал в Караганде, проводил отпуск дома. Перебравшись в Кишинев, старался отдохнуть у моря, но домой все равно, хоть на несколько дней, да заворачивал. Знаю: личной жизни у мамы не было,

значит, это мой сыновний мальчишеский эгоизм помешал ей устроить свою женскую судьбу...

Тут подросли, заневестились дочери. И настал срок думать об их замужестве. Так что мама и вовсе о себе забыла.

Заботы доставлял и сын с его Бог весть откуда взявшимися холостяцкими привычками. Уж каких только девиц на выданье не называла — даже слушать не хотел. Но маме трудно было с этим смириться. При каждой встрече снова и снова начинался тягостный разговор о том, что пора-де остепениться, создать семью, родить детей.

— Вот у Шафировов какая чудесная Светочка, — в очередной раз заводила мама. — Они очень тебя хотят.

— И у нее спросили?

— Очень хорошие люди. Светочку ты видел ребенком. Теперь она — красавица. И уже студентка пединститута. Кстати, филолог, как и ты...

— Не надо меня сватать.

— Зачем сватать?.. Ты нравишься девочке. Так говорит ее мама. Поверь, Софа — не мещанка и врать не станет. Первая пионерка Тирасполя! И теперь — не последний человек.

— Тогда сдаюсь!..

— Не смейся. Если бы ты согласился, можно было бы так устроить, чтоб вы где-нибудь как бы случайно встретились. Девочка даже не догадается...

— Нет, мамочка. Не волнуйся, я сам решу матримониальную проблему.

— Что решишь?

— Да женюсь, когда придет время.

А время все не приходило. По крайней мере, так мне казалось. Да и зачем связывать себя одной женщиной, когда доступны разные? Заботиться будет? Нет в том нужды. Обхожусь, сам веду свое нехитрое хозяйство, ни от кого не завишу. И слава Богу! И еще могу материально помогать маме и младшей незамужней сестре. Какая еще подруга попадется?.. Не каждая согласится делить с его родными скромный заработок мужа.

Но главное — не любил я никого.

Детей хотелось. Так не заводить же на стороне? Охотницы родить нашлись бы. Может, не без тайной мысли охомутать, сыграв на привязанности к своей кровиночке. Выросшие без отцов к этому чувствительны...

Последняя моя красотка перед твоим приездом в Кишинев, когда мы и познакомились, была вылитая Брижит Бардо. Наслушавшись восторгов о столь поразительном сходстве с французской дивой, она и ужимки и манеры соответствующие усвоила.

Похоже, не представлял интереса для эдакой соблазнительной особы. И недостатка в поклонниках у нее не было. Но очень уж горело

насолить подружке, свести какие-то счеты. А мне на дне рождения этой подружки выпала роль ее ухажера. И стал я неожиданно предметом девического соперничества. Выиграла взрывная смесь южных кровей — мать у Брижит была еврейка, отец — молдаванин. Могла ли столь пылкая натура не увести меня с торжества?

Жертва собственного коварства, она отдалась не слишком настойчивому обольстителю чуть ли не в первый вечер. И прямо на веранде родительского дома. Как видно, девичья честь не была для нее добродетелью, которую надо было сохранить до встречи с суженым. И хотя потом Брижит сожалела, что не подарила мне своей невинности, в это не очень верилось...

Впрочем, я отнесся спокойно к прошлому новообретенной подружки. Да и не было оно таким уж шокирующим. Ее первым мужчиной стал смазливый хлыщ из ПТУ, где они вместе учились. Это произошло недавно и не имело, как говорила Брижит, продолжения.

Скромный опыт восполнялся природной чувственностью. В прелестной маленькой головке рождались сексуальные фантазии, которые вдохновили бы любого Дон Жуана. Очень скоро мы превратились в неистовых любовников.

— Все у нас с тобой впереди! — мечтательно говорила она. — Вот поженемся — и тогда... — От недосказанности обещания захватывало дух.

Профессионально-техническое училище Брижит окончила только в прошлом году. Работала монтажницей на одном из кишиневских заводов. Сознала, что разные образовательные цензы могут в будущем нарушить гармонию супружества. Реальность его казалась столь неизбежной, что меня о моих намерениях даже не спрашивали. Чтоб соответствовать, поступила на филфак университета. Молдаванка Брижит — в ее паспорте указана национальность отца, — легко выдержала смягченный для таких, как она, конкурс.

Расставание с заводом... Превращение в студентку... Брижит восприняла перемену как замену прозодежды повседневным платьем, в котором не стыдно посещать факультетские аудитории. И с той же легкостью, считала она, к ней придут и знания, и общая культура.

Пока же моя подруга предпочитала развлекаться. Чаще всего мы мило проводили время в обществе ее кухни с материнской стороны. При русском муже этой кухни семейство являло собой, видимо, тот образец брачных уз, который демонстрировался как желательный для самой Брижит. За исключением одной малости — глава семейства любил выпить. Меня трудно было заподозрить в подобном грехе. И потому я должен был внести в нашу четверку отрезвляющее равновесие.

Спустя годы при краткой случайной встрече сей выпивоха с грустью сказал:

— А я-то думал — так весело и проживем вчетвером до старости...

— Значит, не судьба...

Он не скрыл, что его брак давно распался из-за пьянки. И добавил:

— Жениться бы тебе тогда — и я б устоял! С тобой-то мы пили в радость...

Моя ли вина, что сошел с круга когда-то хороший парень? Но укором прозвучали для меня эти слова.

Из-за чего же порвал с Брижит? Вроде пустяк был причиной... Шли в гости к общим друзьям встречать Новый год. В этот вечер в Кишиневе всегда выпадал первый снег. Наверное, молдавский климат таков? Или счастливо отсеялись другие впечатления? Но так запомнилось: Кишинев, Новый год, снег. Сыпал он и на этот раз — девственный — нежный, невесомый. И от одного прикосновения к щекам влажных пушинок поднималось настроение. Поминутно раздавался беспричинный хохот. Мы веселились, потому что были юны и беззаботны.

Кто-то затеял игру в снежки. Я поддался общему азарту и бросил сжатый в горсти комок рыхлого снега в мою причепуренную к празднику подругу. Комок рассыпался на лету, припорошив тающими блестками модную прическу, сооруженную дорогим парикмахером.

— Ты чем думаешь, головой или жопой?! — послышался злой окрик Брижит.

Это потом я понял, что заставило меня рвануть прочь от расшалившейся компашки. А в самый момент действовал чисто импульсивно.

У Чехова есть рассказ, где в чем-то сходная ситуация. Влюбленная парочка. И вдруг девушка видит вошь на манишке галантного кавалера. Сразу точно отрезало — пропали все чувства, кроме отвращения.

Вот так же было и со мной после грубых слов Брижит. Что подстегнуло мое бегство? Оскорбленное самолюбие, неадекватность реакции Брижит на безобидную шалость?

Мчался, петляя дворами, чтоб не нашла, если кинется догонять и извиняться. И на ходу постепенно начинал осознавать ситуацию: «Если сейчас, когда у нее нет никаких прав на меня, подобное хамство, то что же будет потом?»

Медленно брел берегом озера, был уверен: тут недосыгаем. И вдруг из-за кустов выскочил двоюродный зять. Он проехал несколько остановок на автобусе и вышел, угадав мой маршрут вдоль водоема.

— Не сердчай, Паша, на дуру! Что с нее возьмешь?.. — Он преграждал дорогу, хватал за руки, лез целоваться, хотя еще был трезв, как стеклышко. — Не омрачай Нового года... ради нашей дружбы!

Я дал себя уговорить. Мы догнали дам и заявили в гости, будто и не было никакого инцидента.

Когда ж немало выпили бьющего в ноги, но оставляющего холодной голову молдавского вина, она затащила меня в отдаленную комнату и повисла на шее:

— Прости!.. Больше не буду!..

— Вот что, дорогая, — мне не удалось освободиться от ее обволакивающих объятий, — я здесь только потому, что не хотелось обижать твоих родственников. Запомни: никогда не рискну связать свою жизнь с твоей.

И все же наши отношения продолжались еще почти год.

Уж как она старалась, чтобы забылся неприятный эпизод. И ей бы, наверно, удалось добиться своего, если бы я ее любил. Нет, который уж год сердце мое принадлежало другой.

К каким только уловкам не прибегала Брижит! Она явно хотела забеременеть, чтобы привязать меня к себе. И только я об этом догадался, как услышал:

— Могу тебя обрадовать — у нас будет дочка!

— Дочка?.. Почему?

— От тебя я стану рожать одних дочерей.

— Откуда такая уверенность?

— Чем мужественней партнер, тем вероятней девочки.

— Ты мне льстишь, конечно. Но так ли это?

— Уж поверь — я не вру. И не ошибаюсь. И хочу ребенка именно от тебя.

— Забыла, что было сказано в новогоднюю ночь?

— Ты же не порвал со мной? Ничего, стерпитса-слубитса.

— А справишься?

— Мама поможет. Да и ты, уверена, в стороне не останешься.

Она тяжело переносила свое новое положение. Ее рвало, на лице появились пока еще малозаметные пятна, и оно начало утрачивать привычную форму, как будто та была востребована природой для будущего похожего человечка.

Я был заботлив, предупредителен — и только.

— Нет ли среди твоих знакомых хорошего гинеколога? — спросила Брижит через несколько недель.

Такой доктор был. Мне довелось редактировать его монографию.

— Гинеколог есть — лучший специалист в городе. Я договорюсь о приеме.

— Хочу, чтоб у нас все, как раньше. Хочу спать с тобой...

Отвез ее в больницу к доктору. После осмотра, пока Брижит одевалась в соседней комнате, он сказал:

— Это юное очаровательное существо родило бы вам прекрасного ребенка...

— Все без меня решила — и забеременеть, и освободиться.

— Девочка догадалась: против вашей воли вас к себе не привяжешь.

Не хочу быть несправедливым. Брижит обнаружила неожиданную душевную чуткость и чисто женскую пронизательность.

— А ты вернулся бы к своей зазнобе-занозе, если б развязался со мной? — спросила она, когда у нас возобновились прежние отношения.

— Нет, никогда.

- Тогда доверься мне. Я все сделаю, чтобы ты забыл о ней навсегда.
- Никто не может здесь помочь и ничто. Разве только время...
- Роковая любовь, — криво усмехнулась она. — А ты трахни ее, и все как рукой снимет. Я ревновать не буду.
- Только мне не подходил этот рецепт...

Всякие слышал сравнения: как удар молнии, солнечный удар. Изощрялись на сей счет и влюбленный, и мастер слова, нередко объединенные в одном лице. Нет, у меня было совсем по-другому.

Я жил тогда на квартире у Розы Борисовны, старой кишиневской еврейки, чей муж отбывал срок за мелкое хищение казенной собственности. Снимал проходную комнату, хотя и не задешево. Просто лучшего не подвернулось после моего возвращения из Караганды. Работал в «Молодежи Молдавии», часто бывал в сельских районах. Значит, дома появлялся эпизодически.

И вот приезжаю из очередной командировки, а хозяйка соскучилась в одиночестве по живому человеку, вертится вокруг, тараторит о пустяках и, как бы между прочим, спрашивает:

— Павел, вы не будете против, если я возьму на квартиру девочку?

— Вы — хозяйка. Вправе ли я вмешиваться? Только не тесновато ли станет втроем?

— Вас так часто нет, и мне страшно одной, особенно ночью. А девочка маленькая, школьница. Поставим раскладушку в моей комнате — и все дела.

— Удобно ли, чтобы девочка ходила через комнату мужчины?

— Ничего, как-нибудь устроимся...

Собираюсь в баню — отмываться от пыли сельских дорог, заявляются две юные девы. Глянул на вошедшую первой — простовата, невыразительна. И подумал: «Только бы не она», даже не посмотрев на вторую. А посмотрел — обдало волной радости: эта как будто сошла с картины Маковского «Дети, бегущие от грозы». Вроде бы ничего особенного: неброская тихая русская прелесть и милота. Но и сейчас эти черты полны для меня неотразимой магии. Обе девчушки ростом невелички. «В классе, наверное, восьмом», — прикинул я и отправился париться.

На счастье или несчастье новой жилищкой оказалась девочка с картины — Рена. Назовем ее так в предвиденье грядущих событий.

Теперь после работы я почему-то спешил домой. Охота исчезать с ночевками и вовсе пропала: «Что ребенок подумает?..» Телевизоры тогда были редкостью. Хозяйка подавалась к соседям на интересные передачи. И вечера мы коротали вдвоем с девочкой.

Я сделался вдруг страшно писучим. Часами просиживал за столом в своей комнате, кропая статейки, которые задолжал не только своей редакции. Рена вежливо осведомлялась, не помешает ли, приходила ко мне. Прислонившись спиной к теплomu кафелю печи, задавала

вопросы. Отвечая, я приравнивал себя к ее нежному возрасту. Задетая этим, она однажды возмутилась:

— Не говорите со мной, как с маленькой. Мне уже восемнадцать. Я все еще в школе из-за того, что папу часто переводили с места на место.

И Рена рассказала, что теперь родители живут в Олонештах, отец служит в райвоенкомате, а мама работает медсестрой в больнице. Потому-то майорской дочке и приходится одолевать десятый класс в столице, скитаясь по чужим углам, что здесь можно наверстать упущенное. Она думает поступать в университет, на биофак, а там жестокий конкурс, нужно хорошо подготовиться. Да и к аттестату зрелости, полученному не в провинции, а в Кишиневе, относятся лучше.

В следующий раз Рена спросила:

— Что вы думаете о любви?

— Лев Толстой писал: «Мы любим другого человека за то добро, которое мы ему делали, и ненавидим за то зло, которое мы ему сделали». Мысль выражена нескладно, но психологически точна. И очень мне близка, — добавил я.

И тогда она призналась:

— А мне кажется, я могла бы полюбить такого человека, как вы... — И оторвавшись от печки, подошла и поцеловала меня.

Коснулся губами ее щеки. Она трогательно подставила губы.

Нас возвратили к действительности только звук отпираемой двери и шаги вернувшейся домой хозяйки. Та лукаво посмотрела на возбужденных квартирантов и пошутила:

— Что, не скачет без старшего поколения моя молодежь?..

Слышал, как ворочается за тонкой дверью Рена на неустойчивой раскладушке — распалилась девочка. И сам полночи не мог уснуть, предаваясь укоризненным размышлениям: «Что я натворил?! Ребенку утром в школу — и такое потрясение. Хороша будет ученица!»

...В тот вечер я был редакционной «свежей головой» — дежурным по номеру. Освободился поздно. Вошел в квартиру, стараясь не шуметь. И еще не включив света, различил в полумраке, что кто-то свернулся калачиком на обычно пустовавшей тахте. Это могла быть только Рена — больше никому. Разделся в потемках, чтоб не потревожить ее сна. И все думал: «Почему она улеглась в моей комнате? А что хозяйка? Нет, добром это не кончится», — был неутешительный вывод.

Долго не смыкал глаз этой ночью. Вскочил по звонку будильника, когда уже пора было бежать в контору. Тахта пуста. Зато входит Роза Борисовна.

— Доброе утро, Павел. Что-то я вчера не слышала, когда вы вернулись.

— Задержался в типографии. А почему Рена ночевала в моей комнате? — Мне не удалось скрыть раздражения.

— Она что, мешала вам спать?

- Все же я мужчина — неудобно как-то...
- Но ведь она ребенок. А тахта все равно свободна.
- Смотрите, Роза Борисовна, как бы чего не вышло...
- Я надеюсь на вашу порядочность и благоразумие.

Какое, к черту, благоразумие?! «Ночи безумные, ночи бессонные» — это Апухтин про нас с Реной. Гасили лампу, раздевались, разбредались по своим закуткам в темноте — для хозяйки. А едва заслышав ее могучий храп, Рена звала:

— Иди ко мне.

Присаживался на край тахты, склонялся к девочке.

— Что, дорогая?

— Меня знобит.

Приносил еще одно одеяло, клал сверху.

— Сейчас согреешься.

— Нет, ляг рядом. Обойми собой.

Ложился, ласкал ее трепещущее тело, целовал, почти теряя самообладание.

— Успокойся, — внушал я то ли Рене, то ли себе.

— Делай со мной, что хочешь, — шептала она мне в ухо, еще больше ослабляя волю пересилить желание.

— Да пойми ты — в любой момент может войти старуха.

— Ну, и пусть!

— Вспомни, тебе утром на занятия. И все увидят, что ты — уже другая. Закончишь школу, и мы с тобой поженимся. И все у нас будет хорошо... Впопыхах и уворовывая, я не могу.

— Так вот она, правда: ты — импотент! Ты несостоятелен как мужчина! — Ее оскорбительные слова были произнесены почти беззвучно, но мне слышался в ночи ее надрывный крик.

— Как ты смеешь? И что ты об этом знаешь?..

Минули годы прежде, чем мы в первый раз принадлежали друг другу.

— Почему ты не сделал этого тогда? — горько спросила Рена. — Я бегала б за тобой, как собачонка...

— С собачонкой жизнь не проживешь, — ответил я.

Но еще надо было одолеть эти годы, когда страсть сменялась отчаянием, а надежда — унижением.

А пока наступила новая ночь, и опять Рена позвала меня на тахту. Я отказался наотрез, не остыв еще от обиды. И что же она устроила? Выскочила из комнаты, прихватив одежду, накинула в прихожей пальто и убежала из дому. До меня это дошло, когда захлопнулась входная дверь, переполошив и хозяйку. Та ворвалась в мою — нашу комнату в наброшенном на плечи халате и с ужасом в сонных глазах.

— Павел, что у вас тут произошло с Реной?

— Я вас предупреждал, Роза Борисовна...

— Боже! Мало мне мужа в тюрьме, так еще эти неприятности...

— Не переживайте, сейчас я ее приведу. Что-то вы сильно сегодня натопили — вот девочке и захотелось на свежий воздух...

Хорошо, что быстро отыскал беглянку на притемненной пустынной улице.

— Зачем ты устроила переполох? Хозяйка рвет и мечет...

— Душно стало.

— Ладно, надышалась. Пойдем, надо хоть немного поспать.

Переступили порог — Роза Борисовна закатывает истерику.

— Что теперь будет? Что будет? Родители обвинят — не уберегла их дочку старая сводня!

— Прекратите причитания! Утром поговорим. И запомните: мы — взрослые люди и сами за себя в ответе.

Рене в школу к восьми. В редакции рабочий день начинался в девять. Когда я остался один, снова появилась хозяйка и повела со мной такой разговор.

— Павел, Рена должна уйти.

— Куда? Зима на дворе... Если нам обоим здесь оставаться нельзя, уйду я.

— Нет, она платит за угол — это гроши. Вас терять мне невыгодно...

— Потерпите до вечера. Что-нибудь придумаю.

Встретил Рену после уроков. Отправились обедать в столовку. А заодно все обсудить. И нашелся выход.

Еще в университетские времена завелась у меня закадычная приятельница Лена Кортун, славная и добрая душа. Личная ее жизнь никак не складывалась, и Лена жила одна в не Бог весть какой удобной, но отдельной квартирке. Я почти не сомневался, что Рена найдет там радушный прием.

В патриархальном Кишиневе не считается зазорным явиться в гости без предупреждения даже к тому, у кого есть телефон. У Лены телефона не водилось. Но нам повезло — мы ее застали дома. И только начал я рассказывать, с чем пришли, как чуткая моя приятельница воскликнула:

— Не трать лишних слов, Павлик! Пусть живет. Условие одно — не заводить речей о деньгах.

Теперь, закончив дела в редакции, спешил на такую родную улицу Пирогова, по которой хаживал из общежития в университет, из университета в общежитие пять студенческих лет. Мы с Реной редко оказывались наедине. Разве когда Лена задерживалась из-за какого-нибудь мероприятия в школе, где преподавала русский язык и литературу. И, даже оставаясь вдвоем, избегали будоражащих ласк. А уж о том, чтоб заночевать, у меня и мысли не возникало.

Приехала мама — Антонина Васильевна. И удивила своим обращением ко мне:

— Здравствуй, здравствуй, зятёк! Много о тебе слышала... Знаю, жалеешь ты дочку. Только помоги Ренке в университет поступить. И

в гости ждем. Познакомишься с нашим отцом Петром Ивановичем. Он, пока не перепьет, хороший мужик. Ренка вся в него.

Я и сам восстанавливал связи на биофаке. Прошло лишь два с небольшим года после окончания альма матер — на всех факультетах осели мои однокашники. И в приемных комиссиях им же заседать...

Проезжал мимо и забежал ненадолго в неурочный час. Смотрю, моя девочка наводит марафет, куда-то собирается.

— Извини, я должна уйти. У меня деловое свидание.

— Это любопытно.

— Может, решается мое будущее... Мне предложили сниматься в кино.

Раздался стук в дверь. Открываю — и вижу известного в городе ловеласа, который подвизался режиссером хроники на местной студии. Наши пути никогда не пересекались, но мое появление повергло его в легкий шок: он явно не рассчитывал напоротья на соперника.

— Я, кажется, ошибся?..

— Да, ты не туда сунулся. И заруби на носу: подойдешь еще раз к этой девочке, поги переломая. Кончай, подонок, пудрить мозги юным дурочкам, обещать роли в фильмах. Снимаешь своих доярок и свинок — и сиди тихо. Не то дождешься статьи в газете о своей бурной творческой деятельности.

— Извини, Павел, не думал, что становлюсь тебе поперек дороги. Не будем ссориться... — И он покорно ретировался.

Рена слышала отголоски объяснения. Она вне себя от гнева:

— Да как ты смеешь вмешиваться в чужую личную жизнь!..

— Это чья же жизнь мне чужая — твоя?.. Пойми, ты клюнула на посулы прохвоста, который нарушает профессиональную этику. Он мог бы снять тебя для киножурнала, если б училась на «отлично» и была примерной комсомолкой, каковой не являешься. Так что приглашение в киноактрисы — блеф.

— Пусть так, но ты не имеешь права мной распоряжаться. Я сама себе хозяйка, — кричала она уже во весь голос.

— Успокойся, я забочусь только о тебе. А право мне дает любовь.

— Захочу, на панель пойду — ни у кого не спрошусь! — Что-то надрывное, настасьефилипповское вдруг проступило в моей девочке, и я не сдержался — вlepил ей пощечину. Никогда — ни до, ни после не ударял женщину, а тут дернула меня нелегкая.

А она? Она бросилась ко мне на грудь и зарыдала. И сквозь всхлипы просила:

— Прости, милый! До чего ж я тебя довела!.. Клянусь, больше этого никогда не будет!..

Ее раскаяние было недолгим. Она все дальше отодвигала меня. Может быть, только предстоящие экзамены в университет удерживали Рену от окончательного разрыва.

— Знаешь, я хочу какое-то время побыть одна — надо проверить свои чувства, — вдруг объявила Рена. — Пойми, на меня давят с раз-

ных сторон: девчонки говорят, что ты стар и уже начинаешь лысеть, мама считает, что ты немногого в жизни добьешься...

Мне осенью стукнуло двадцать шесть. Ей вот-вот должно было исполниться девятнадцать.

Снова приехала Антонина Васильевна. Она, как и прежде, была сама приветливость и ласка и уговорила меня ехать на день рождения Рены в Олонешты.

— Только ты, зятек, сразу-то не открывайся будущему тестю, — наставляла Антонина Васильевна. — Его подготовить надо...

Добирался двумя автобусами. Петру Ивановичу был представлен как полезный человек, у которого связи в университете. А раз так, майор изъявил готовность всячески улаживать приезжего. Мы хорошо посидели и выпили славно — весь штат районного военкомата собрался за столом.

Гуляли и на другой день, перенеся пир в знаменитый совхоз «Пуркары», где какой-то особый микроклимат, и потому лишь из здешнего винограда получают необыкновенные терпкие вина.

Крепко набравшись, Петр Иванович полез лобызаться.

— Замечательный ты, Паша, парень! Да ведь не женишься на моей девке — не чета она тебе...

Верный уговору, я твердил:

— Рановато ей — пять лет еще университетскую лямку тянуть.

Рена все время моего гощения вела себя подчеркнуто отчужденно. Со мной почти не общалась, ни ласкового взгляда, ни доброго слова — только бы никто не догадался, что нас связывает. Поэтому в Кишинев я возвращался в дурном расположении духа. Отойдя от обид, снова принялся за хлопоты по Рениному делу: уточнял, кто будет принимать тот или иной предмет, какие преподаватели войдут в приемную комиссию.

Она появилась на Пирогова лишь накануне вступительных экзаменов. Тотчас был зван и я, хотя встреча не растопила льда между нами. И все равно, ясно было, Рена не сомневается: расшибусь, но протащу ее на биофак.

Пропадал в университете. Находил тех, кто вершил судьбами абитуриентов, договаривался, что моей протеже будет оказано внимание и снисхождение. От меня не ждали ни благодарности, ни ответной услуги — так сильна была солидарность среди тех, с кем я в одно время учился в нашем маленьком КГУ. И ни разу не сорвалось. Может быть потому, что прибежал к Рене ранним утром в день очередного испытания и в прямом смысле за руку вел ее в нужную аудиторию. Потом терпеливо ждал, когда она выйдет и протянет мне листок с оценкой, которая гарантировала поступление. И так до самого конца — до того, как она была зачислена на желанный биологический факультет, несмотря на огромный конкурс.

Перед началом семестра она позвонила из Олонешт, попросила встретить. Из автобуса вышла посвежевшая, отдохнувшая. Мы от-

правились не к Лене, а неподалеку — в общежитие, где иногородней Рене предоставили койку.

Что-то в ней появилось новое... Только что? Этого я определить не смог. Неужели одно лишь сознание, что она теперь студентка, так изменило ее?..

Забросили вещички в комнату, и Рена предложила:

— Пойдем гулять! Нам о многом надо поговорить...

Мы вышли в теплый ясный последний день августа и двинулись в сторону ближайшего парка.

— Ну, как родители, что дома?..

— Об этом после. Сначала я должна тебе рассказать, что встретила, наконец, того, кого по-настоящему люблю и кому целиком себя отдала.

Солнце померкло надо мной. Не помню, что испытал кавалер Де Гриё, услышав признания Манон Леско.

Я подавленно молчал, а она продолжала:

— Папа дал денег на давно обещанную поездку в Ленинград, если поступлю в университет. Наше знакомство произошло в Эрмигаже. Разве это не мило?.. Он суворовец, будет учиться в последнем, одиннадцатом классе. У него романтическое имя — Роллан. В следующем году поступит в военно-медицинскую академию. Мы сможем вступить в законный брак, и я перееду в Питер. Роллан чудесный. Мать у него — русская, отец — армянин. И это смешение кровей придает ему особую прелесть...

Она еще что-то говорила, но я перебил ее, с трудом поборов оцепенение, которое меня охватило.

— Как же ты могла?.. Я ведь так берег тебя!

— И напрасно. А мне казалось, ты порадуешься моему счастью. Надеюсь, ты не отвернешься от своей Рены, и мы останемся друзьями? Искренность надо ценить. Дай мне только разобраться в моей новой жизни. Я еще сама тебя позову.

Бессмысленно предаваться сейчас запоздалому психоанализу. И все же... Да, я был оскорблен, унижен, растоптан. Представлялось ли то, что произошло, полным крахом? Нет. Знал, что значит в жизни женщины первый мужчина. Но понимал, что она давно созрела, и не без моей помощи. Вожделение так легко перепутать с любовью... Страшнее бесшабашность, с которой Рена перешагнула через того, кто делал ей доброе, заботился о ней. Необузданное своеволие почти всегда изощренно в доводах самооправдания. Не сомневался больше — натерплюсь лиха, если не порву с этой сумасбродкой. И не мог и не хотел ее терять...

Телефон теперь был только на работе. Я переменял квартиру — поселился в небольшом доме в уютном, тогда еще окраинном кишиневском районе Валя Дическу. В переводе с молдавского слово «валя» означает долину. Имя же осталось от румынского помещика, чьи

бывшие владения спускались в нее с пологих холмов во фруктовых садах и виноградниках. После войны их разрезали на участки под индивидуальную застройку. Участками наделяли отставных советских офицеров и действующих администраторов, торговых работников и строителей.

Новый хозяин Владимир Васильевич Крюков был из последних. Позже, когда между нами возникло подобие дружбы, несмотря на разницу в возрасте и скрытный характер Владимира Васильевича, мне стало известно, что он из донских казаков, но утаил свою принадлежность к этому мятежному сословию и растворился среди прочих трудящихся. Крюков поражал меня тем, что мог часами молчать, не произнося ни слова, притом, что был весьма красноречив. Ко мне скоро стал относиться почти по-отцовски, видимо, оттого, что Бог не дал ему родного сына, а с дочерьми отношения не сложились.

Все же дважды деликатный Владимир Васильевич позволил себе вмешаться в мою жизнь. В первый раз, когда я сорвался в загул, чтобы забыться, смягчить удар несправедливого предательского увольнения будто бы за пьянку, он сказал:

— Зачем вы так, Павел? Не делайте того, чего от вас ждет ваш враг. Господь наделил вас способностями. Напишите лучше о том, что случилось. И на душе станет легче...

Ну, а во второй — об этом после.

...Она позвонила только в конце декабря. Пригласила в общежитие.

Соседки, не стесняясь, разглядывали меня. Видно, Рена что-то наболтала им о странном типе, который в нее безумно и безответно влюблен. Одну из соседок потрясло это неразделенное чувство. Через короткое время она изъявила готовность вознаградить того, кто оказался на него способен. Бесхитростная соблазнительница невольно, задним числом подтвердила мою догадку о Ренином трёпе.

— Я говорила с Розой Борисовной по телефону. Старуха сказала, что ты съехал. Где же ты теперь живешь? — спросила Рена.

— Недалеко отсюда, у озера.

— Хотелось бы посмотреть, хорошо ли устроился.

— Приходи. Только предупреди заранее, не то можешь не застать.

— А давай, сходим сейчас. Тут ведь нам и поговорить толком не дадут...

Рене понравилось новое жилище.

— Точно в деревне — и рядом город. Виноградная лоза в окно заглядывает... С ума сойти!

Потом пили чай на кухне. Зашел Владимир Васильевич, я познакомил его с Реной. Видно, она понравилась хозяину. Он удалился ненадолго и вернулся с банкой меда.

— Угостите, Павел, барышню, сладеньким от своих пчел.

— Скоро Новый год, — сказала Рена, — как собираешься его встретить?

— Как обычно — в компании друзей-журналистов.

— А меня мог бы с собой взять?

— Запросто.

— Твои друзья не будут против?..

— Это исключено.

Пирушка ладилась в складчину. Я внес деньги за двоих. И вечером тридцать первого приехал в общежитие.

Рена была в комнате не одна. За столом сидел парнишка в форме суворовца.

— Это Роллан, — нимало не смутившись, представила она гостя.

— Свалился, как снег на голову — у него каникулы. На Кишинев от- вел три дня, а потом летит к матери в Новочеркасск.

Нет, обилие сообщенных подробностей все-таки выдавало если не волнение Рены, то испытываемый ею дискомфорт.

Воспитанный суворовец встал, в нем заметна была военная выправ- ка. Я совладал с нахлынувшими эмоциями и пожал протянутую руку. Юноша и вправду был симпатяга. Видимо, по неведению, ему ситуация казалась вполне естественной, что стало ясно, как только он раскрыл рот:

— Рад встрече со старым другом Рены, надеюсь, мы тоже станем друзьями.

Сообразительная Рена отвела мне роль старого, старого друга — эта- кого платонического покровителя молодой красавицы. Ей показалось, что прекрасно вышла из положения и, приободрившись, она сказала:

— Давай возьмем Роллана с собой.

Меня охватил азарт.

— Отчего ж не взять? Не оставлять же юношу одного в чужом го- роде в новогоднюю ночь! Только надо по дороге заскочить в гастро- ном и чего-нибудь купить — раз нас явится трое.

Незапланированный поход в магазин отнял время. На праздник мы явились с опозданием.

— Я уж и не знал, что думать — почему опаздываете? — сказал, не скрывая недовольства, Мирка Лимонов и добавил, понизив голос, чтоб слышно было мне одному: — Это что за толстовство?..

— Успокойся. Так нужно. Потом все объясню.

Опорожняли бокалы за уходящий, пили за наступивший год. Всем было весело. Я же впал в какое-то нарочито разухабистое удалство: шутил, каламбурил — демонстрировал безудержное довольство жиз- нью. Чуткий Мирка изредка обращал ко мне понимающий взгляд, точно урезонивал: «Не сорвись!» И это помогло удержаться в рам- ках.

Начались танцы. Поднялась Рена, грациозно положила руку на мое плечо.

— Ты ужасно трогателен...

— Уж какой есть.

— Нет, сегодня ты сам не свой.

— Значит, есть от чего.

— Да, но так получилось непреднамеренно. Я чувствую, твоим друзьям неприятно присутствие чужаков. Давай, уйдем отсюда. Только незаметно — по-английски.

— Надо бы и Роллана спросить...

— Я уже с ним переговорила — он тоже так считает: лучше уйти. Отправимся к тебе и проведем там остаток ночи. В общежитие нас сейчас не пустят.

Ускользнули втроем, не привлекая ничьего внимания, и отправились через весь город на Валя Дическу.

«Куда я их веду? — думал я дорогой. — У меня же, кроме раскладушки, стола и стула, ничего нет в комнате. И припасов никаких, не говоря уж о вине. Как же я приму навязавшихся гостей?..»

Но Рена ведь в моей клетушке была. Представляет, какие там возможности. Наверно, лучше б отказать... Надо быть мазохистом, чтоб подвергать себя таким истязаниям. Не хватило твердости сказать «нет», пей до дна эту горечь!»

Только мы пришли, сняли в прихожей верхнюю одежду, Рена спрашивает:

— Где у вас удобства?

— В конце сада. Надо пройти по бетонированной дорожке.

— Одной страшно. Проводи меня, пожалуйста. — Едва ступили на эту дорожку, Рена прильнула ко мне. — Всегда провожай, куда бы я ни пошла...

— Зачем ты ведешь двойную игру?..

— Теперь, когда я увидела вас рядом, поняла, насколько ты выше.

— Ничего, Суворовец еще подрастет... — Рену бил озноб, который перекинулся и на меня. Я отодвинул ее. — Иди.

Вернулись в клетушку, и еще раз убедился, как опрометчиво было соглашаться с Рениным предложением. А она по-женски домовито принялась устраивать постель.

— Ага, матрац, два одеяла, подушка, простыни... Будем спать на полу, мальчики.

Чтобы ложе было шире, расстелила все поперек и улеглась посередине.

— Ну, что, не жестко? — спросил я.

— Ничего, Суворов целую жизнь проспал на жестком, — сказал Роллан.

— Мальчики, укладывайтесь. Вместе будет теплее.

Роллан улегся рядом с Реной, а мне что-то мешало. И я не придумал ничего лучше, как усесться за стол и начать возню с бумагами.

Рена встала, нажала на кнопку лампы-грибка. Теперь комнату освещала только заглядывающая в окно луна.

— Прошу тебя, не занимайся самоедством. Можно еще немного соснуть до утра.

— Да, в редакции завтра, то есть сегодня, рабочий день.

Я отдал ребра, прикорнув на краю матраца, вжавшись в угол кле-тушки лицом к стене, — только бы не ощущать дыхания дремлющей впритык к моей спине Рены, а она то ли спросонья, то ли нарочно прижималась ко мне, будто с другого боку и не лежал ее первый мужчина.

Забылся ненадолго. Меня разбудил солнечный луч, пробившийся сквозь пожухлую виноградную лозу. Глянул на часы — уже пора быть в конторе. Тихо собрался и выскользнул наружу. Умылся и брился я на кухне, чтоб не потревожить спящих гостей.

Трудным выдался редакционный день после беспокойной новогодней ночи. И, возвратившись, я был рад, что не застал нечаянных постояльцев. И следов их пребывания не застал. Постельные принадлежности, как и положено, на раскладушке, она аккуратно застлана. На душе муторно — что поделаешь? А завалюсь-ка я до утра — сном все и пройдет. Разделся, как привык, по-моряцки догола и юркнул под одеяла. Заметил, что одной из двух простыней недостает, уже погружаясь в дрему.

Отоспаться мне помешал Роллан. Он заявился около десяти вечера, достал из-под шинельки исчезнувшую простыню и виновато протянул мне — простыня была немного влажной.

— Я ее простирнул, — объяснил суворовец. — Мы тут малость побаловались — ну, и следы оставили...

Его признания прервал стук в дверь.

— Павел, можно вас на минутку? — послышался голос Владимира Васильевича.

Выглянул в коридор. Крюков явно был чем-то взволнован.

— Что случилось, Владимир Васильевич?

— Должен вам сказать, что я против посещений этого молодого человека. — Тихий голос Крюкова зазвенел от негодования: — Он, гость, проявил неуважение к хозяину.

Кровь прилила к моим щекам. Мне было стыдно.

— Не волнуйтесь, сейчас я его уведу.

Как ошпаренный вбежал в комнату.

— У тебя неприятности из-за нас? — всполошился Роллан.

— Все нормально. Просто мне захотелось погулять, на ночь глядя. Заодно и тебя немного провожу.

— Если ты не против, обменяемся адресами на прощание.

— Я не любитель эпистолярного жанра.

Мы расстались, чтобы никогда больше не увидеться.

А Рена — что она? Рена иногда вспоминала номер моего рабочего телефона.

— Ты слышал? Приезжает Рихтер. Сходим на концерт?...

Теперь у меня не оставалось сомнений: ее поведение подло и бессмысленно. Почему же я исхитрился достать билеты, потом, забегая

за Реной в общежитие, краснел под соблезняющими взглядами ее соседок по комнате, точно получал удовлетворение от того, что смог перешагнуть через обиду и предательство.

После чарующей музыки хорошо было молчать. Рена же принималась выспренне рассуждать о высоте наших отношений, к которым не примешивается ничто грязное и которые свободны от корысти.

Собственно никаких отношений давно не было. Осталась боль от попоранного чувства. Теперь мне запросто удавалось соблюсти идеал, усвоенный смолоду, — в ту пору, когда я еще был чист и не знал женщин: любовь и физиология несовместны, и чем духовнее страсть, тем свободнее она от вожделения.

Помнишь, после нашего сближения у меня сочинились неуклюжие строчки:

*Я себя странно чувствую,
Как если б жена была лира или арфа.
Наверно, так бы — чур в струю,
Алкей, узнай и ты, что любит Сафо?..*

Нескладные стихи... Но что-то будоражило душу и не находило словесного выражения. Скорее всего выплеснулось подсознательное — мука от невозможности примирить божественный замысел о человеке и его плотское воплощение, духовность любви и физиологию совокупления.

Этот звонок Рены был не похож на другие. Просит прийти, а у самой голос дрожит:

— Ты мне очень нужен. Это вопрос жизни...

— Буду после работы.

Прихожу и не застаю ее дома. Ну, соседки по комнате усаживают за стол, угощают чаем. И между прочим рассказывают, в какое не красивое положение попала Рена. Рассказывают с гримасами мнимого сочувствия, что затащили бедняжку на вечеринку, компашка, видимо, была еще та, и там к Рене приклеился знаменитый Васька Черный. Теперь заваливается сюда чуть не каждый вечер, силком уволакивает на пустырь. А возвращается она в слезах. Какие-то у Васьки права на нее...

Тут и появилась Рена.

— Ты уже здесь? Извини, раньше я не могла... Даже раздеваться не стану. Пойдем, погуляем.

— Ты не голодна? Я, например, не ужинал... Может, в кафе заглянем? — предложил я на улице.

— Думала, у тебя пропал аппетит от того, что наболтали мои милые соседки.

— ?

— Ни за что не поверю, что они упустили такую возможность. Но я для того тебе и позвонила, чтобы выложить всю правду.

Она, действительно, влипла в очень грязную историю. Какая-то ма-лина, свальный грех. Она досталась Черному. И, на ее беду, понравилась уркагану. Теперь не дает прохода. Тащит во всякие непотребные места. Заставляет жить с ним. Не останавливается перед насилием и побоями.

— Надо же угодить в такую передрыгу!.. — вырвалось у меня.

— Да, я боюсь за свою жизнь. — Она разрыдалась. — Спаси! Только на тебя надежда...

Что мне оставалось? Надо было утешать кающуюся грешницу.

— Не бойся. Я найду на него управу.

— Да?.. А ты?.. А с тобой он ничего не сделает?..

— Не посмеет. Скажу, чтоб отстал, не то будет привлечен. У редакции достаточно влияния на правоохранные органы. Он со слабыми храбрый. И сесть не захочет, скотина!

— Павел, дорогой, ты истинно мой ангел хранитель!..

Только я появился утром в редакции — звонок Рены:

— Подумала и решила, что справлюсь сама.

Меня — точно обухом по голове: не хочет развязываться с Черным, значит, ей нравится быть подстилкой жулика. А, может, обо мне тревожится — как бы не нажил беды?..

И следом еще удар. Я уже писал об этом — об увольнении из газеты за статью, которая была признана наиболее удачной за неделю, вывешена на доске лучших материалов и даже оплачена повышенным гонораром.

Боролся за справедливость, устраивался на новую работу — в издательство и позабыл на время за хлопотами о Рене. Она объявилась сама, но уже ближе к лету — подстерегла недалеко от дома утром, когда я спешил в «Картя Молдовеняскэ» — «Молдавскую книгу», где состоял теперь редактором.

— Я тебя провожу — поговорить надо.

— Тогда не отставай. Мне опаздывать нельзя. Кончилась вольница вместе с газетой...

Быстрым шагом пересекали приозерный парк — ни дать, ни взять семейная дружная пара, торопящаяся спозаранку на службу. Молчание нарушила Рена:

— Ты не мог бы выручить одну мою подругу?

— Это в чем же?

— Среди твоих знакомых нет хорошего гинеколога?

— А что у нее?

— Ей необходимо избавиться от беременности.

— Аборты не запрещены сейчас — пусть обратится в клинику.

— Язык не поворачивался сразу сказать тебе правду — аборт нужен мне, а я не хотела бы рисковать, доверяясь случайному врачу.

— Васька?

— Нет, незнакомый тебе спортсмен.

— Вот и отлично. Выходи замуж. Зачем подвергать себя операции?

— Его и след давно простыл. Помоги, иначе все пойдет прахом — и университет, и все мое будущее. Я просто погибну.

— Хорошо. Попрошу своего товарища тебя посмотреть. Он замечательный специалист.

Товарищ практиковал в обычной городской больнице. Мы отправились туда вдвоем с Реной уже на следующий день — время не терпело. Осмотрев пациентку, эскулап конфиденциально мне сообщил:

— Поздно.

— Ты не ошибаешься?

— За кого ты меня держишь? Твой грех?

— Нет.

— Тогда сам не ввязывайся и меня не втягивай.

— Она на все пойдет, лишь бы избавиться от довеска. К бабке-повитухе обратится.

— Вот если бы у нее оказалась болезнь сердца, тогда в виде исключения можно было бы пренебречь ее сроком.

— Сердце в самом деле ненадежное, — сказал я, не покрывив душой.

Носил передачи, пока Рена лежала в палате, слушал укору населяющих ее женщин: зачем, мол, не дал родить своей пригожей супружнице?

— Сама не захотела, — оправдывался я. — Ей еще учиться и учиться.

Потом она исчезла из моей жизни, но не из сердца вплоть до того момента, как появилась ты. Не искал. Отступился. По черствости сердечной? Нет. Устал от падений и неприятностей, что с ней случались по собственной вине? Наверное. Я уже давно понял: это одна из тех неуправляемых натур, на которые невозможно влиять. Не освободился. Но и приносить себя в жертву чувству к той, что не способна ни на раскаяние, ни на ответный порыв, напрочь отказался, совладав, наконец, со своей безрассудной страстью. Освобождение, как мне казалось, произошло еще и потому, что я твердо убедился в беззастенчивости и цинизме Рениных диких поступков. Ведь расхлебывать последствия неизменно приходилось мне.

Помнишь, как я привел ее в нашу квартиру, снятую перед твоим очередным приездом в Кишинев? Что тому предшествовало? Шел домой после работы и случайно с ней столкнулся на центральном проспекте. Мы не виделись уже многие месяцы — несколько лет, наверно. Радость была искренней.

— Здравствуй, Павел! Приятно тебя видеть! Мне говорили, ты женился. И не на ком-нибудь, а на московской известной поэтессе.

— Кто ж это тебе доложил?

— Город небольшой, а земля слухом полнится. Может, познакомишь меня со своей избранницей?

— Ты сейчас свободна?

— Да.

— Тогда едем к нам. Тамара ждет мужа к ужину. Покормит и его былую зазнобу.

Ты встретила нас достойно, хотя и не была предупреждена о вторжении, — телефон не входил в перечень удобств малогабаритки.

— Вот так сюрприз! — приветливо сказала ты.

— Это Рена, — сказал я так, что было ясно: тебе уже доводилось слышать о ней.

— Надо бы выпить за знакомство, — предложила гостеприимная хозяйка и обернулась ко мне: — Милый, может, ты слетаешь в гастроном, пока он не закрылся?

До сих пор не знаю, о чем успели вы переговорить без меня. А вечер втроем провели чинно и мирно, как и приличествует интеллигентным людям. Настало время уходить госте. Я вызвался проводить ее до остановки автобуса.

Стоим. Ждем. Молчим. Каждый думает о своем. А транспорт, как всегда, подводит.

Рядом тормознул частник.

— Куда везти?..

— Нет, одна я с ним не поеду, — шепнула мне Рена. — Вот если бы такси...

— В оба конца сможешь? — спросил я водилу.

— Да хоть всю ночь катайся — лишь бы платил!

Домчал он нас мигом. Я вылез из машины первым, довел до подъезда. И она уткнулась в мою грудь.

— Все равно — любишь только меня. Всегда будешь любить? — Ее слова прерывали всхлипы.

— Успокойся. Ты очень старалась, чтоб получилось так, как получилось.

Дорога туда и обратно, лирическая сцена... Я обернулся в полчаса, наверно. Внешне ты была невозмутима. Не услышал ни попреков, ни недовольства в голосе. Минули годы прежде, чем узнал: в ту ночь ты и написала свой «Микроклимат»:

*У предгрозя несколько примет:
вдруг повеет тяжким, душным, банным.
Впрочем, можно жить самообманом,
что волнений не было и нет.*

*Крепкий мостик из дежурных фраз
над молчаньем нашим перекинут.
Или это просто микроклимат,
микроклимат в комнате у нас?*

*Ведь была удушливая тишь,
молния сверкала то и дело,*

*но гроза прошла и не задела
даже стул, которым ты скрипишь.*

Ты снова отбыла в Москву — болел отец, и требовалась твоя помощь. А я съехал с нашей малогабаритки, так как закончился срок найма. Перебираться пришлось к той же Лене Кортун, которая на мое везенье отправилась как раз в деревню.

Сидели вечером с забредшим случайно приятелем, пили молдавское сухое вино, говорили о разных делах.

Беседу прервал стук в окно — до него можно с тротуара дотянуться: особнячок-то приземистый. Отодвинул шторы — Рена. Да не одна, а с подругой.

— Проходили мимо, ну, и заглянули на огонёк. Не знала, что ты здесь. Где же Лена? — Скороговорка выдавала смущение Рены.

— Как видишь, вернулся на круги своя... Тамара в Москве. И моя последняя квартирная хозяйка отгостила у дочери, вот мне, как условились, и пришлось освобождать прежние хоромы. И опять Лена выручила — вовремя ее потянуло на природу.

Опорожнили за непринужденной болтовней бутылку. Приятель вспомнил, что его ждут дома. Заторопились и девушки. Я вышел со всеми.

Сначала проводили подругу.

— Надеюсь, ты не бросишь даму одну в ночном городе, — сказала Рена.

Шли рядом, но были, как никогда, далеки. На углу, где центральный проспект пересекал мою улицу, она остановилась.

— Что бы ты сказал, если б я предложила пойти сейчас к тебе?..

— Два раза в одну реку...

— Но ты ведь уже вернулся на круги своя. — Взяла меня за локоть и молча повернула налево — в сторону, ведущую к жилью, с которым так много было связано.

И случилась та ночь, когда я услышал, что бегала бы за мной, как собачонка.

«Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?»

И умнейший Пушкин задавался этим вопросом...

Потом она объявилась уже в Москве. Я работал тогда в «Советском экране».

— Тебя спрашивает очень интересная особа, — с подковыркой общила сотрудница, сидевшая за столом напротив. Ей было известно, что жена на сносях, дышит за городом свежим воздухом и теща — там же, а дачный муж мотается туда в конце недели.

Гляжу, в редакционную комнату вступает элегантная Рена.

— Наконец-то! Ну, здравствуй! Я уже отчаялась тебя найти.

— И все-таки отыскала. Каким образом?

— Журнал ваш попался.

Быстро закончил дела, увел ее от любопытных глаз.

Остались одни, и мне без обиняков было заявлено о цели появления Рены:

— Окончила университет — и приехала за тобой. Давай, начнем новую жизнь. Хоть на краю света, но вместе...

— А о Тамаре ты, конечно, и не подумала! В чем она-то виновата?.. Осенью мы ждем ребенка. Не сомневайся, я никогда его не брошу.

Следующая встреча была только через годы в Одессе, где Рена поселилась, выйдя замуж за ресторанный музыканта, — первый официальный брак. Я разузнал адрес у той самой кишиневской подруги, что мы провожали в памятную ночь, навестил семейство в окраинной ветхой хибарке.

Угрюмый, явно с перепою лабух даже не привстал с неубранной койки, услышав стук в стеклянную дверь.

— Кто там? Войдите. У нас не заперто.

Представился.

— Жена о вас говорила. Присядьте. Она сейчас будет — побежала в магазин за хлебом. Обрадуется старому другу.

Радость и вправду была неподдельной. Целовала при муже, глотая слезы, приговаривала:

— Пойдем, пойдем отсюда! — И уже тише: — Хорошо, хоть застал его проспавшимся, не то быть бы скандалу...

Мы отправились к близкому здесь морю. Она частила без умолку:

— Нет, ты не думай, он хороший человек. И любит меня. Но их оркестр играет в кабаке. Что ни вечер — выпивка. Возвращается поздно ночью. Перспектив никаких — ни на перемены в жизни, ни на квартиру... Могу положиться только на себя. И вот оформляюсь сейчас на научно-исследовательское океанографическое судно — нужны биологи. Уйду в рейс — все разрешится... Нас разведет вода...

И сама как в воду канула.

Мы тем временем сменили квартиру, переехали в Текстильщики. Рена нашла адрес через справочное.

Ей открыла приехавшая в гости мама — она была дома одна. Маму вторжение Рены не обрадовало: что подумает сноха?.. Но чаем наполнила и выпроводила, все-таки сообщив номер телефона.

Когда я появился, позвала меня в свою комнату.

— Ты знаешь, кто приходил? Твоя ненаглядная Рена. Ну, нахалка! Не стыдно ей врываться в семью!.. Хорошо, что хоть Тамары не застала... Обещала обязательно позвонить.

Не уклонился от свидания, потому что и через столько годов мне не была чужой эта взбалмошная женщина.

Ее точно щадило время. Смеясь, рассказывала, что стала настоящей морской волчицей, привыкла к монотонной, без развлечений судовой жизни и положила на сберкнижку десять тысяч, так что будущее обеспечено.

— А в личном плане? — Не нужно бы, да не утерпел — спросил.

— Представь, сошлась с одним морячком. А что дальше — не хочу загадывать.

Она нашла себе другого мужа, третьего по счету, тоже связанного с морем, но сухопутного. Родила сына, которого назвали, как отца. Мы потом познакомились. Неплохой попался ей человек. Собиратель и ценитель книг. Подаренную Рене мою «Горечь померанца» прочел, сказал, с интересом. Еще бы! Я ведь там писал, что будущая его жена помогла мне понять простую истину: уметь любить — важнее, чем быть любимым.

Как-то он отнесется к продолжению повести, если напечатают и попадетс я ему на глаза?..

Каждое лето бывал в Одессе у младшей сестры. И обычно звонил Рене. Она приглашала к себе. Деликатный супруг оставлял нас одних — отлеживался в спальне с томиком в руках, а то и вовсе куда-нибудь уходил. Мы часами сиживали на кухне. Иногда Рена поднималась, клала голову мне на плечо и говорила с повлажневшими глазами:

— Ты стал совсем родным. И что я так расстраиваюсь после наших встреч?.. Наверно, надо их прекратить...

Но через год все повторялось.

Однажды она сказала:

— Сейчас многие эмигрируют. Одесса — так просто лишилась своих евреев. Ты не думаешь уезжать?

— Подумываю.

— Возьми меня с собой.

— А сын? А твой муж? И не склеилось бы у нас с тобой.

— Но ты же любишь меня!

— Нет, дорого былое чувство к тебе. Подобное нисходит, да и то не на каждого, только раз в жизни. Но я излечился от него, как от хвори.

Последнее посещение Одессы. Горе. Умерла сестра. На девять лет старше — и пережил. Несправедливо это.

После кладбища зять отвез в осиротевшее без хозяйки семейное гнездо и укатил куда-то. Я остался один и мог, не таясь, предаваться скорби. Но утром по привычке позвонил Рене.

— Ты снова здесь?

— Да. Идочки больше нет.

— Страшно. Прими мои соболезнования.

— Теперь в Одессе только ее могила да ты...

— Но видетс я нам не следует.

Я молча положил трубку.

Совершенно отчетливо, так редко со мной бывало, до мелочей запомнились обстоятельства первого, еще заочного знакомства с тобой. Чем это объяснить? Принес из читалки десятую книжку журнала «Юность»

за 1960 год, положил на редакционный стол, раскрыл. Там, точно в мартовском женском номере, было много девичьих стихов: Новелла Матвеева, Инна Кашежева, Светлана Евсеева и ты. Прочитал подряд все подборки. И почему-то опять вернулся к твоей. Не знак ли то был?

В углу страницы — маленькая фотография. Под ней — подпись: Т. Жирмунская. Вгляделся: не мырма, вполне симпатичная и молодая.

«Есть же где-то умные девчонки, — подумал я, — и кому-то же они достаются!..»

Пушкин как-то обмолвился, что «поэзия должна быть глуповата». Наверно, сказано это было не всерьёз. А мне, литературоведу по образованию, не мешало бы знать: стихи иногда умнее их авторов.

Минуло, чуть ли ни день в день, два года. По редакциям молдавской столицы пронеслась новость: приехали писатели из Москвы и сотрудники журнала «Молодая гвардия» и, как ни странно, жаждут встретиться с кишиневскими коллегами. В республиканскую библиотеку приглашены, видимо, для количества, еще и местные журналисты и издатели.

Мероприятие проводилось в рабочие часы, так что охотников посачковать набежало много — большой зал был полон.

Гости, естественно, почетно восседали на сцене: Семен Шуртаков, Дина Злобина, Тамара Жирмунская, Вячеслав Кузнецов (он, кстати, оказался не москвичом, а ленинградцем), Наум Коржавин. Фамилию «молодогвардейца» вымыло из памяти.

Первым на правах председателя к аудитории обратился Шуртаков:

— Есть предложение — не превращать наше собрание в читательскую конференцию. Мы все здесь — собраты по перу. Я ожидаю профессионального разговора о литературе. Кто хочет высказаться?..

Аборигены ответили мужественным молчанием.

— Ну, кто начнет? — не унимался председатель.

Результат был тот же. Что-то сорвало меня со стула. Наверно, стыд за провинциальную заскорузлость и немоту. Встал — и понесло. Я тогда не пропускал ничего примечательного в текущей периодике и самонадеянно принялся критически рассуждать о прочитанном.

Что, а разве не интересно было увидеть живую «умную девчонку», которая наверняка уже досталась кому-то? Не скрою, интересно. Ты была такая же, как на снимке в «Юности», только в цвете: фиалковые глаза, бледное лицо с выразительными чертами в ореоле почти пепельных волос. Чуть блеклым краскам продуманно соответствовала скромная одежда легких серых тонов и изящная камея на груди. На мой придиричивый взгляд, фотограф «Юности» немного польстил модели, но незаурядную личность невозможно было в ней не заметить.

Потом и от тебя услышал, что ты обратила на меня внимание еще до того, как я начал вякать. И даже шепнула сидящему рядом Коржавину: «Эмка, посмотри на голубоглазого в третьем ряду. Как он мне нравится!»

Сцена темпераментно откликнулась на мои эскапады. Завязалось нечто вроде спора, где с одной стороны выступали авторитетные столичные литераторы, а с другой — безвестный периферийный издательский работник.

Из задних рядов передали сложенный вчетверо лист бумаги. Хотел отправить его дальше — в президиум, но вовремя заметил сверху свою фамилию. Развернул. Довольно едкая карикатура шаржированно воспроизводила то, что происходило в зале. Под рисунком было написано: «Встреча П. Сиркеса с «Молодой гвардией». Словно окатили холодной водой. Оборвал себя на полуслове и сел. Нет, лучше б я не бросался на амбразуру...

Скоро и гости заторопились: оказывается, им предстояло выступить по телевидению.

Все расходились. Поток людей вынес меня на Коржавина.

— Наум Моисеевич, мы с вами некоторым образом сидели за одним столом, — сказал я.

— Да? — удивился Коржавин. — Где ж это было?

— В Караганде. Я приехал туда после вас. И мне досталось в редакции ваше рабочее место.

— Так мы с тобой почти земляки? — обрадовался бывший ссыльнопоселенец. — Вот что, старик, мы сейчас спешим отметить в ящике. А ты приезжай после девяти в гостиницу «Кишинэу».

Купил две бутылки лучшего из лучших «Негру де Пуркар» — «Пуркарского черного» и в назначенное время двинул в отель. Коржавин был прост, приветлив, без конца расспрашивал об общих карагандинских знакомых, о редакции газеты «Социалистическая Караганда», куда его, бесправного, политически сомнительного человека взял наш смелый шеф Федор Федорович Боярский.

— Слушай, Паша, — предложил Коржавин, когда мы пригубили бокалы, — ты не против, если я кликну ребят? Грех не распить вместе такое чудесное вино!

— Конечно, не против.

Он обзвонил группу, и через несколько минут в его небольшом номере сделалось тесно. Смаковали пуркарское, говорили, читали стихи. Мне не пришло в голову побеспокоиться о закуске. У приезжих оказалась в холодильнике лишь трехлитровая бутылка красно-зеленых — они же бурые — маринованных помидоров. Но успеху пирушки это не помешало. И принимали, как равного, — ни намек на разницу в литературных рангах.

— Завтра отправляемся в поездку по республике. А что, Паша, если и ты с нами?

— Я бы с радостью. Только у меня путевка на турбазу в Адлер и билет на самолет в кармане.

Тебе почему-то вздумалось посмотреть мои руки.

— Не верю в хиромантию, — невежливо сказал я.

— Это так, не всерьез, — мягко возразила гадалщица, всматриваясь в левую ладонь скептика и вслух комментируя увиденное.

Казалось, ты считаешь неведомые письмена, запечатленные на раскрытой длани, открывая нечто сокровенное в человеке, о существовании которого еще вчера ничего не знала. Легкое касание, приглушенный голос с переменчивыми модуляциями настраивали так, что хотелось поверить в услышанное и одновременно возникала неловкость из-за присутствия при таинстве посторонних.

Видимо, ты уловила мое состояние, потому что неожиданно прервала себя:

— Ладно, хватит для первого раза... — сказала, словно у импровизированного сеанса прорицаний могло быть продолжение.

Глянул на часы — около двух ночи. Увлёкся, позабыл о приличиях в обществе интересных и воспитанных людей.

— Пожалуй, пора, — заторопился я.

— Мне тоже пора спать, — сказала ты.

Мы покинули номер вместе. Вместе дошли до лестницы. Дежурная по этажу многозначительно посмотрела на нас недреманном оком.

Остановились, чтоб проститься.

— Благодарю за забываемый вечер и за гаданье.

— За гаданье благодарить нельзя, иначе не сбудется... А в Москве вы бываете?

— Случается.

— Оставлю вам свой телефон — звоните, как попадете в наши края. Только на чем и чем записать?

Я достал вечное перо и блокнот, и ты черкнула в нем не только телефон, но и домашний адрес.

Теперь уж точно не было причины длить расставанье. Протянула небольшую энергичную кисть — рукопожатие получилось разом и крепким и нежным.

Рано утром ко мне прибежала Идочка, и мы поехали в аэропорт. Перед посадкой я успел купить сестренке подарок, который она сама и выбрала, завтра, двенадцатого октября, у нее был день рождения. Отталкиваясь от этого дня, можно точно восстановить дату нашего знакомства. Оно пришлось на десятое октября 1962 года.

Ты любишь повторять: «Браки совершаются на небесах». И правда, слишком много совпавших случайностей предшествовало нашему союзу.

Вернулся из Адлера в канун октябрьских торжеств. Потянуло во все еще родную «Молодежку», где оставались самые близкие друзья. Перед праздниками в редакции всегда устраивался сабантуй. Я и попал на него.

Сидели в кабинете ответсекретаря. Прямо передо мной на столе чернел телефонный аппарат. Когда он зазвонил, рука чисто рефлекторно схватилась за трубку.

— Москву заказывали? — спросила оператор на том конце провода. — Номер не отвечает.

— Кто ждал Москву? Абонент молчит, — сообщил я присутствующим, не прерывая разговора со связисткой.

— Попроси повторить через час, — сказал ответсекретарь.

— А нельзя ли мне воспользоваться линией? — обратился я к секретарю, прикрыв ладонью микрофон.

— Да ради Бога!

— Наберите снова через час, а теперь попробуйте, пожалуйста, 2295014, — достав записную книжку, продиктовал я твой номер. — Вдруг этот ответит...

Не прошло и минуты, как нас соединили с тобой.

— Куда вы пропали? — донесся сквозь полторы тысячи километров узнаваемый голос. — Думала, напишете — и напрасно...

— Мне казалось, вы и не вспомните, кто же прислал письмо.

— Ничего подобного. Буду рада получить весточку из Кишинева.

— С праздником! Творческих успехов и прочих — тоже.

— И вам. Спасибо, что позвонили.

Невежливо было бы не откликнуться на такое радушие. Пришлось сочинять открытку, где главным образом излагались впечатления от гаданья. Ты ведь сохранила всю нашу корреспонденцию за тридцать шесть лет и можешь проверить, крепкая ли у меня память...

Ответ не заставил себя ждать. В приветливом послании содержалась и скромная просьба — прислать немного чернослива для больного отца: врачи рекомендуют, а в Москве сей целебный продукт исчез.

Посетил я базар, купил несколько килограммов отборных, вкусно пахнущих дымом сладких плодов. Но для отправки бандероли понадобилась помощь тетки: она и сшила вместительную торбу.

Второе письмо содержало благодарность за чернослив. Ты удивлялась — зачем столь щедро, интересовалась, а сколько это стоит, чтобы тотчас же возместить затраты.

Не будем мелочиться, возразил я, предложив обращаться ко мне по любому, связанному с Молдавией поводу.

Третья эпистола прибыла в конце декабря и дышала Новым годом. Ты называла его своим любимым праздником. И еще писала, что у вас по такому случаю собирается весьма неординарное общество и как было бы хорошо, если б я приехал на эти дни в Москву.

Что оставалось подневольному служащему — зависимому от начальства книжному редактору? Только одно — подать директору заявление о недельном отпуске без содержания.

— Причина? — строго спросил шеф.

— Хочу съездить в столицу нашей Родины.

— На блядки? — не смутившись моим высокопарным объяснением, предположил искушенный в означенном занятии вершитель

моей судьбы. Он ко мне благоволил и, видимо, только поэтому позволил себе словесную вольность.

— Что вы, что вы! — открестился я от низкого подозрения. — Пригласили встретить вместе Новый год.

— И кто она?

— Так, одна интеллигентная девушка, между прочим, поэтесса...

— Отпущу, если вернешься женатым.

— Шутить изволите?.. Да я ее и видел всего раз.

— Хорошо. Только на свои скромные заработки ты там не разгуляешься... Вот что — дам-ка я тебе командировку в Главиздат. Отметимь — и свободен.

Достать билет на самолет в предновогоднем столпотворении тоже помог директор.

В Москве остановился у танцовщика Владимира Тихонова. Он выдержал конкурс в Большой театр, а еще недавно был солистом в нашем, кишиневском, и уже успел получить комнату в квартире на Смоленской набережной, где кроме него обитали балерина Светлана Адырхаева с мужем, певица Дина Дян — тоже свежеепеченные жители белокаменной.

На сцене Большого Володя дебютировал главной партией в «Жизели» и, конечно, сразу же одарил меня двумя контрамарками на этот спектакль. Он и вообще принял своего земляка очень по-дружески, хотя на родине мы и не были особенно близки.

Первый звонок — к тебе. Ты приятно удивлена моим неожиданным появлением. И возможности посетить Большой.

— Приезжайте завтра к трем. Познакомитесь с родителями, пообедаем с ними — и в театр. От нас близко...

На другой день отыскиваю записанный в блокноте адрес — Горького, 12. Бахрушинский дом. Модерн начала века. Балконы почти во всю ширину фасада, с витыми решетками, выступающие окна-фонари. Не подумал бы, что доведется здесь прожить целых десять лет...

Парадное. Широкие лестничные марши. Латунные кольца для исчезнувших латунных стержней, которые прежде удерживали сбегавшие вниз ковровые дорожки. Да, некогда жильцов и посетителей этого подъезда приветствовал швейцар в ливрее. Теперь в нос шибает застоялый запах мочи. И это — центр столицы мира!..

Через тускло освещенную прихожую я был проведен в старинную залу с высокими лепными потолками и навощенным скользким наборным паркетом. Фанерная перегородка и ширма красного дерева отрезали от залы небольшое пространство — что-то вроде супружеской спальни. Антикварная мебель перемежалась с современным ширпотребом. Посередине стоял не по-нынешнему сервированный стол.

Тут появились и родители — Марья Федоровна и Александр Владимирович.

— Вы уж извините, — кротко оправдывалась хозяйка, — завозились на кухне — мой Шурик-то из-за болезни теперь не помощник. Хорошо, кафе «Лира» выручает. Там и готовят хорошо и все свежее...

Хозяин по-свойски улыбнулся:

— Она и без меня отлично со всем управляется...

— Будет случай, еще попотчую вас домашним пирогом, — пообещала милейшая Мария Федоровна.

А Александр Владимирович, все-таки чувствовалось, настороженно приветлив: что еще за провинциал объявился среди знакомых единственной дражайшей дочери.

Дары молдавской земли были оценены по достоинству. Смаковали вино, похвалили фрукты. Блюда из кафе оказались вполне съедобны. Разговор же теплился прощупывающе вежливый. И не очень проницательному, обремененному разнородными впечатлениями визитеру с первого взгляда было заметно, что старик, прозревая скорый свой уход, озабочен одним — с кем оставит он на грешной земле единственное любимое чадо. Ясно было и то, что вряд ли его порадовал бы хранитель драгоценности в лице безвестного редакторишки с далекой периферии.

Мы покинули хлебосолов-родителей минут за сорок до начала спектакля. Выходя из лифта, я замешкался и отлично запомнил такую картинку: подъезд пересекает высокая женская фигура, видная со спины, серая шуба из искусственного меха, ее полы колыхаются при каждом шаге обутых в ботинки на каблучках стройных ног. Что-то отчуждающее, не мое на миг почудилось мне в этой спине...

Впервые попал в Большой. И, конечно, меня очаровали и театр, и спектакль. Ты тоже была в восторге от постановки.

— Настоящий праздник! И ваш друг очень хорош. Передайте ему мои поздравления. Как жаль, что балет Большого стал почти недоступен для рядовых москвичей!..

И уже при расставании:

— Так жду вас к себе завтра к десяти вечера. Проводим старый год с родителями, а потом пойдем к кухне, где и собирается наша компания.

Не стану излагать подробности второго визита на Горького, предновогодних посиделок.

Самое главное произошло после, когда мы оказались у троюродной сестры Веры Жирмунской и ее мужа Лени Рутицкого. Не очень преуспевающие сценаристы, они все же жили в отдельной квартире на Суворовском бульваре. Потому там и было основное действие.

Общество и впрямь подобралось занятное: киношники, литераторы, журналисты. Веселье было неподдельным, остроумие оригинальным. Я поначалу немного растерялся среди столь блестящих персон, но ты, чутко уловив мое состояние, не оставляла меня без внимания и опеки.

Каким-то образом мы очутились на кухне с кафельным полом из разноцветных плиток. К нам ластился толстый слюнвявый боксер по кличке Сэр. Тебе ничего не оставалось, как только отгонять пса и льнуть ко мне. Твой ответный поцелуй был горячим и страстным. Я ощутил такую тягу (твое слово), такую тоску по мужской ласке и ожиданье женского счастья, что нельзя было не откликнуться на них. Нет, я не любил тогда. Но что-то сильное во встречном движении подхватило меня и повлекло.

Рассказываю и о том, чего ты не можешь не знать. Да разве безразлично тебе, как я тогда воспринимал случившееся с нами?..

Мы расстались под утро, когда заработало метро. И договорились, что снова приду на Горького сегодня же — только посплю немного.

Аппетитный дух печева щекотал ноздри с порога. Из общей кухни доносились голоса хлопочущих там родителей. Одни в вашей просторной комнате, и обоих одолевает смущение после ночных объятий: точно ли нас связали или то настроение праздника и выпитое вино? Ты присела рядом на девическом своем диване, посмотрела испытующе-нежно.

— Пойдешь за меня замуж? — выпалил совершенно неожиданно я, подсознательно готовый к тому, что мой вопрос будет воспринят, как неуместный, и ты шуткой смягчишь обидный отказ. Но услышал серьезный ответ:

— Пойду.

Тут появился Александр Владимирович с каким-то блюдом в руках.

— Папа, мы с Павлом решили пожениться, — огорошила ты его.

— Что ж, как говорится, в добрый час! — собравшись с духом, посоветски благословил отец. — Маруся, Маруся! — позвал он в приоткрытую дверь.

Присеменила всполошенная Мария Федоровна. Новость была сообщена и ей. Мать, не скрывая радости, пожелала нам всего, что только можно пожелать, то есть любви и согласия.

На другой день мы подали заявление в ЗАГС.

Не соединился с Реной. Пренебрег Брижит. Значит, по расчету? На известность клюнул? Позарился на Москву? Нет и нет. Сердцем понял, что ты будешь верной женой. Мне никогда не наскучит жизнь с тобой. И — не покривлю душой — захотелось вырваться в другой мир. Уйти из лап молдавских гебистов и затеряться в огромном городе. И жажда новизны обуяла.

А почему такая спешка — в три дня? Да просто знал, что если начну тянуть, то погрязну в сомнениях, передумаю, как уже случалось на моем бобыльем веку.

Бракосочетание назначили через месяц. И я улетел в Кишинев. По возвращении искал квартиру, где тебе было бы удобно жить и работать. Даже шеф участвовал в моих усилиях, гордясь тем, что подвиг старого холостяка на запоздалую женитьбу.

Подворачивались всякие варианты. Например, особняк вблизи озера. Он стоял на отшибе, посреди небольшой рощицы. И в другой дом готовы были пустить постояльцев. Этот глядел на узкую улочку, что пролегалла у того же водоема, но на взгорке, откуда рукой подать до центра и который обступили такие же частные владения. Написал в Москву, спрашивая, что предпочесть.

Письма и тогда шли медленно. Вдруг приходит телеграмма из двух слов: «Выбираю одиночество». От меня как-то разом отскочили думы о жилье. Что это она, почему?.. Прилип к телефону.

— Тамара, я ничего не понимаю...

— Милый, ты так красочно изобразил уединенный особняк в рощице, что мое предпочтение досталось ему.

Мама была счастлива, что сын, наконец, решил обзавестись своей семьей. И долго чаемая еще не знакомая невестка ее устраивала. Хотя бы потому, что сват — еврей. Половинка, не враждебная кровь...

Только как соответствовать при неистребимой хронической бедности? И без гостинцев новой родне в Москву не поедешь...

Успокаивал: и Тамара и ее родители — люди вполне интеллигентные, все поймут. Впрочем, у меня возникла приличная сумма денег, полученных за переведенную книгу, так что справимся.

Вот жертвенное сердце! Я по мальчишеской глупости помешал маме устроить личную жизнь. А она изо всех сил печется об устройстве моей, точно не понимает, что у меня появятся новые обязательства, которые могут помешать заботам о ней.

Накупили всякой снеди, фруктов, коньяков и вин. Удались мамини фирменные струдель и лейкех — национальные кондитерские изделия.

Погрузили все в поезд. И маму я посадил — и поспешил на самолет. Прибыл в Москву на сутки раньше, так что встречать будущую свекровь на Киевский вокзал ты смогла поехать вместе со мной. Объятие на перроне скрепило ваше родство, никогда и ничем не омраченное. Всегда буду тебе благодарен за это.

Попав первый раз в жизни в московскую квартиру, мама едва скрыла удивление: как же чужие друг другу люди вместе живут? В Тирасполе да и в Кишиневе, несмотря на послевоенное неустройство, коммуналок не было. Твой же отец выразил свои чувства вслух:

— Ну, до чего молодая у меня сватья! С такой и самому нельзя стариться... — Маме было сорок девять лет.

Сватья зарделась и извлекла из потайного кармашка перстенок с аметистом — подарок для тебя.

— Тамарочка, камушек под цвет твоих глаз...

Тут малость опростоволосился бонтонный сват:

— Так и думал, Анна Наумовна, что вы преподнесете дочери колечко с камушком...

Мне мама потом сказала, что реплика показалась обидной, но она молча проглотила ее.

Гостью вы устроили у себя. А меня ты проводила в Сокольники, в кооператив мужа кузины Софьи Мироновны — той, что, сразу полюбив вдруг обретаемого родственника, напрочь отказала ему в своем расположении, когда он сделал то, что сделал, — решил эмигрировать.

Прежде мы не оказывались в обстановке, склонявшей к интиму. Не так было в Сокольниках. Тебе же хватило твердости, чтобы охладить пылкого жениха:

— Уж потерпи до завтра...

Завтра, 2 февраля 1963 года, должно было состояться официальное вступление в брак.

С утра заехал за свидетелем с моей стороны — дружкой по-старинному. Этой чести удостоился Леня Дондыш. Потом мы вдвоем отправились на Горького, где нас встретила чем-то сконфуженная Мария Федоровна. Она сообщила, что ты ненадолго отлучилась по неотложной надобности.

Ждем. Время к двум, когда нам назначено. Тебя все нет. Невеста перед свадьбой пропала — это ли не повод для волненья?..

Ты появилась минут за тридцать.

— Что случилось? — нервно спросил я. — Мы тут заждались...

— Потом объясню.

Потом узнал, что утром позвонила Устинья Андреевна, мать Юрия Казакова, твоей рухнувшей первой любви. Умоляла о встрече. Доказывала, что, выходя замуж не за Юрочку, ты совершаешь непоправимую ошибку. Он далеко, в Тарусе, не то... сам бы, сам. Вот вернется — и все у вас сладится. Ну, а ты? Ты не устояла перед слезной просьбой старушки выслушать ее не по телефону.

Мне до сих не известны подробности разговора, от которого не удалось отказаться. Не ведаю и твоих доводов. В ЗАГС, однако, мы поспели к сроку. Зрелые люди связывали свои жизни: тебе было двадцать семь без месяца и двадцати дней, мне — тридцать лет, четыре месяца и два дня.

Три возможных расклада судьбы... Почему же последний?.. Там, на небесах, где, как ты веришь, совершаются браки, наверно, благословили наш союз. Дочку хорошую родили на свет и поставили на ноги. И вот уже столько годов вместе держимся. А испытаний нам выпало, через которые мало кому довелось пройти.

Что ж это за испытания такие? Всею причиной я, мое маниакальное нежелание и дальше жить в Советском Союзе.

Казалось, он навсегда, навечно. Ничто здесь не переменится. Зачем же губить и вторую половину краткого земного пути? Так я считал, притом, что мне уже перевалило за сорок. Сколько осталось?.. Да хоть сколько! Если мерить веком расстрелянного фашистами деда Моисея, то сознательных лет в запасе больше, чем уже зря уग्रохано.

Ношу имя человека, которого убили совсем молодым — в двадцать четыре года. Не очень часто вспоминал об этом. Но неосознанно то, что жизнь дяди, папиного брата, в память о ком я назван, была пресечена насильственно, как-то, наверно, на меня влияло? И чем старше становился, тем сильнее ощущался не страх, нет, — мной все явственнее овладевало ожидание неведомо откуда грозящей опасности.

В смерти после шестидесяти, как мне сейчас, нет ничего противоземного, хотя, признаться, охота топтать эту землю не пропала и доньше. И сила в ногах и прочих членах все еще есть.

Боюсь за Сашу. За близких.

Только ли приближением старости вызвано это чувство угрозы? Нет, конечно. Просто возраст сделал его нестерпимо острым. И потому неотвязным. А раньше и думать о том было недосуг.

Как же можно забыть, что жизнь человеческая в родной твоей стране не ценится ни в грош? Гекатомбы трупов сопровождают нашу историю. Похоже, ее локомотивы — революции приводились в движение энергией жертвоприношения. Немало своих детей отдали проклятому всесожжению и оба рода, которые, соединившись, произвели на свет Божий меня, страдальца.

Сколько же то может длиться?! Не пора ли прервать дурную бесконечность? Оставлять на заклание единственную дочь? Да я лучше увезу ее в неизвестность. Какая ни выпадет доля, хуже нигде не будет. Так рассуждал. А тут в кои веки образовалась щель. Крошечная. И прищемить ненароком могут. И не бывает подобное долго в разлюбленном отечестве. Как не воспользоваться, пока не закрыли?..

Ты и слышать не желала об эмиграции при живой матери — она не поедет. Как будто мало разбросало русских женщин по разным континентам?

И после смерти Марии Федоровны опять находились причины, о которых раньше не было речи, потому что и одного довода было довольно.

— Мне не просуществовать без русского языка, — говорила ты. — Лишь в нем я могу реализоваться как поэт, как писательница. А без этого сойду с ума, умру, кончусь. Не тяни меня за собой...

Я приводил примеры и давние и свежие, когда наши творили на Западе. Да вот тех же Бунина и Бродского. Возражения были вполне вразумительными. И про семь холмов, без коих не придет вдохновение. И опять про самовитое родное слово. И про российскую неповторимую словесность. Ссылаюсь на Тургенева — он ведь тоже «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» обращался к великому русскому как единственной надежде и опоре, а сколько времени провел за границей, во Франции и умер в Буживале. Да, рядом с возлюбленной Виардо, возражала ты. Мы же оставляем не только родственников, близких — лишаемся своего круга, друзей.

Ссылки на самых кровных — мать, родных сестер больно били по мне. Я смирился с тем, что с ними придется расстаться, скорее всего — навсегда. Мара и Ида... Муж первой не мыслил жить за кордоном, грозился, что запретит получать мои письма, если уеду. (В скобках замечу: теперь он обретается в Мюнхене среди трех своих братьев с чадами и домочадцами.) Вторая, так рано ушедшая Идочка, была женой украинца в эмвешных погонах — не жандарма, нет, лишь деятеля в спортивном обществе «Динамо», приписанного к карательному ведомству. Значит, обе сестры оказались крепко повязаны. Исключалось, что они последуют за нами, если мы все-таки решимся. Мама же никогда их не бросит... Я терял всех троих.

Понимал: не переубедить человека, который не готов внять твоим мыслям и чувствам. Но принялся писать книгу, чтобы изложить их. В начальном варианте она называлась «Выслушай меня!» К большему не стремился — только выслушай.

Ты тогда неожиданно была послана в первую и до сих пор единственную заграничную командировку от Союза писателей. Командировку в малопривлекательную для влиятельных шелкоперов Румынию. Наверно, потому и кинули тебе.

Остался дома вдвоем с дочерью. Провожал ее утром в школу и сидел за уголок обеденного стола. Строчил быстро, не заботясь о стиле. Исповедовался. Выполнял печальный долг — сказать и за неумевших говорить, чьи уста сомкнулись навсегда. Не приходилось ранее трудиться так много и с постоянным ощущением душевного подъема. К вечеру набиралась стопка заполненных почти без помарок листов.

Ты путешествовала восемнадцать дней. Книжка за это время сильно продвинулась. Не рассчитывал когда-нибудь опубликовать ее в Советском Союзе. Разве что на Западе, если мы там окажемся. Не рисковать же свободой. Тамиздат отсюда меня пугал не тюрьмой — мама не пережила бы...

Заканчивал рукопись после твоего возвращения тайком и урывками, отвлекаясь на текущие поделки, время от времени перепавшие киношные заказы, поездки на съемки. И где бы я ни находился, меня, как мощным магнитом, тянуло в мою бумажную исповедальню. Испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие, впервые за десятилетия на литературном поприще безоглядно доверяясь чистой странице, выкладывая самые сокровенные помыслы и сердечные движения, позабыв о внутреннем и внешних цензорах. И ведь никем и ничем не был понукаем — ни условиями договора, ни звонками со студии или издательства.

И вот поставлена последняя точка. Это произошло на исходе 1977 года. Не очень и держал в голове все, что начеркало перо. Прочитал. Многое просилось быть переписанным. Но сначала надо было перепечатать. Достал тонкой папиросной бумаги и принялся отстукивать

текст на своей портативной выносливой «Колибри», что-то поправляя по ходу дела. Тыкал двумя пальцами, как умел, постепенно увеличивал скорость. Так и получилось около двухсот машинописных страниц через один интервал — для убористости.

Наконец, рукопись отдана тебе. Ты не стала меня томить — прочитала залпом. Слово в слово запомнился разговор, который затем последовал:

— Я не знала, что творится в твоей душе. Ты не можешь дольше здесь жить. Звони тете Риве — заказывай вызов для всех нас. Только как быть с мамой?.. Возьмем ее с собой?

— Она не оставит дочерей. Мы это обсуждали. А наш отъезд благословит.

Бытовало убеждение — домашние телефоны тотально прослушивают, частная корреспонденция за границу и обратно вся без исключения перлюстрируется. Ссылки на то, что подобное неосуществимо чисто технически, не внушали доверия. Рассказывали даже такой анекдот.

Два диссидента — гуманитарий и инженер. Предстоит обмен важной правозащитной информацией.

Первый накрывает телефон большой подушкой.

— Брось, — смеется второй, — вся система не работает. Как же может действовать прослушка?..

— Да потому и может, что все остальное не функционирует...

Я помчался на переговорный пункт и заказал Риву.

— Вышли бумаги, — ввернул между незначительными житейскими новостями, прибегнув для надежности к языку идиш. Наши данные были тетушке известны — она аккуратно поздравляла каждого из нас с днем рождения.

— Дойдет ли? — переживала Тамара, считая недели. — Нет, точно перехватят. За нами явно следят. Ты замечаешь, как подозрительно щелкает в телефонной трубке?..

Но вызов, несмотря на опасения, прорвался.

Хочу приступить к сбору необходимых для подачи в ОВИР документов — ты меня удерживаешь.

— Надо дождаться рецензии на книжку Аксельрод в «Литературном обозрении». О Лене так редко пишут! Для нее очень важен благожелательный отзыв в популярном журнале.

— Не обернулся бы против, когда выяснится, что похвалила-то отщепенка?..

— Нет, подожди.

На подходе были и другие публикации.

Ну, а я — я заранее предусмотрительно свернул профессиональную активность, чтобы никого не подводить.

Появляется пятый номер авторитетного ежемесячника со столь вожделенной рецензией. Интересно, кстати, вспоминает ли Аксель-

род о сем судьбоносном факте своей литературной биографии в земле обетованной, где она нынче поэт-лауреат?.. На дворе май. И ты говоришь:

— Действуй!

Труднее всего было получить для ОВИРа справки с места работы. Мы нигде не служили, зато состояли в творческих организациях. Обратиться за этими справками — значит обречь себя на позорное изгнание из рядов.

Я числился сразу в трех авторских корпорациях. В Союз журналистов вступил еще в Караганде, в 1958 году. Группком драматургов рассматривался как нечто промежуточное — до приема в Союз кинематографистов. Оформил членство там после Высших курсов сценаристов и режиссеров, в 1969-м. Киношники же проволынили меня целых шесть лет. Вроде бы всем соответствовал: образование по специальности, количество и качество снятых фильмов. Только стеной встал поперек председатель приемной комиссии известный оператор Владимир Монахов. Его мнение — слишком много у нас евреев — было решающим, хотя он и не трубил о нем на каждом шагу.

И не видать бы мне членского билета до смерти почтенного Монахова, если б в начале седьмого года эпопеи вступления в дело не вмешался мой учитель Константин Львович Славин. Я к нему не обращался. Он самолично проявил инициативу, апеллировал к секретариату. Либеральный высокий синклит единогласно утвердил представленную Славина кандидатуру. А принятому, наконец, что-то было нерадостно.

Негоже новому, год от роду члену нарываться на исключение, неблагодарно это. И выбрал менее болезненный путь — через группком. Там мне без хлопот выдали требуемую справку и одновременно уведомили, что впредь в оном не состою, то есть меня попросту исключили.

И все же моя уловка не удалась: оказывается, я был изгнан также из Союза журналистов. Однако, узнал об этом только через несколько лет...

Ты могла получить справку лишь в Союзе писателей. А он не зря считался самым правовежным. Увещевали и грозились, подсылали мнимых друзей и искренних функционеров, уговаривавших свою заблудшую овцу отказаться от безумной затеи. Ты же стойко твердила:

— Люблю мужа и не хочу с ним расставаться. И дочку не хочу сиротить.

После постыдного, глумливого исключения СП, как кость, бросил нам недостающую бумажку. К исходу мая, двадцать девятого числа — оно навсегда врезалось в память — все было готово. Я двинул в Колпачный переулок. Один. Дабы не окунать тебя в мерзкую и унижительную атмосферу советского учреждения, где впервые за многие десятилетия легально рассматривались заявления людей, дерзнувших

самостоятельно определить, где они намерены жить. Щадил твои чувства, но и опасался — не сломалась бы до срока.

Рассмотрение документов длилось тогда от трех до шести месяцев. Просидеть полгода на чемоданах, сохраняя семейный покой, было бы нетрудно, если б не неуверенность, правильно ли, что я навязал жене шаг, на который она согласилась ради меня.

А потом? Не придет ли за кордоном сознание непоправимой ошибки? И услужливый воспаленный разум подскажет причины: уступила неистовому давлению, поддалась душевному порыву, впечатление от манускрипта мужа временно перевесило доводы здравого смысла. Всякое лезло в голову. И что тогда? Возвращаться обратно? Расходиться? Был осведомлен о трагедиях в среде эмигрантов, которые не сумели адаптироваться к другой жизни, о гложущей многих ностальгии. Не строил иллюзий. Понимал и сильные и слабые твои стороны, что неизбежно проявятся, пока будем притираться к Америке. Израильская виза для нас, как интеллигентов-гуманитариев, была сезамом, открывающим путь за океан. О ближневосточной стране мы не помышляли. По мне — лучше бы туда. Ты, не чувствуя себя еврейкой, возражала. И я согласился на компромисс.

В кабинет, где принимали потенциальных отъезжантов, выстроилась длинная очередь. Выстоял в ней несколько часов. За столом — огромная дебелая бабища в топорщащейся форме капитана МВД. Встретила хмуро, головы не подняла.

— За утрату гражданства заплатили? — исторгла капитанша. Жаль запамятовал ее фамилию, которую с омерзением произносили те, кто покидал Советский Союз в конце семидесятых.

— Уплатил, — покорно ответил я. Да, тогда существовало правило — лишали меченого человека серпасто-молоткастого и еще брали за это по пятьсот рублей с каждого.

Побор назывался пошлиной. Выложил за нас двоих тысячу. Саша, слава Богу, еще была беспачпортной.

Припасенные деньги более, чем ополовинились. Ведь основная сумма, собранная на отъезд, материализовалась в «запорожце». Просто подоспела открытка, извещающая о возможности приобрести автомобильчик. И мы решили его купить: так и финансы будут сохраннее, и я попрактикуюсь, наберусь опыта вождения. В Америке свои колеса — первейшая необходимость. Мои же блатные, полученные еще в Молдавии права, без намотанных за баранкой тысяч и тысяч километров оставались пустыми корочками. «Ландо» предполагалось продать сразу, как придет разрешение. Будет чем и за авиабилеты рассчитаться, и рубли на доллары поменять. Ченч небогатый — двести наших по курсу (какой он тогда был!) отдаешь и получаешь конвертируемую валюту на законных основаниях. И не старайся схватить больше. Уголовный кодекс у большевиков суровый. Экономические преступления караются жестоко!

Но все планы рассыпались прахом. Истекли три месяца, потом полгода. Я кожей чувствовал какую-то возню вокруг. Кто-то звонил жене, назначал ей встречи для душевспасительных бесед, вел разговоры с дочкой. Ощущал ребрами сопротивление нашему исходу.

Кончились наличные. Занялся ликвидацией того, что нельзя было увезти: осколков семейного антиквариата, уцелевшего хрусталя, задерживаемых таможей редких книг. Это помогало еле-еле держаться на плаву — хотя бы не голодать.

Другим подспорьем стал извоз. На неказистом, несмотря на новизну, «запорожце» отправлялся в ночь промышлять. Доставлял припозднившихся путников, не поспевших на метро, влюбленные парочки. В ту пору такой промысел не грозил опасностью грабежа, увечья или даже убийства, как сейчас. Я превращался постепенно в умелого водилу, а за цену своих услуг постоять не умел — брал, сколько дадут. Случалось, и улепетывали клиенты, не расплатившись. Всякое бывало. Зато бензин мне ничего не стоил. Им безвозмездно, за возможность покататься в свободное время днем снабжал сосед — шофер автобуса. Его «ЛИАЗ» жег тот же семьдесят шестой, что и мой «ушастик».

Грянуло 30 декабря 1979 года — в Афганистан ввели советский ограниченный воинский контингент. И эмиграция зависла. Тонкий ее ручеек, может быть, еще сочился. Только нас это не касалось. В конце мая мы отметили печальную годовщину великого сидения в подаче. Жили ожиданием. И летом нельзя было никуда отлучиться. Да и не на что. Я томился в знойной Москве — вдруг придет овировская открытка. А жена с дочкой выезжали иногда на дачи к верным друзьям. Наш сомнительный статус помог выявить истинную цену многих — не одной лишь бабушки будущего министра Козырева. Не оставили в беде ни Искандеры, ни Сухаревы, ни Жигулины. Из менее известных — устанешь перечислять.

Старался не особенно высовываться, затаился. Но некоторым из самых близких и доверенных рукопись свою все-таки показал.

Игорь Губерман был тогда одним из публикаторов самиздатского журнала «Евреи в СССР». Прочитал и предложил напечатать. Я отказался. Скандал мог либо ускорить выдворение из страны, либо вызвать посадку автора. Борцом с режимом не был. Радетелем еврейскому народу себя не чувствовал. И потому не отважился на открытое выступление.

А Игорь решился. Его и упекли на пять лет. И чтоб лишить ореола диссидента, приписали уголовщину — скупку краденых икон.

Хранить дома крамолу тоже было опасно. Через Таню Великанову, дальнюю родственницу, но духовно близкого человека, переправил экземпляр рукописи в Париж, моему кузену Гарри Файфу. И строго — на строго наказал: «Спрячь и никому не давай, пока не пересечем границу».

Другому экземпляру повезло меньше. Мы с моим другом Лёшей Артеевым закопали его на дачном участке. Когда же впоследствии попытались отыскать тайник, то потеряли неудачу.

Еще огорчительнее получилось с Таней Великановой — ее арестовали. Не из-за пересылки, конечно. Последняя прошла незамеченной. У КГБ был целый свод обвинений против известной правозащитницы и соредактора «Хроники текущих событий».

По странному совпадению, правёж учинили в нашем, Люблинском районе. Казалось, зачем властям вступать в вопиющее противоречие с Законом? Ведь ни местожительство Тани, ни место, где она якобы совершила инкриминируемые ей преступления, не имели никакого отношения к далекой московской окраине. Слушание дела назначили в суде у черта на рогах специально, чтоб поменьше съехалось публики и иностранных корреспондентов.

Услышал о расправе по «вражьему голосу» и поспешил к станции Люблино, что рядом с судом. Некогда где-то здесь снимал на лето дом Федор Михайлович Достоевский. Теперь живописное пространство по обе стороны Курской железной дороги превратилось в экологически грязную промышленную зону.

В зал пропускали только родственников. Я подошел к майору, который командовал многочисленными стражами порядка.

— Великанова — моя внучатая племянница. — Сказал чистую правду. Майор потребовал паспорт. Повертел в руках, переписал в какой-то кондуит все данные, необходимые для отыскания подозрительной личности.

— Она вам — десятая вода на киселе. Уходите по добру, по здорову!

Таню я увидел, когда ее выводили из «воронка». Помахал рукой. И долго еще стоял в группке сочувствующих. Среди них выделялась темнобровая и седая, беспрерывно дымящая сигаретой Елена Георгиевна Боннэр.

Когда подавали на выезд, Саше было четырнадцать с половиной.

И вот наступает время гражданского совершеннолетия дочери. Накануне своего дня рождения она завела со мной такой разговор:

— Папа, ты не обидишься, если я возьму национальность мамы и запишусь в паспорте русской?.. Понимаешь, мне, может быть, придется здесь и в институт поступать...

— Право выбора — за тобой. Я же предпочитаю быть не с гонителями, а с гонимыми. — Других слов у меня не нашлось для родимой моей девочки.

Наслушавшись советов бывалых отказников, сдуру побежал в ОВИР, дабы предупредить новые проволочки и осложнения.

-- Дочери исполняется шестнадцать, — опять выстояв очередь, объявил я капитанше.

— Да? — Впервые увидел, что и она способна проявлять интерес к тому, что произносит посетитель.

— Точно.

— До сих пор дочь была внесена в анкету матери и на фотографии они были сняты вдвоем. Теперь у каждой должен быть самостоятель-

ный пакет документов — анкеты, карточки, справки. Принесете вместе с паспортом дочери и справку из ее школы.

Мне бы возмутиться, что это не по нашей вине устарели одни бумаги и понадобились другие, что полтора года — слишком долгий срок для рассмотрения любого ходатайства, тем более — слишком, что у нас ни допусков секретных не было, ни тайн мы никаких не знаем. Но покорно поплелся домой, соображая по пути, как лучше преподнести жене новость, которая явно ее расстроит. Реакция последовала даже еще более бурная, чем ожидалось.

— Под угрозой жизнь ребенка! — вскричала обычно сдержанная жена.

— Не паникуй, — пытался я успокоить Тамару.

— Если в школе станет известно, что мы уезжаем, Сашу растерзуют одноклассники!

— Возьми себя в руки!.. Разве мы одни в подобном положении? Ребята только позавидуют...

В этот момент, как на грех, звонит приятель и дальний родственник Женя.

— Павел, не сметаешься ли со мной на Украину и обратно? Надо под Уманью поставить на учет служебную машину. Накупим дорожных фруктов и овощей — время осеннее...

Соображаю: вот он — способ разрядить обстановку.

— Быстро обернемся?.. У Саши шестнадцатого октября день рождения.

— Конечно. Машина-то новая. Она хоть и необкатанная, но вперемешку, думаю, за трое-четверо суток обернемся. А грузу можем взять — ого-го: это же «кошкин дом» так называемый, на базе «ижа».

— Дай мне полчаса на размышление.

Я еще колебался, а жена почему-то убеждала:

— Поезжай! Тебе необходимо немного отвлечься. Украинская осень прекрасна. И самый сбор урожая — привезешь вкусностей к именинному столу.

Мы выехали поздно, запасшись предусмотрительно десятком канистр с бензином. В братской республике, как предупредили Женю, ощущались трудности с горючим. Даже потребный «ижу» семьдесят шестой считался дефицитом.

Глубокой ночью добрались до Киева. Женя в темное время вести машину не мог — куриная слепота. С наступлением сумерек за руль сел я. Пересекли матерь городов русских — украинский стольный град, выбрались на житомирский шлях. Остановились на отдых в кемпинге.

Ранним утром снова началась гонка. Первым из крупных населенных пунктов на трассе лежал Житомир — родина любимого моего писателя Василия Гроссмана. Да и просто так было бы интересно посмотреть этот город, когда-то — один из центров идишистской культуры. Но мы спешили.

Подопечный Жене завод находился недалеко от Умани, в маленьком мисти Златополь. Московское начальство здесь принимали по высшему разряду. Быстро спроворили техническую документацию, по которой «кошкин дом» числился на предприятии и считался откомандированным в Главк.

Такой финт надо было обмыть. Банкет устроили в еще зеленом, несмотря на начало октября, дубняке.

Прохладная ночь выстудила выпитое. На рассвете залили в бак под завязку семьдесят второго, — другого горючего в городке не водилось, — и попилили, клацая клапанами от нестандарта, поперек Украины в сторону Запорожья. Это я навязал такой обратный маршрут, чтоб навестить сестру Мару, которая давно уже обосновалась с семьей в поселке какого-то Павла Кичкаса — против Хортицы, бывшего сердца казацкой вольной Сечи.

Погостевали вечерок. По утрянке — опять в дорогу. Думали последнюю тысячу верст проскочить до исхода дня, да Женя настоял на другом: если где найдем затемно гостиницу в Орловщине, то заночуем, чтоб въехать в Москву днем. Приютили нас во Мценске.

У нашего дома мы тормознули после обеда.

За четверо суток намотали три тысячи километров. И спали, и гуляли, и программу выполнили. «Кошкин дом» на учет поставлен. Кузовок его полон. Симферопольское шоссе в направлении столицы гляделось осенней ярмаркой. Цены казались смешными в сравнении с нашими. Мы покупали дары земли с купецким размахом.

Частая смена дорожных впечатлений, попутные радости, пусть иллюзорно, а заслонили московские проблемы. Звоню в дверь — нет отклика: жена и дочь не угадали, когда вернется муж и отец. Открыл своим ключом. Женя помог дотащить мою часть поклажи. И распрощался.

Озираю похожую на натюрморт квартиру, вдыхаю благоуханье спелых плодов и обнаруживаю Тамирину записку: «Если приедешь, не ходи в школу за справкой». Мне насторожиться бы — с чего это она решила, что, исколесив полстраны, я по возвращении тотчас побегу доставать требуемую бумажку?.. Но не придал писульке особого значения. Да и приход жены с дочерью отвлек.

— Ты уже здесь? — удивилась Тамара. — Давно?..

— Только что.

— А добра-то сколько ко дню рождения! — обрадованно сказала Саша.

— Зови, доча, хоть весь класс! — великодушно разрешил удачливый добытчик.

— Нам надо поговорить, — приглушила его пыл жена. — Пойдем в мою комнату.

Сидели друг против друга в спальне, которая одновременно служила и твоим кабинетом.

— Слушаю тебя...

— Мы с Сашей решили не ехать... На вот, почитай. — И вручила это письмо:

«Дорогой Павел!

Вот уже три дня и две ночи, как я мучительно обдумываю наше положение. Причина? Помимо затянувшейся тяжелой неопределенности и страха перед будущим — справка из сашиной школы. Ты же понимаешь, справка эта ей даром не пройдет. Отношение к Саше в школе сразу резко ухудшится (Володин сын месяц не мог ходить после этого в школу!), ее постараются выжить оттуда. Если же мы не уедем, что так вероятно, хвост потянется в другую школу, в институт — да буквально всюду, где она будет учиться или работать. Беря эту справку, мы портим ей всю жизнь. Я говорила с Сашей на эту тему. Она очень волнуется и не хочет, чтобы ты брал справку.

Далее: ей исполняется 16 лет. Будут с ней беседовать по случаю отъезда или нет, она уже считается ответственной за него, формально она уже может отказаться и не ехать с нами. Думаю, что ей могут когда-нибудь припомнить и это...

Теперь, Павлик, обо мне. Ты хорошо, лучше всех, знаешь, что за граница меня никогда особенно не прельщала. Я всегда понимала, что не буду там иметь того, что так люблю: знакомой гарантированной работы, старых испытанных друзей, не говоря уж о тысячах столь любимых моему сердцу мелочей, нюансов, ассоциаций. Что же делать, если бы я состою из них? А быть другой просто не умею.

Если бы полтора года назад мне сказали, что мы будем сидеть в подаче так долго, так беспомощно, так безнадежно, что единственный реальный путь вырваться отсюда — это устроить скандал, шуметь, надрываться, — неужели я пошла бы на это? Неужели ты настаивал бы на этом, зная, что мне такое не по плечу, зная меня самое лучшее, чем кто-либо другой? Конечно, нет!

Можешь ли ты сейчас ждать от меня несвойственных мне поступков? Думаю, что нет. Ведь во мне все сильнее и сильнее мысль, что надо вернуться. Опомнись и вернуться, мужественно сказав себе: видит Бог, мы хотели сохранить семью, мы шли на жертвы друг для друга. Но все против нас. Рок против нас! Надо внять его голосу...

Ты мне сказал, что для тебя отказаться от мысли об отъезде равносильно самоубийству. Я знаю, что ты слов на ветер не бросаешь. Я признаю твое право делать то, что ты считаешь жизненно необходимым. Но не могу быть тебе спутницей по тем причинам, которые уже назвала.

Что же делать, дорогой? Может быть, хватит нам мучить друг друга? Любя, терзать, казнить, выворачивать друг друга наизнанку? Давай пожалеем — я тебя, а ты — меня. Давай сохраним друг к другу признательность и нежность. Никто не знает будущего. Но такие чувства на дороге не валяются. Они нам еще пригодятся.

Чего я хотела бы от тебя? Зная, как все это тяжело, обидно, горько, как много растрачено сил, средств и того, что не назовешь словом, — отпустить друг друга на свободу. Пусть каждый из нас делает дальше то, что он считает единственно возможным для себя в создавшейся ужасной ситуации. Я приложу все силы, все умение, чтобы вернуться к этой жизни. А ты — всю энергию, чтобы вырваться в другую жизнь. Я хочу развязать тебе руки. Я обещаю не останавливать тебя, что бы ты ни счел нужным делать для достижения своей цели. Саши пока, естественно, остается со мной. А потом будет сама выбирать свой путь. Обещаю тебе не давить ее своей любовью и эгоистической привязанностью. Рано или поздно она, скорее всего, окажется там, где родной отец.

Нам предстоят неприятные процедуры: поездка в ОВИР, где я заберу наши с Сашей документы. Вероятно, справка, что я отпускаю тебя, не имею к тебе материальных претензий. Вероятно, также развод. Все это надо пройти без срывов, без слез (моих), без взаимных упреков.

Будем мы в разводе или нет, ты остаешься моим мужем. Наш дом — твой дом. Наши заработки — твои. Ты — с нами, как и раньше.

Я бы хотела даже, чтобы в семье нашей после всего происшедшего царило еще большее спокойствие, чем раньше. Мы — сознательные люди. Принимаем сознательное решение, так как другого не дает принять судьба. Давай же окажемся на высоте.

Пишу тебе письмо потому, что в устном разговоре бывают зигзаги и другие неожиданности. К тому же раздражение, вызванное нашей жизнью, просачивается буквально во все. А я не хочу говорить с тобой раздраженно. Я тебя по-прежнему люблю и жалею. И буду любить еще больше, если ты примешь мое предложение. Оно выстрадано.

Твоя жена Тамара.

10/X 80 г.

Что я испытал в тот момент? Шок, стресс, ступор? Какие еще почему-то иностранные слова служат для обозначения наших пиковых душевных состояний?.. И как объяснить это совпадение дат? Письмо написано ровно через восемнадцать лет в самый день нашего знакомства.

В первые минуты онемел, не веря услышанному и прочитанному. Не ожидал я такого от своих преданных девочек. Всегда был уверен: ты у меня надежный. И — на тебе. Не врала та предупреждающая спина...

— Ты понимаешь, на что идешь? — наконец заговорил я, чувствуя ребрами колотящееся сердце. Во рту пересохло и появился противный горький вкус. — С советской властью в подобные игры не играют. Мы — враги. Теперь идти на попятный без преувеличений равносильно самоубийству. Мы же — литераторы. Значит, бойцы идеологического фронта. Кто позволит нам жить и работать здесь, когда сами подтвердили свою нелояльность заявлением на эмиграцию?..

— Все в руках Божьих — не пропадем.

— А я? Как мне быть теперь, после того, что случилось?.. На что, на кого надеяться, если самые близкие, родные?..

— Мы только рады будем, если ты останешься с нами.

— Хочу услышать Сашу. Дочка, иди сюда! — крикнул я притихшей за стеной девочке. Саша вошла понурая, смущенная.

— Папа, ты меня звал?

— Ты уже большая. И глупой тебя не назовешь. Хочу знать твое мнение.

— Я — как мама. Не оставлять же ее одну...

— А мне, значит, одиночество скрасит Америка?..

— Не терзай ребенка, — вмешалась жена. — Я ведь сказала, что мы обе будем рады, если ты останешься.

— Мы с твоей мамой — даже не родственники. Ты же — моя кровь и плоть... Уйди! — И когда Саша выскользнула за дверь, в сердцах выпалил: — Учти, Тамара, без вас меня могут и не выпустить, но жить с тобой я все равно не буду!..

Потянулись жуткие недели. Умолял и плакал, нагонял страху и увещевал, закатывал истерики и впадал в протрацию. Жена была тверда:

— Я не знаю, где этот проклятый ОВИР. Отведи — и больше ни о чем не стану тебя просить...

Дотащился с ней до Колпачного.

Вошла одна. Там состоялась такая беседа:

— Значит, вы с дочерью не едете. А муж?

— Он не изменил своего решения.

— Тогда вам необходимо развестись.

Отправились в районный суд.

Зачуханное присутствие. Вялый судья. Заседатели очнулись от дремы только тогда, когда председательствующий задал вопрос о причинах, разрушивших наш брак.

— Не сошлись характерами, — в унисон отвечали мы, как заранее договорились.

— Сколько дочери?

— Шестнадцать.

— Материальные претензии у сторон есть?

— Нет, — единодушно подтвердили интеллигентные разводящиеся стороны, разом гася у законников интерес к процессу.

Союз, совершившийся на небесах, расторгла низшая судебная инстанция. Это произошло 18 декабря 1980 года.

Судьба, суд, судебный... Знаковый ряд слов. И корень у них один.

К тому времени в Москве у меня оставалось не так уж много людей, с кем мог посоветоваться. А сам не находил выхода: перепутье казалось смертельным.

Позвонил Валентину Михайловичу Дьяченко. Нас связали общие дружбы. Мои соседи по университетскому общежитию Ваня Сефоров и Лёва Яруцкий, с которыми я очень сблизился, оказались его

учителями в вечерней мариупольской школе, что не помешало их тесным отношениям. Валентин Михайлович по-своему — замечательный человек. И жизнь у него уж слишком затейливая даже для двадцатого века. Донской казак Дьяченко был фронтовым разведчиком с первого дня войны, совершал подвиги, получал высокие награды. На беду юный лихой красавец полюбился смершевской крале. Энкаведешник в отместку упек его на десять лет. Пришлось рубить уголек на Крайнем Севере. Выжил, выдюжил, благодаря молодости и железному здоровью. Помогла и женщина-вольняшка. Они поженились, родили детей. После реабилитации Михалыча подались в Жданов. Теперь недавний зэк надрывался у мартена на «Азовстали».

Не укатали сивку крутые горки — обуяла Дьяченко страсть учиться. Обремененный семьей мужик поступает в школу рабочей молодежи. Здесь и сошлись их пути с Ваней илевой, которые после нашего КГУ тоже прибились к мариупольскому берегу.

Аттестат зрелости получил перезрелым. И охватил Валентина Михайловича зуд писать. Подался во ВГИК — не куда-нибудь. Окончил успешно. Теперь по его сценариям ставились художественные фильмы. В титрах стоял почему-то псевдоним — В. Михайлов. Из скромности, наверно.

А пока учился Михалыч в Москве, кантовался среди столичных интеллигентов, случилась у них любовь с преподавательницей начертательной геометрии Ганной. И не вернулся он к своей спасительнице-жене. Скучно сделалось, не о чем стало говорить.

Неблагодарно обошелся с женой, но, точно желая искупить свою вину перед самой идеей добра, был по-особому чуток и внимателен ко всем остальным людям. И меня поддержал, когда я поступал на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Замолвил словечко по собственному почину вгиковской приятельнице Наташе Ерошиной, которая как раз перебралась заведовать учебной частью в наше диковинное, ни на что не похожее заведение. Я прознал об этом случайно и много позже от той же Наташи, выразив однажды удивление по поводу ее ничем не заслуженного расположения к моей скромной персоне.

Не вдавался в подробности по телефону, сказал только:

— Мне плохо, Валентин Михайлович. Надо свидеться, поговорить.

— Так приезжайте, Павлик, — и немедленно. А что случилось?

— Жена и дочь не снесли беспросветного ожидания — я брошен на подороге...

— Не ожидал от Тамары... Поспешайте сюда. Размочим это дело и обмозгуем. А, может, Леню Гуревича кликнуть? Вы — давние кореша. Он — парень надежный и головастый. Чего-нибудь да посоветует. Не возражаете?..

Собрались втроем. Крепко выпили. И, лежа вповалку на напольном ковре, принялись рядить, как мне теперь жить.

Леня Гуревич принял на грудь не меньше, чем мы с Михальчем, но был совершенно трезв и бескомпромиссен.

— Ты знаешь, Пашка, я в принципе против эмиграции. Тебе, однако, теперь нельзя оставаться. И от изменщицы-жены не жди ничего хорошего...

Валентин Михайлович был менее категоричен:

— Вам, Павлик, надо бы пройти свой путь до конца. И вы его осилите и в одиночку. Решать же за вас не могу. И пороть горячку не советую. К чему ни придете, рассчитывайте на поддержку старого казачка.

Залить горе? Удариться в загул? Настроение не то. Да и не выбраться таким образом из передраги. Я дошел до предела моральных и физических сил. Надо сматываться из Москвы, иначе сорвусь, наделаю новых бед. И счел за лучшее — улететь в Кишинев к маме. Она, безусловно, догадывалась: что-то у нас происходит драматическое, как ни старался не выдать голосом или интонацией душевную смуту.

В Кишиневе расслабился — и слег. Валялся с температурой. Не оповестил ни родственников, ни друзей, еще живущих в Молдавии, о своем прилете.

Жена и дочь часто звонили. Трубку поднимала мама. Я говорить отказывался. Изведал, что такое депрессия. Да выбраться из нее было нелегко.

Понемногу, исподволь маме удавалось возратить мне интерес к жизни. Накормит, напоит, заставит принять лекарства и сядет у изголовья, глядя, как маленького.

— Мягкое у тебя сердце, сынок, — не бросишь родного ребенка. Ты знаешь, я с болью согласилась на разлуку с тобой. Понимала, никогда больше не увидимся, но согласилась. Ради твоего счастья, раз считаешь, что там оно — в Америке. Обо мне можешь не думать. И о сестрах. А Саша? Будешь ли спокоен, оставив ее без отца?.. Вспомни, каково было вам без папы...

Мамины речи день ото дня звучали для меня все убедительнее. В самом деле, ситуация сложилась экстремальная. Надо было кем-то жертвовать. И если другого выхода нет, жертвовать можно только собой...

Наведывались друзья молодости, прослышавшие, что я в Кишиневе. Это, конечно, мама тайком зазывала их. Забегали повидаться, справиться о болезни. Двум наиболее близким — Мише Хазину и Виталию Левинзону рассказал правду, и оба, точно сговорившись, советовали остаться, не рушить семью, хотя и не одобряли Тamarы.

— Прости супружницу, — басил Виталий, артист театра, уравновешенный могучий человек. — Все так ясно: сломалась женщина! — Тут ему изменила его невозмутимость. — Не казнить же ее?.. — У Виталия повлажнели глаза и он добавил: — Времена теперь другие — не посадят за намерение уехать. И мы тебя не бросим. Главное — быть вместе...

В середине января 1981 года я отбыл в Москву. Не предупредив ни дочь, ни жену-разведёнку, появился дома, будто и не уезжал вовсе. Давалось это с великим внутренним борением, хотя внешне держался легко и непринужденно.

Мои повисли на мне.

— Папочка, как без тебя плохо... — с печалью в голосе призналась Саша.

Искренней была и радость Тамары.

— Наконец-то ты вернулся! Я так соскучилась!..

Тут в Москве объявился весьма кстати и Володя Татенко — сдавал фильм в Госкино СССР. От Володи у меня секретов не было, потому что нашей проверенной дружбе сравнялось на ту пору уже тридцать лет. Он молча выслушал рассказ о последних событиях и подвел такой итог:

— Ничего непоправимого не произошло. Затаись на время. Позабудется твой грех. На худой конец покаешься. У нас милуют тех, кто повинулся...

— А в чем вина? — не по адресу задавал я бессмысленный вопрос. — Возможность эмигрировать предоставлена евреям государством.

— Не будь ты «акулой пера», претензий не было бы. Но не дрейфь — перебьешься. Для начала подкину тебе заказуху. С потиражными это пара штук. Год протянешь. Дальше — видно будет...

22 января созрел для похода в ОВИР со следующим заявлением: «В мае 1979 года я подал с семьей ходатайство о разрешении эмигрировать в Израиль. Цель — объединиться со своими родственниками. В ноябре 80-го жена и дочь отказались от этого намерения. В связи с тем, что самые близкие мне люди остаются в Москве, прошу не рассматривать моей просьбы».

Дебелая капитанша приняла бумагу безразлично:

— Оставьте.

И не подумал справиться, а нельзя ли получить обратно тысячу рублей (они бы сейчас так выручили!) за несостоявшееся лишение гражданства, понимал: напрасные хлопоты. Никогда родное государство не возвращает того, что мы ему переплатили, зато наши недоимки взымает с пенями.

Вроде началась новая жизнь. Надо было впрягаться в работу, но работы-то никто и не давал. Слишком многие знали, как я проштрафился. Тебя же взяли корректором в «Советскую Россию». И ты сочла это великим благом.

В конце марта звонят из отдела творческих кадров Союза кинематографистов:

— Павел Семенович, с вами хочет побеседовать товарищ Гарьков. Приходите завтра сразу после обеда.

В назначенное время я был в кабинете Гарькова. Его на месте не оказалось. Звонившая накануне сотрудница не удержалась — добрая душа:

— Поздравляю вас, Павел Семенович!

— С чем?

— С разрешением на эмиграцию...

Не успел среагировать — в комнату вошел сам начальник.

— Вы пунктуальны, — отметил Гарьков. — Пойдемте.

Куда он меня ведет?.. Оказалось, ищет укромный закуток, где можно поговорить с глазу на глаз. Такой нашелся рядом с машинописным бюро.

Впервые вот так вплотную имел дело с представителем недреманного учреждения, посланным в наш союз, о чем не ведал только ленивый. Ничего мужичок: нос пуговкой, глаза — выцветшие васильки, красноватое круглое лицо. На нем — выражение подчеркнутой доброжелательности. Уж не другие ли теперь установки в органах?.. А, может, потому и спустили к киношникам, что не вписывался в лубяную гвардию?

— И что же вы намерены делать, Павел Семенович? — с едва заметной укоризной в тенористом голосе спросил Гарьков.

— Не понял, извините, вопроса...

— Едете или не едете?

— Тому два месяца, как отнес в ОВИР заявление, что остаюсь.

— Значит, остаетесь? Что ж, мы не против. Нам с момента подачи было известно, что вы хотите эмигрировать. Но, как видите, никто вас из союза не исключил. Сами приняли решение об отъезде. Теперь сами решили остаться. Вольному — воля.

— Да. Только вот с работой плохо. Никто не хочет даже разговаривать со мной на эту тему, будто я совершил преступление.

— У нас к вам нет претензий. Обратятся в отдел творческих кадров, подтвердим, что вы — профессионал. А работу мы не распределяем.

Куда ни торкался — отовсюду отказы. Пытался принять участие в конкурсе, объявленном ЦСДФ. Центральная студия документальных фильмов потому и учредила его, что нуждалась в сценариях. Все шло под девизами. Я и на конверте, надписывая адрес, указал мало кому известный псевдоним. Дознались, отвергли мою заявку. Да еще не постеснялись прислать отлуп на мою фамилию.

Терял надежду когда-нибудь вырваться из западни, куда сам себя и загнал. И в минуту отчаяния снова притащился в злополучный ОВИР.

— Я убедился, что мне нет жизни в Советском Союзе. Хочу воспользоваться разрешением на отъезд.

Капитанша для вида перебрала какие-то бумаги и сказала:

— Срок разрешения истек. Вопрос может быть рассмотрен при условии нового ходатайства.

Опять начинать волюнку? Нет, с меня хватит, спеся...

И вдруг — договор из Алма-Аты на сценарий заказного фильма об электростанциях — Володя сдержал слово. Гонорар, как обещано — тысяча рублей. Командировки — за свой счет.

В киноотделе министерства энергетики, куда надлежало обратиться рекомендованному студией автору, мы остановились на энергосистеме Ярославля, как наиболее интересной для показа. Меня это устраивало: близко от Москвы, меньше траты.

Я с головой окунулся в незнакомый мир. Хорошо, консультант попался толковый. Помогал во всем разобраться и был сговорчив, когда мной предлагалось что-то дельное. К счастью, режиссер тоже оказался ветераном «болтов в томате» — кликуха заказных лент среди специалистов. По привычке он должен бы претендовать на часть моего вознаграждения, но наша с Володей дружба помешала посягательству: Татенко был непосредственным начальником жучка от кинематографа.

Уже ближе к лету подвалил неожиданный заработок — сразу две заказухи. Слышал, что существует обширный жанр так называемого технико-пропагандистского фильма, но прежде никогда не пробовал себя в нем. Доступ был закрыт для посторонних. Ведь делились огромные деньги. В бюджете любого союзного ведомства содержалась нетощая статья для показушной рекламы своих якобы достижений. На страже лакомого пирога стояли министерские кураторы. Отстёгивание шло по всей цепочке — «от Москвы до самых до окраин».

Почему же вторично сподобился?

В СК трудился в те времена один ловкий молодой человек. Числился аж не то каким-то ответсекретарем, не то референтом. Однажды затащил меня к себе и, не чинясь, спросил:

— Пашенька, как ты смотришь на то, чтоб нам вместе кое-что залудить?.. — «Залудить» на киношном жаргоне значит лихо состряпать выгодную картину.

— Ты имеешь в виду что-нибудь конкретное?

— Понимаешь, некая сибирская студия предлагает парочку тем. Речь о плановых заказных сценариях, которые неплохо оплачиваются...

— Как они оплачиваются, я знаю.

— Нет, директор посулил договоры по высшей ставке. На поездки тоже тратиться не придется — оформим как творческие командировки по линии Союза кинематографистов. Мне ничего не стоит это проверить. Беда в том, что я не могу оторваться от кресла — дела заели... Да и писать вдвоем веселее. И подучусь рядом с тобой.

Отказываться в моем положении от такой лафы было бы глупо: продержусь еще год, даже если отдам половину денег, а вкалывать буду один. Там, глядишь, легализуюсь...

В действительности ловкач и не думал ни писать вместе, ни учиться писать вообще. Видимо, самокритично сознавал напрасность усилий по овладению чуждым ремеслом.

У меня не было проблем в странствиях по просторам Сибири. Местное руководство заботливо опекало посланца столичного чиновника — команды вниз поступали твердые. Но противно было уча-

ствовать в безгласном сговоре. Что-то чалдонам надо было протолкнуть в московских инстанциях, вот они и старались.

Помнится, первая тема и мне сразу показалась важной — восстановление тайги на вырубках. Это импонировало. Житель такого мегаполиса, как наша столица, чувствует на себе последствия пагубы лесных легких планеты — в огромном городе нечем дышать. Радовался: не просто подкалымливаю, — борюсь за экологию.

Возили по леспромхозам, показывали лесосеки и лесопитомники. Сажены в последних были с ноготок в своих школках. Лесоводы любовно поглаживали, присев на корточки, проклюнувшиеся из кедровых проросших орешков зелененькие нежные побеги. Когда еще наберут они силу и пересаженные на пустошь, где недавно стояла вековая тайга, превратятся в жизнестойкие деревья? И превратятся ли?..

Больше видел, трясясь по таежным просекам, как валят плодоносящие столетние кедрячи. Куда разумнее было бы промыслять питательные и целебные шишки, набитые маслянистыми орехами. Так нет, валят, сводят вопреки закону. А вдоль лесосек брошены там и сям хлысты — обезображенные, без ветвей, схваченные жестким трясным узлом из ржавой проволоки или металлическими скобами и подсеченные у комлей боровые великаны.

Невинно спрашивал:

— Зачем же новые-то деревья рубите? Гляньте, сколько неприбранного богатства кругом... Вывезли бы лучше это...

— Дак нельзя не рубить. План есть план. Не выполнишь — заработка не будет.

Видел слывущий прозрачным Байкал — дно в топляках, набрякших и задубевших бревнах, торчащих под зеркалом озера. Молевой сплав запрещен по заповедному «славному морю» — самому некогда чистому и до сих пор самому большому в мире хранилищу пресной воды. Да кто ж соблюдает табу?.. Воюют против целлюлозно-бумажного комбината, что прямо на байкальском берегу, одержимые защитой природного чуда активисты Гринпис. Напрасно. И омуль уже дает знать, что время, может быть, упущено. Редкостью даже в прибайкальских селеньях нынче стал прежде знаменитый на всю Россию и доставляемый отсюда повсеместно духовитый засол. Его было так много, что для перевозки требовались огромные бочки, такие ёмкие, что могли, как в песне, послужить кораблем беглецу-каторжнику.

Выбрался в Слюдянке к лукоозерью — попытать счастья, купить у рыбаков омуля. Как не привезти с Байкала в Москву хоть несколько рыбин?.. Повезло наткнуться на раздрызганную пьяную пару. Матерят друг друга при малых детишках, цепляющихся за облеваный подол женщины.

— Мамочка, не пей! Исть хотим! — вопили ребятишки.

Жанровая эта картинка заслонила красоту величавой природы. Прокрадил поиски добытчиков деликатеса и подался восвояси.

Все же леспромхозовцы не отпустили меня в Москву с пустыми руками: подарили гигантскую шишку, вырезанную из целикового чурбака кедра. Дома открыл, а она доверху наполнена кедровыми же орешками.

Разматывались восьмидесятые. Я уже пару лет пасся на полях закуски, в документальное кино пробиться обратно не удавалось. Морально притомился. Тут — и новый хомут на шею.

Позвонил приятель еще с кишиневских времен — тот самый бескомпромиссный Леонид Гуревич:

— Понимаю, ты нуждаешься в настоящей сценарной работе. И я нашел ее для тебя.

— Ушам своим не верю...

— Так слушай. На телевидении затеяли сериал «Наша Конституция». Одну из серий поручили делать грузинам. Режиссером назначен Лео Бакрадзе. Ему и требуется автор.

— Да вы ж который год в паре... И все у вас ладится — первые премии хватаете на фестивалях!

— Я сейчас другим занят. И не стану скрывать: не по душе мне этот официоз. А тебе, извини, не до разборчивости теперь.

Съел — не подавился реплику заботливого приятеля. Дал согласие встретиться с Бакрадзе.

Я его отдаленно знал — наши пути уже пересекались в Тбилиси. Оказия вышла следующая.

Еще в легальные мои времена случилось мне написать текст к буклету о любимой актрисе Майе Булгаковой. Издание получилось. Поэтому не удивился, когда редакторша предложила сочинить новый буклет о некоей Мэги Цулукидзе. Имя для меня незнакомое, хотя любил грузинское кино и следил за ним.

— Берись, Паша, — уговаривала редакторша. — Во-первых, Мэги — красавица. Во-вторых, — жена Сико Долидзе. А он — народный, лауреат, депутат и ко всему — первый секретарь тамошнего Союза кинематографистов. Половину свою обожает. Примет тебя по высшему разряду, коль пишешь о ней.

Никогда до того не бывал в собственно Грузии — лишь на черноморском побережье. Оно же, как теперь утверждают аборигены, — и не Грузия вовсе, а Абхазия и Аджария. И Тбилиси посетить давно мечтал. Потому и взялся за заказ.

В аэропорту меня встретил помощник Долидзе. На черной престижной «волге» привез к мэтру. После велеречивого приветствия тот представил мне неслышно появившегося в кабинете пригожего складного человека. Небольшой рост побуждал его держаться с подчеркнутым достоинством.

— Это моя правая рука — директор нашего бюро пропаганды киноискусства Леонид Петрович Бакрадзе, — сказал увенчанный Сико. — Он будет вас опекать и обеспечить необходимые условия для успешной работы.

Так мы познакомились с Лео. То было за десять, наверно, лет до предложения Гуревича. Но я не забыл своих впечатлений ни от Бакрадзе, ни от той первой поездки в Тбилиси.

В Сакартвело, как называют Грузию ее коренные жители, больше всего тронули сердце естественные взаимоотношения людей. И в Москве друзья целуются при встрече. Здесь это был какой-то запахнуто-приветливый ритуал. Надо было прожить в Тбилиси не один месяц, чтобы понять многослойность ориентальных обычаев. А на себе я познал, что безудержное грузинское гостеприимство хозяйский гонор тешит, пеленает пришлеца любовью только пока он нужен...

По неистребимой своей настырности да под хмельком, помнится, ввязался ненароком в дискуссию.

— Почему это, — пьяно допытывался я, — грузины считают, что по праву живут лучше русских?.. Что, ваша земля богаче или вы работаете больше?..

— У нас климат лучше. Есть притча такая. Бог, когда наделял народы землями, забыл о грузинах, а потом ему ничего не оставалось, кроме как отдать им то, что приберег для себя. Вот отчего столь прекрасна Грузия. И жизнь в ней должна быть прекрасна!

Самонадеянная притча.

Долгие часы торчал в кинозале. В обед заглядывал Бакрадзе, приглашал к обильному столу. Сознаю, я охотно отрывался от просмотра фильмов Сико Долидзе, где главной героиней всюду выступала его жена. Актрисой она оказалась весьма средней, а красивая внешность, несмотря на южный ее тип, проигрывала от недостатка теплоты и обаяния.

Мое прилежание было, однако, вознаграждено приглашением в просторную квартиру кинематографической четы. Никогда раньше не доводилось мне видеть подобной роскоши. Я залюбовался антикварными стульями, чьи спинки венчали медальоны из драгоценной финифти. Заметив это, Долидзе гордо объявил:

— Гарнитур из дворца графов Потоцких.

Пришлось смирить свое любопытство, чтобы не поинтересоваться, как уникальная мебель попала в жилище режиссера и актрисы.

Хозяин щедро наполнял хрустальный на тонкой ножке бокал гостя, мы чопорно чокались, следя за сосудом дамы: он должен по этикету доминировать над фужерами господ.

— Не очень вас утомило наше творчество? — вежливо осведомился Долидзе.

— Что вы! — горячо возразил я, подогретый винными парами. — Для киномана нет ничего более приятного, чем целыми днями просиживать перед белым экраном.

Ответ прозвучал несколько двусмысленно, но гость на Кавказе, пока он гость, — священная корова.

На следующий день досматривал последние ленты с Мэги Цулукидзе и все больше разочаровывался в ней. Зашел Лео, вяло попытался вывить мое мнение об увиденном. Это, конечно, было поручение босса, и оно ему было не по душе. А, может, у него есть хозяин повыше?..

Потом предположение о могущественном покровителе подтвердилось.

После окончания Тбилисского ГИТИСа молодого пригожего Лео распределили в Республиканскую филармонию. Ему поручали вести правительственные концерты, он недурно читал стихи грузинских и русских поэтов. Не избежал от заметного гурийского акцента, но это придавало его манере экзотический шарм.

Симпатичного декламатора заметила Виктория Мжаванадзе. Лео был приближен и стал своим человеком в доме.

Бывший генерал Василий Мжаванадзе привез жену с войны. У них была неприличная разница в возрасте. Заняв пост первого секретаря ЦК Компартии Грузии, старый супруг, боготворивший свою фронттовую подругу, часто подпадал под ее влияние. А она не терялась, использовала это влияние в интересах любимчика.

Спустя много лет, когда нас с Лео крепко связала общая работа, он мне признался:

— Всех друзей в такие кресла посадил, что им и не снилось. Цековскими секретарями проснулись, министрами, управляющими трестами...

Всесилие Лео кончилось вместе с падением Мжаванадзе. А того устранил выкормыш тайного ведомства Эдуард Шеварднадзе. Потихоньку копил компромат. Заручился поддержкой Кремля и объявил в Грузии тотальную борьбу со злоупотреблениями. На ее волне и занял место лопуха-генерала.

Большинство грузин ненавидело нового ставленника Москвы. Чувствуя это, Шеварднадзе проезжал по улицам Тбилиси стремительно, его автомобиль с четырех сторон облепляли (сам видел) машины охраны. Эдуард Амвросиевич боялся покушений. И не зря. Как говорили, охота за ним велась постоянно. Ведется и по сию пору...

Но я отвлекся. Вернемся к Долидзе и героине поставленных режиссером фильмов.

Когда ознакомление с ними было завершено, благодарное кинематографическое содружество-супружество устроило мне отдых и развлечение — вояж в свою загородную резиденцию.

Добротный особняк, увитый сплошь виноградом «изабелла», как бы вырос из разбитого вокруг сада. Недалеко от террасы пыхтел внушительных размеров аппарат, возле которого возился пожилой крестьянин в опорках на босу ногу. Хозяин что-то сказал ему по-грузински. На хмуром небритом лице промелькнуло подобие улыбки.

— Деревенский родственник подбирает падалицу, гонит чачу — не пропадать же добру, — объяснил Долидзе. — Пробовали нашу домашнюю водку?

— Пробовал. Она много лучше русского самогона. У нас, кстати, этот самый самогон под строгим запретом...

— В Грузии, слава Богу, свои порядки. Мы понимаем: нельзя запрещать то, к чему люди привыкли испокон. Но вы, я думаю, предпочитаете доброе кахетинское вино?..

Забегая вперед скажу, что к самолету для меня была привезена оплетенная ивовыми прутьями неподъемная бутылка названного чуть выше напитка вкупе с большой корзиной фруктов. Отказаться от даров не удалось, хотя после всего, что я увидел на пленке, после нескольких бесед с актрисой и режиссером, мной овладело сомнение: можно ли выполнить этот заказ так, как того желает щедрая киношная пара.

И правда, написанный для буклета текст не оправдал надежд Мэги и Сико. Но выход нашелся. Его быстро перелицевал доктор искусствоведения Игорь Рачук, отец владельца печально знаменитого уже в постсоветское время банка «Чара», и опубликовал под собственным именем.

Минуло десять с лишком лет. Делали с Лео уже третий совместный фильм «Всей душой. Ленин и Грузия: воспоминания и документы». Снимали в Боржоми, в Ликанском парке. Русские цари построили здесь дворец. При коммунистах в нем учредили цековский санаторий. Выбирали точки для камеры, любовались видами на палаццо Романовых. И обратили внимание на группу стариков, которые неспешно двигались по аллее.

В центре шествия важно ступал внешне ничем не примечательный кацо в кепке типа «аэродром», какие носят только в Закавказье, в болоньевой затрапезной куртке. Остальные, было заметно, почтительно сопровождают своего вожака.

Встрепенулся Лео, двинулся наперерез.

— Гамарджоба, Василий Павлович! — И дальше — тоже на родном языке, так что я понял только первую, приведенную фразу.

Разговор не затянулся. Старики, предводительствуемые неизвестным мне Василием Павловичем, продолжили путь.

— Знаешь, кто это? — многозначительно спросил Лео. И сам себе ответил с придыханием: — Мжаванадзе! Король был. Все мог!

В его голосе слышалось сожаление об утраченных вместе с Василием Павловичем безграничных возможностях...

Да, тогда, в момент дворцового грузинского переворота, ничего не оставалось Лео, как только убраться в Москву, на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Остаться в Тбилиси стало опасно. Если бы не старые верные связи, не память об оказанных разным людям услугах, не известно, чем бы кончилось. Но осел вдалеке, куда не дотягивались лапы шевардназевских опричников, и тем спасся. Квартиру поменял. Профессию другую осваивал. На курсах кто-то и свел Леонида Бакрадзе с Леонидом Гуревичем.

Тандем обнаружил свою редкую плодотворность. Почему? Еврейский Леонид в документальном кино умеет все. Грузинский постиг все, кроме кино. Надо пробить картину, что-либо достать, как-то изловчиться, организовать нечто неслыханное — здесь с Лео никто не мог сравниться. У него был настоящий талант продюсера. И талант этот проявился задолго до того, как в нашем кинематографе заговорили о такой профессии.

Вот с кем предложил мне поработать приятель Гуревич.

Мое положение, действительно, не располагало к капризам: официоз, так официоз. В нем тоже возможно сохранять приличия. Условились о тройственных переговорах.

Я не оповестил Гуревича, что когда-то давно был знаком с Бакрадзе. Следственно, и он должен об этом помнить. Но предусмотрительно поинтересовался:

— А не спугнет работодателя история с географией?.. — Словосочетание эвфемистически заменяющее настораживающий термин «эмиграция».

— Он в курсе, — ответил Гуревич. — Ему ты как раз такой и нужен — с подмоченной репутацией.

Обмен мнениями вступающих в деловые отношения сторон состоялся назавтра в фойе Центрального дома кинематографистов. Бакрадзе даже виду не подал, что не забыл о наших тбилисских контактах. А, может, запаматовал?..

— Павел Семенович, — начал Лео после того, как Гуревич нас представил друг другу, — не стану скрывать: денег на гонорар нет, они ушли вашим предшественникам. Те накропали сценарий, который меня полностью не устраивает. Могу заплатить тысячу рублей. Плюс оклад ассистента режиссера из расчета сто двадцать в месяц в течение года. Никаких потиражных. В титрах будет два имени — Лео Бакрадзе и Дэви Стуруа. Его одного из трех бывших соавторов нельзя выбросить — он мой друг с детского сада, — обаятельнейшая улыбка расплылась по лицу правдивого режиссера, который, казалось, с самого начала во всем хочет полной ясности. — Да, да. А еще недавно он был секретарем ЦК по пропаганде. Впрочем, Стуруа может быть нам полезен и в нынешнем качестве директора Грузинского филиала ИМЭЛ. Ну, что скажете?..

— Прежде, чем писать сценарий, нужно съездить в республику, собрать материал.

— Поездки ассистента режиссера входят в смету. А складывать картину будем в Москве — арендуем монтажную на «Мосфильме», пригласим опытного монтажера. Ваше участие обязательно от начала и до конца. Вот Леонид Абрамович, — уважительный взгляд на Гуревича, — уверен, что вы прекрасно справитесь. Напишем трудовое соглашение — и вперед!

— Надо поразмыслить...

— Нескольких дней хватит?.. Нельзя медлить — потеряно время.

— Но о чем собственно должен быть сценарий?

— Нам достались гуманитарные статьи Конституции — права человека и прочее. Вот об этом. — Помедлив, он достал из папки отпечатанный на ротаторе текст. — Посмотрите вариант, который меня не устроил. Может, что-нибудь пригодится...

— Хорошо. Дам ответ через неделю.

Мог ли я отказаться? Идти в «негры» унижительно. Но что поделаешь, действительно, истосковался по настоящей работе. И все-таки: о чем писать, как сделать этот фильм, чтоб и не стыдно и проходимо? — на телевидении те еще цензоры.

Долго ломал голову — и точно осенило: большая семья — вот на каком материале должна строиться картина. В семье много детей. У каждого — своя пора жизни и свой ее срез. А все вместе позволит раскрыть человеческое содержание основного закона, который, может, был бы и не так уж плох, если б элементарно соблюдался... Так удастся, глядишь, и госзаказ выполнить, и не замараться. Гуревич ведь не попусту отвалил... Пожалуй, это ход!

Позвонил своему рекомендателю. Он перебил меня, не дослушав:

— Все понял. Такое скушают и Лео, и студия, и даже сам Лапин на ЦТ.

Однако, как условились, я выждал до конца недели и только потом связался с Бакрадзе. Съехались. Показал предварительные наметки.

— Гуревич мне говорил, — не стал темнить режиссер. — Он идею одобряет. Я же во всем, что касается кино, доверяю ему абсолютно. Значит, подписываем соглашение? — И, не дождавшись ответа, добавил: — Не возражаешь, если мы для простоты перейдем на «ты»?..

Они с Гуревичем долгие годы уважительно один другому: вы да вы. Что-то он слишком со мной запанибрата?.. Ладно, меня не убьет. Первым прервал молчание Лео:

— Так когда ты вылетишь в Тбилиси?

— Без тебя я не полечу.

— Почему?

— По опыту знаю, чужаку в Грузии без взятки невозможно даже в гостиницу попасть.

— Не волнуйся. Прямо с трапа самолета направишься в депутатскую комнату. У подъезда тебя будет ждать черная «волга» — номер сообщу накануне. А дальше мои люди станут выполнять любые твои пожелания. И не только разумные...

Как не прельститься? Через четыре дня я оказался в Тбилисском аэропорту. Номенклатурное авто с названным Бакрадзе при проводах во Внуково сочетанием цифр под капотом, действительно, ждало у крыльца, на которое всходили «слуги народа». Знал про такое, но впервые это хоть косвенно имело ко мне касательство.

Нет, чуть не соврал. Раз уж довелось побывать в приюте для народных избранников. Было то в Новосибирске.

Тогда меня к рейсу доставил директор местной киностудии, сам депутат. Приехали чуть загодя. Прошествовали в апартаменты, выпили коньячку за удачу, закусили. Мы совсем расслабились, не слыша приглашения на посадку, как объявили, что вылет откладывается. Ублаженный директор извинился:

— Не взывайте, Павел Семенович, должен вас покинуть. Вы уж как-нибудь скоротайте время один — в обком опаздывать негоже. Тут и телевизор, и пресса. И всегда к вашим услугам — буфет.

Мы попросились на пороге комфортабельного зальца, где прикорнули в удобных креслах несколько отяжелевших любимцев трудящихся масс, делегировавших им власть. Не включать же ящик, когда вокруг спят люди, изведенные бременем государственных забот? Я тихо углубился в припасенный журнал.

Долго ли, коротко ли пришлось ждать, но заглянула все-таки воспитанная девушка из обслуги, попросила всех пройти на борт.

Только заняли места — обращение командира воздушного судна, динамик придавал жесткость его и без того твердому голосу:

— Граждане пассажиры, рейс задерживается по метеоусловиям Москвы на неопределенное время. Прошу вернуться в здание аэровокзала и следить за информацией по радио.

Мой неискоренимый демократизм увлек меня за большинством спешащей в столицу публики, и я попал в циклопический, необозримый ангар ожидания — других слов и не подберу. Непоправимая ошибка была допущена: гигантское пространство так заполнили аэроостранники, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Хватал ртом спертую субстанцию, которой невозможно было дышать, протискивался сквозь толпу, слыша крики и плач детей, жалобы матерей, клянущих авиацию.

— И давно тут? — спросил мужика в унтах, примостившегося с рюкзаком прямо на полу.

— Вторую неделю загораю, — бодро откликнулся тот. — А есть и такие, что третью...

Мы все же улетели в тот день в Москву: нашим рейсом туда спешил кто-то из высокого сибирского начальства. Но в авиагавани обстановка не разрядилась. Так, видно, будет всегда или по крайней мере до тех пор, пока избранники сами по себе, а их избиратели — тоже сами по себе.

Воспоминание увело меня далеко. Тем временем черная «волга» уже подъезжала к интуристовской гостинице «Аджария».

Оформление отняло несколько минут. Водитель отнес мою дорожную сумку в уже приготовленный одноместный номер.

— Вам позвонят, — сказал расторопный шофер и удалился.

Еще и вещи разложить не успел, как завершал телефон.

— Павел Семенович, приветствую на гостеприимной грузинской земле! Шалва Николаевич Квинтрадзе — друг Лео. — У гудящего в трубке был кавказский акцент, однако, русская его речь звучала щеголевато правильно. — Отныне вы на моем попечении. Ужинаем вместе. Я заеду за вами в восемнадцать тридцать.

Квинтрадзе пришел минута в минуту. Зная по частым поездкам в Казахстан восточную привычку опаздывать, отметил про себя пунктуальность своего опекуна.

— Точность — вежливость королей! — бросил с порога Шалва Николаевич, как бы услыша мои мысли. — О деле — завтра с утра. А сегодня, с дороги, надо отдохнуть. Сегодня мы гуляем!

Ресторан гостиницы почему-то не удовлетворял требованиям заботливого Квинтрадзе. Поехали куда-то на окраину Тбилиси.

— Там нам подадут шашлык, который еще полчаса назад блял, — радостно потирая руки, говорил Шалва Николаевич, — пощипывал травку на этих вот холмах. — И Квинтрадзе широким жестом обвел округу.

Стол уже был накрыт. Не на двоих, как я ожидал, а на солидную компанию. И очень скоро мы обросли какой-то неведомой публикой.

— Паша, — поднес свою вместительную емкость, наклоняясь ко мне, Шалва, — выпьем на брудершафт. — Ты от Лео, значит, ты — мой друг!

— Выпьем! — ответил я, уверенный, что совершенно не пьянею от терпковатого крестьянского вина, которым нас потчевали. В Молдавии про такое острили: голова ясная, ноги — не свои.

— Понимаешь, что для меня значит Лео?..

— Как не догадаться?.. Раз я через него — твой друг, то кто же он? Мы все теперь друзья!

Впоследствии я узнал, что Шалва, благодаря Лео, взлетел в первые секретари центрального райкома партии грузинской столицы.

— Управляющий стройтрестом... И не думал, что когда-нибудь снова сяду в это кресло, хотя и защитил диссертацию по железобетонным, кажется, конструкциям. Подонки! Так опустить человека, который всем делал добро... совести надо не иметь. Но ничего, мы еще поднимемся! Не сомневайся!..

В гостиницу меня доставили глубокой ночью.

— Утром заеду за тобой по пути на работу, — обещал Шалва, — вместе позавтракаем и решим все вопросы.

На другой день Квинтрадзе припозднился. Терпеливо ждал его в номере.

— Извини, Павел Семенович! — Он ввалился, благоухая отечественным «Шипром» и иностранным дезодорантом. — С возрастом

становится труднее восстанавливаться после дружеских пирушек. Едем в трест. Подпишу необходимые бумаги — целиком принадлежу тебе.

— Я тоже не в лучшей форме: вчера мы малость перебрали.

— Зато сегодня отлично поработаем!

В тресте, с лету подмахивая платежки в банк, другие документы, крикнул секретарше:

— Коньяку и боржоми.

Просимое было мигом принесено. Бутылка с минералкой запотела. Другая, с янтарно-золотистой жидкостью и диковинной этикеткой, вожделенно светилась. Она казалась лучшим средством поправиться с похмелья. Шалва наполнил из нее до половины два тонких стакана, точно и не обронив ни капли.

— Я — пас, Шалва Николаевич. А холодной водички выпью с удовольствием.

Завтрак начался в ближнем духане, где, как и вчера, мы быстро обросли приятелями Шалвы. Стало тесно. Поднабравшаяся кодла захотела переместиться в ресторан. Он знакомо именовался «Арагви», но был просторнее и шикарнее московского тезки. Кто-то, строя его, явно стремился переплюнуть первопрестольную.

Только сервировали длинный стол, как что-то здесь разонравилось таме, взявшему бразды правления бесконечной гулянкой еще в духане.

— Неуютное место, — сказал наш предводитель, — вокзал! Есть на примете другое — едем!

Все встали, не притронувшись к закускам, перебравших поддерживали более крепкие товарищи, и направились к машинам.

— А кто за добро заплатит? — тихо обратился я к Шалве.

— Не бери в голову, Паша, — успокоил меня мой новый друг, — они наши вечные должники.

— За баранки садятся под градусом — не влипнуть бы в историю!..

— Ерунда, геноцвали! Нас повезет сам начальник ГАИ.

День вылетал в трубу. Оседал прахом. Под вечер я взмолился:

— Шалва Николаевич, как же работа?.. У меня командировка только на неделю...

— Это мы уладим с Лео. А чего, собственно, тебе нужно — разве плохо сидим?..

— Сидим хорошо, но мне надо большую грузинскую семью найти и собрать о ней материал для полнометражного фильма.

— Видишь, памятник на горе? — Мы в конце концов приземлились в летнем павильоне парка «Ваке», что переводится — «Победа». — Видишь?.. — Шалва указывал на скульптуру огромной женщины со скорбным лицом. Она возвышалась над уступчатым каскадом фонтанов, которые, по замыслу создателей, символизировали пролитые и до сих пор проливаемые слезы по погибшим в войне. — Родина-мать называется. Изваял наш замечательный Георгий Очаури. Госпремию СССР

получил. Старший брат Иракий — тоже великолепный художник. Оба народные. Они сваны. У них большая семья — и сыновья, и дочери у матери, которая еще жива. И все талантливые, многого в жизни добились. Чем не герои для твоего сценария? Завтра же отвезу к ним.

Шалва сдержал слово. Посещение мастерских ваятелей произвело сильное впечатление. И людьми они оказались симпатичными и интеллигентными.

— Ну, что я говорил? Понравились? — тормозил меня после второго визита — визита к младшему из скульпторов Шалва.

— Очень понравились. Но, по моему ощущению, нужно что-нибудь попроще.

— Нет, ты съезди в Сванетию. Поговори с мамой. Влюбишься в старушку... Мой шофер, к счастью, сван. Он и доставит, и переводчиком будет...

Однако, прежде мы еще поколесили с Шалвой по Тбилиси. Его ждали на крестинах, похоронах и поминках. И всюду нельзя было не повиться, хотя бы коротко.

Ну, крестины — обряд радостный. В Сионском соборе, где когда-то венчались Грибоедов и Нино Чавчавадзе, его совершал сам католикос Грузии Илия, красивый, благообразный, довольно молодой, а борода в седине.

Шалва шептал молитву, истово крестился и между тем успевал тихонько информировать неверующего гостя:

— Мы — христиане с четвертого века. Взгляни на икону слева от алтаря — это святая Нина, которая и обратила грузин в православную веру.

Протиснулся, чтоб рассмотреть: древнее письмо, лик равноапостольной потемнел от времени и скорбей. Храм был полон людей, и, наверно, у большинства грехов было не меньше, чем у доброго Шалвы, уповающего на милость Божью и носящего в кармане партийный билет.

Мне сделалось нехорошо от перегрева, сжигаемого в кадилах ладана, сладкого чада свечей, быстро тающих в душной атмосфере Сиони.

— Выйду, подожду у машины, — приглушив голос, предупредил я Шалву и протолкнулся наружу.

Напротив тоже был молитвенный дом — синагога евреев-аборигенов. Укрылся там от жары. Нечего положить на голову — связал углы носового платка. Водрузил на макушку импровизированную кипу, ступил под своды иудаистской молельни. Может, здесь отдышусь?

Приблизился крупный толстый грузин, неотличимый, на мой взгляд, от любого каца.

— Вам что надо?

— Я еврей из Москвы. Никогда не бывал в синагоге грузинских евреев...

— Любопытствуете?..

— Ну, почему же?

— Сюда приходят говорить с Неназываемым. А вы знаете нужные слова?

Вот так: и здесь я не свой. Попрощался и вышел. Шалва уже ждал меня у машины.

Теперь надо было ехать на похороны. Гроб стоял в дальней комнате. В передней сидели обряженные в черное родственники. Женская их половина отныне будет целый год носить траурные одежды. Мужская ограничится крепом на рукаве и портретом усопшего на лацкане пиджака.

Церемония проводов продолжалась неделю. Истомившийся в теплом климате покойник ждал, пока живые соблюдут обычай.

Мы появились вовремя, перед выносом тела. И вместе с нескончаемой печальной процессией двинулись на кладбище.

Обряд погребения тянулся бесконечно долго: отпевание, скорбные речи, возложение венков.

Стоял в задних рядах, куда почти не доносились звуки происходящего. Отступил на несколько шагов, и могильная тишина окружила меня. Кругом возвышались мраморные и гранитные монументы, вызывающе дорогие и почти всегда аляповатые. Что-то в них напомнило о языческих капищах, точно пятнадцать веков христианства не научили здесь живых смирению перед ликом неизбежной смерти.

Думал, понять их можно: грузинскую столицу много раз дотла сжигали враги, и местные обитатели больше доверяли негорючему камню, чем запечатленной на пергаменте или бумаге памяти.

Нет же, в Музее рукописей увидел потом древние свитки и книги, уцелевшие от огня пожарищ. Там мало было оригинальных произведений — в основном переводы с греческого или старославянского. Но «Мученичество Шушаник», которое прочитал в переложении порусски, потрясло высотой одухотворенного чувства.

В другом хранилище — Музее дружбы народов — надеюсь, он сейчас не упразднен — директор хвалился передо мной:

— Манускрипт «Доктора Живаго» купил, авторские экземпляры пастернаковских интерпретаций грузинской поэзии — и всего за сто пятьдесят тысяч...

Продешевил зять Ивинской, осуществивший коммерческую операцию. А грузины, получается, цену слова знают...

Почему же столь материальны, столь демонстративны выражения их скорби?

С кладбища мы вместе со всеми поехали на поминки. Так совпало, происходили они в том «Арагви», которым из-за неужюта пренебрегла накануне наша хмельная компашка.

В зале расселось пятьсот участников тризны. Столы ломятся под бутылками и блюдами.

Прямо по центру возвышался человек. Он что-то говорил по-грузински. Шалва объяснил:

— Брат покойного. Тот был крупной фигурой — замминистра. Этот — врач. Все устроено на его деньги...

— Врач — и смог такое осилить? — тихо, чтоб не услышали соседи, спросил я Шалву.

— Он председатель медкомиссии республиканского военкомата. Многие состоятельные родители не хотят отдавать сыновей в армию, поэтому предпочитают расставаться с деньгами, — усмехнулся Шалва. — Давай выпьем за ушедшего в мир иной. Он любил жизнь, и мы с ним частенько бражничали!

Мой новый друг посмотрел на меня весело, опорожнил крутобокий бокал коньяка и на закуску запихнул в широко раскрытый рот ломоть севрюги горячего копчения, на который горкой была навалена рассыпчатая черная икра.

— Не много ли холестерина? — ехидно заметил я.

— И тебе не советую пренебрегать подобной закуской, — невозмутимо парировал Квинтрадзе. — Ты же, кажется, завтра утром собираешься выехать в Сванетию? Здесь тосты только начинаются...

— Как хочешь, Шалва, но я скоро незаметно улизну в гостиницу. Необходимо собраться с мыслями перед дорогой...

— Не гони волну, Паша! Через полчаса вместе смоемся. Доставлю тебя в отель в лучшем виде.

Да, насыщенный выдался денек! И если б не соучастие Шалвы, не уверен, что мне удалось бы осуществить свой план. При его содействии я не только впервые после прилета в Тбилиси почти трезвый и вовремя лег спать, но утром встал свежий, как огурчик, еще до того, как позвонил, что выезжает за мной, шофер-сван, принявший на себя и обязанности переводчика.

Мы двинули на родину Очиаури до жаркого солнца, хотя надо было подниматься в горы, а там становится прохладнее по мере преодоления высоты.

Помнил фильм Николая Шенгелаи «Соль Сванетии», виденный на курсах по учебной программе. Сторожевые каменные башни, венчающие утесы вокруг селений. Суровый быт горцев. То были еще двадцатые годы.

С тех пор здешняя действительность мало в чем изменилась. И все же, представ не в контрастной черно-белой светописии мастера, она как-то поплёкла вопреки тому, что обрела натуральные краски. Конечно, природа по-прежнему была великолепна. Как бы обесцвечилась сама жизнь, и теперь поражавшая благородной бедностью.

Наша «волга» перегревалась на подъемах. Путь до райцентра Местии — сванской столицы — оказался не из легких. Мы намеренно избежали встречи с местной властью — наверняка затеяли бы стол.

Дотряслись до школы — здание выделялось размерами. Очаури рассказывали, что здесь они закончили начальный этап учения. Профессиональная привычка: почти уверен, что снимать не будем, а объекты на всякий случай присматриваю...

Против школы в обыкновенной хибаре размещался убогий магазин. Выходящие из него редкие покупатели неизменно бросали взоры на незнакомую машину, но любопытства не проявляли. У одного из них водитель и разузнал, как отыскать саклю, где обитает мать семейства. Туда нужно было добираться на своих двоих.

Без навыков скалолазания я с трудом поспевал за спутником. Перехватывало дыхание, когда мы, наконец, достигли родового очауурского гнезда.

Хозяйка возилась во дворе — складывала под навес кизячные лепешки — самое доступное и ходовое топливо в гористой местности. Пригласила в дом из плоских камней, где посредине тлел, попахивая душистым дымком, примитивный очаг.

Через неопытного переводчика попытался объяснить, что привело меня в Местию. Старуха очень внимательно слушала, а потом с некоторым удивлением спросила:

— Ты что, не умеешь по-нашему? И по-грузински не умеешь?

Толмач втолковал мне вопросы сванки. В ответ я замотал головой.

— Кто же ты?

— Еврей. Из Москвы.

Мы и дальше разговаривали через переводчика, однако, для лучшего понимания пристально глядели в глаза и в рот друг другу.

— У тебя есть своя страна. Почему там не живешь?

— Жена не хочет. Она русская.

— Передай от меня жене: она должна быть с мужем там, где ему будет хорошо.

— Спасибо. Передам. А как вы относитесь к тому, чтобы сделать кино про ваших сыновей, про всю вашу большую семью?

— Мои сыновья позорят само имя свана.

— Это чем же?

— Для сванского мужчины только два занятия почетны — быть воином или быть поэтом. Они же мастерят идолов из глины и камня, работают руками.

— Воин тоже держит меч рукой. Поэт рукой водит пером.

— Ты мне мозги не выворачивай наизнанку. В восемьдесят шесть лет поздно обращать в другую веру...

Да, такую не поколеблешь... Защитник отечества и абрек — первые в горах, где границы между своими и чужими проходят неусловными рубежами-тропами, а средства к существованию так скудны. Поэт слышит голос Неба и повторяет за ним то, что глухо для остальных. Это важно и потому уважаемо. Но отчего столь уничижительно отношение к физическому труду? Такое понять надо...

Старая Очиаури предложила разделить с ней трапезу — кукурузные чуреки и козье молоко. Заартачился шофер. Что-то сказав хозяйке по-свански, он обратился ко мне:

— Я все объяснил и извинился. Нас ждут мои родители.

Вниз, к машине, спускался на слабеющих в коленях ногах — то ли голод, то ли беспробудное пьянство накануне.

— Зря все-таки не поели у старушки, — выразил я свое недовольство водителю.

— Потерпите немного, Павел Семенович. Дома хинкали готовы. Вода на плите кипит.

Стремительно разматывался в долину головокружительный серпантин обратной дороги.

— Где кончается Сванетия и что начинается дальше? — Вопрос был вызван не праздным любопытством, а давешним размышлением о горных кордонах и тех, кто их охраняет.

— Там земля пшавов. Видите дом слева? В нем жил Важа Пшавела. Слышали о таком поэте?..

— Читал его поэмы. Их замечательно перевел русский поэт Николай Заболоцкий. Давай заедем хоть на минуту.

— А хинкали?

— Только на минуту...

— Хорошо. В доме — музей. Только открыт ли он?

Соскользнули с разбитого асфальта. Дом Важи одиноко скучал на окраине деревни. Кругом не было ни души. Мы приблизились к двери, постучали. Никто нам не ответил. И тогда самовольно ступили в жилище поэта-пахаря — оно оказалось незаперто. Внутри все поражало простотой и бедностью: глиняная утварь, медный котел, вмурованный в почерневшую от копоти печь, орудия для крестьянской работы, на некрашенной деревянной полке — несколько книг самого Пшавелы. Только они и остались от его трудов...

Неспроста, видно, случай подстроил подряд встречу со старухой — сванкой и домом, где витал дух Важи.

Подобно только что увиденному было и обиталище родителей шофера. Та же скудость обстановки. Но какое радушие!

Мы уплетали за обе щеки с моим переводчиком бесподобные хинкали. Под тутовую чачу они прыгали в рот, как гоголевские галушки, а добрая стряпуха-мать выставляла на до желтизны выскобленный дощатый стол все новые и новые миски со своими изделиями. Никаких изысков, зато от сердца и сытно.

Сравнивал сванское угощенье с тбилисскими обжорными гужева-нями. Да точно ли и здесь и там меня принимали одни и те же грузины — люди, относящиеся к единому народу?..

Утром, прощаясь со мной по телефону, Шалва предупредил:

— Если вернетесь до шести, буду ждать тебя в тресте. После — шофер знает, куда везти московского друга.

Доставлен я был в финскую баню. С дороги оно, конечно, было кстати. Только прежде надо было поучаствовать в барском гудеже.

— Пощади, Шалва Николаевич! И накормлен и напоен.

Мольба была услышана;

— Ничего, сейчас попадешь в руки нашего массажиста, а затем придется восстанавливать силы...

Мной занялся здоровенный детина. Его железные руки могли бы вылепить из глины Голема. Мял мышцы, выворачивал суставы. Казалось, не обойдется без членовредительства. И все же в парилку жертва была отпущена целой и невредимой.

Когда я выскочил оттуда, хватая ртом воздух, мне поднесли добрую стопку ледяной водки и уже известный, по рецепту Шалвы, ломоть севрюги с икрой. Опрокинул, заел — и ощутил прежде не испытанное блаженство. Черт возьми, умеют эти сибариты кейфовать!

Лукуллов пир закатил Эдик — управляющий другим, более прибыльным трестом «Грузинский шелк». Пухлорукий дородный наперсник Квинтрадзе умел, видимо, из коконов тутового шелкопряда сучить непосредственно хрустящие новенькие сотенные купюры. Убедился в том немного позднее, когда он развозил нас по домам.

Уже в машине Шалва принялся меня уговаривать:

— Забудь на сегодня о гостинице. Посмотрим вместе футбол — одному скучно. Тут такой матч! Тбилисское «Динамо» в финале кубка УЕФА. Ну, и расскажешь о Сванетии: будешь ли все-таки снимать Очаури или нет...

Эдик кружил по улочкам старого города, точно нарочно оттягивал время. Наконец, остановил свой кабриолет у какого-то подъезда. Я вышел вслед за Шалвой. Двинулись к двери. В парадном Шалва вдруг остановился, будто вспомнил о чем-то, сказал:

— Подожди здесь, — и вернулся назад, к неотъехавшему Эдику. Ждать пришлось недолго.

— Забыл в машине? — спросил я, увидев в руках Шалвы бумажный сверток.

— Нет, Эдик просто постеснялся отдавать мне деньги при тебе.

— Долг?

— Нет. С него каждый месяц причитается...

— Как же и когда я доберусь до номера этой ночью? — Вопрос был задан, чтобы увести разговор от щепетильной темы.

— Под моей крышей всегда найдется место для доброго человека!

Жена Шалвы Замира выказала неподдельную радость, встречая нас в прихожей, но проявила и долю язвительности:

— Спасибо футболу, иначе не видать бы нам этим вечером нашего кормильца и его гостя! — вскричала она.

— Ах ты, моя дорогая! — обезоруживающе улыбнулся миролюбивый Шалва. — Накрывай побыстрее стол для такого редкого вечера.

— У меня чудесные хачапури к чаю.

— А чего-нибудь покрепче не найдется? — с надеждой спросил хозяин дома.

— На тебя не напасешься — все выпито, — совсем как русская женщина, отрезала Замира. Она и происходила из местных русских, да так натурализовалась, что ни внешностью, ни произношением не отличалась от грузинки — только, может быть, гены славянской строптивости изредка взыгрывали в ней.

Напряжение разрядил залиvistый звонок. В квартиру, неся на вытянутых руках ящик с бутылками, протиснулся похожий на Эдика юноша.

— Это от папы, чтоб легче было болеть за нашу победу, — сказал отпрыск шелкового магната.

— Ай, молодец! Деловой человек всегда догадлив! Передай отцу мой поцелуй, — попросил Шалва и облобызал юношу. — Теперь, Паша, мы спасены!

«Динамо» тот матч выиграло. После каждого забитого земляками гола ликующие тбилисцы выскакивали на балконы, начинали пальбу из ружей и ракетниц. По улицам, истошно клаксона, на сумасшедшей скорости носились легковые автомобили. Говорили, что в те часы, — а футбольное состязание, происходившее где-то в Европе, закончилось далеко за полночь, — город пережил пик дорожных происшествий. Утром я сам наблюдал, проезжая вдоль набережной реки Куры, несколько врезавшихся в вековые деревья искореженных машин.

Зачем так подробно описал этот день — один из многих, что довелось провести в Грузии за годы работы с Лео? Интересно ли кому, кроме меня, то, что увидел в новой для себя стране, что понял о ее народе, представления о котором складывались раньше по случайным встречам, курортным и базарным впечатлениям?

Не знаю. Пусть читатель, если таковой появится, вынесет свое суждение сам.

Коллеги из газеты «Заря Востока» дали мне почитать выступление Эдуарда Шеварднадзе, на пленуме, где он принял власть в республике. В нем говорилось, примерно, следующее. Прежде имя грузина связывалось с понятиями «воин», «рыцарь», «революционер» и «благородный человек». Теперь же возникают фигуры рыночного торговца и спекулянта. Шеварднадзе призвал соотечественников сделать все, чтобы разрушить сложившиеся стереотипы.

Грузия, как она открывалась, была пестра. Ее еще нужно было узнать и понять. Передо мной же стояла утилитарная цель — найти героев будущей ленты.

Те же коллеги-журналисты снабдили меня кучей газетных вырезок — очерками о многодетных грузинских семьях.

Впился. Выбрал как будто бы подходящее. Отправился по указанному адресу. Что открылось? Поразительная бедность. Рабочая окра-

ина. Тесное жилье. Отец с матерью — простые трудящиеся люди и десять чад мал мала меньше жили так скудно, что это явно не годилось для фильма.

Разочарованный, подрастерявший уверенность в успехе предприятия, позвонил Лео в Москву. Тот посоветовал прибегнуть к содействию Дэви Стуруа — его номинального соавтора.

Стуруа принял меня, вальяжно расположившись в старинном вместительном кресле.

— Вот кто может нам помочь — ответственный редактор «Советской Грузии». — Крутанул номенклатурный телефон, как равный с равным переговорил с собеседником по-грузински и, облегченно вздохнув, избавился от нектати свалившегося московского сценариста, который взялся анонимно переписывать чужое сочинение: — Внизу машина, Павел Семенович. Поезжайте в наш авторитетнейший печатный орган прямо к главному. Он ждет и окажет всяческое содействие.

Ни в жизнь не попасть бы в такой важный кабинет без мощной рекомендации. Но шеф грузинской республиканской газеты не предлагал ничего конкретного. Тогда я достал листок с фамилиями, извлеченными из разных вырезок. Вот, к примеру, семья Элиашвили...

— Сразу скажу — не подойдет.

— Почему?

— Евреи.

— Да? Из чего это видно?

— Мы умеем отличать.

— Разве нельзя снять фильм о трудовой еврейской семье? Вернее, семье грузинских евреев.

— У нас в отличие от России никогда не было антисемитизма. Но мы, пропагандисты партии, обязаны показывать типичные явления. Вы согласны?

— Вот еще семья из мингрельского села Саджиджао...

— Мингрелы... Теперь это можно. Народ там живет богато. Материал окажется выигрышный.

Во время штудий истории Грузии обнаружил исследование дореволюционного тифлисского ученого Бориса Эсадзе. Основываясь на так называемой билингве — двуязычной каменной плите, где надписи были высечены на древнееврейском и древнегреческом, он установил, что иудеи появились в Закавказье еще в десятом веке до Рождества Христова. Наверно, попали сюда после падения Вавилона, высказал предположение Эсадзе. Поселившись в пределах Большого Кавказского хребта, пришельцы научили местных жителей культуре виноградной лозы и многим другим полезным вещам.

Да и праотец Ной, причаливший со своим ковчегом к Арарату, утверждал Эсадзе, после потопа дал земли севернее священной горы в удел одному из сыновей — Яфету, он же Картлос. От него произош-

ли яфетические народы, к которым относятся и грузины. А страна по нему стала именоваться Картли.

Так давно здесь обитают евреи. У них и языка другого нет — лишь грузинский. Но для кино не годятся.

Я и от Лео потом слышал:

— Грузинские евреи глупые. Не то, что европейские. И потому занимаются главным образом земледелием и торговлей.

А глупые грузинские евреи, переехав в Израиль и узнав, что в Иерусалиме в ограде греческого монастыря покоится прах Шоты Руставели, выкупили место погребения и в благодарность за тридцать веков, прожитых в Сакартвело, подарили прежней родине.

— Надо ехать в Мингрелию, — сказал я Шалве после консультации с главным редактором.

— Нет проблем, — ответил безотказный Шалва. — У меня работает молодой инженер Энвери. Он мингрел. Будешь, как за каменной стеной.

Уже на следующее утро мы отправились в неблизкое по здешним масштабам Саджиджао. Энвери искусно вел трестовскую «волгу» в сторону Сурамского перевала по прихотливой извилистой дороге.

Ехали весь день, остановились только для обеда. Молодой инженер расстарался — демонстративно выставил на стол чуть ли не все блюда национальной кухни. Я протестовал — не может столько съесть человек. А когда попросил у официанта счет, то услышал:

— Уплочено.

— Нет, Энвери, я не согласен: каждый внесет свою долю.

— Вы не только меня обидите. Шалва Николаевич будет возмущен.

Перевал слыл опасным местом. Не так давно, преодолевая его, свалился в раскраскал Энвери, сбавляя на виражах скорость, доказывая, что разумный и опытный шофер умеет соразмерять быстроту движения с особенностями пути и собственным мастерством. Мне ничего не оставалось, как только подтверждать правоту благоразумного на словах юного мингрела, который между тем гнал машину так, что дух захватывало.

Миновали райцентр Хоби. А это означало, что нам осталось еще километров двадцать — сущий пустяк! — по сбежавшей в долину ленте асфальта.

В Саджиджао прибыли, когда солнце стояло еще высоко — времени было достаточно. Да еще повезло: первый же, к кому мы обратились, указал нам искомую семью, где было семнадцать детей: одиннадцать мужского и шесть женского пола.

Отчий дом был большой, на сваях, как принято в этом низменном крае. Женатые сыновья рядом поставили свои, построенные обща жилища, — образовалась целая улица.

Мы начали со знакомства с матерью — Лаурой. С удивлением узнал, что в Мингрелии крестьяне питают слабость к заграничным экзотическим именам. Мне встретила даже одна Индира.

Лаура вышла замуж почти девочкой за человека на двадцать четыре года старше. Она была из бедных. Он добился уже положения — работал в чаеводческом колхозе бухгалтером. Если дети — свидетельство счастливого брака, то союз Лауры с тружеником счетов мог быть признан на редкость удачным. И все же, рассказывая о своей судьбе, женщина не удержалась от жалобы:

— Пока любил меня, я ему сыновей рожала. А как подурнела, дочки посыпались. Он не упрекал, даже доволен был: будет, говорил, кому за нами в старости смотреть. Жаль, до времени ушел, не порадовался...

Рано оставил неугомонный дед еще не слишком привядшую жену. Вдове чуть перевалило за пятьдесят.

Пока мы беседовали с Лаурой, вокруг собрались дети и внуки. Даже не верилось, что всем этим людям дало жизнь одно материнское лоно. А ведь кое-кого из чад не было на тот момент в Саджиджао. Какой-то из парней, как и требовалось для фильма, отбывал вдалеке срочную службу в армии. Две девушки учились за пределами села: первая — в институте, вторая — в техникуме. Старший внук заканчивал в Хоби профтехшколу.

И чада, и чада чад были, как на подбор, симпатичные, складные.

В общем, стало понятно, что найдена золотая жила.

Мой блокнот разбухал от записей. Уважаемые односельчане — директор школы, председатель местного совета, голова колхоза — все дружно хвалили трудолюбивую сплоченную семью.

Можно было уже и покидать Саджиджао. И южный вечер стремительно переходил в ночь, но нас усадили за просторный стол в усадьбе Лауры. Наскоро отведали нехитрой крестьянской снеди, запихивая за обе щеки, полакомились ароматной мамалыгой с овечьим сыром и, извинившись, двинули в обратный.

До Кутаиси Энвери гнал машину без остановок. Здесь он наметил ночлег: не ехать же через перевал в темень. И заранее исхитрился заказать гостиницу и ужин в ресторане. Если б не его предусмотрительность, непросто было бы найти пристанище в лежащем на пути к Черноморскому побережью городе.

Опять в ресторане отеля мне не было позволено выложить ни рубля. А когда утром спустился к администратору, чтобы рассчитаться за номер, то услышал:

— Счет оплачен.

Возвращаемся в Тбилиси. Шалва спрашивает:

— Как поездка?

— Замечательно! — поспешил я порадовать заботливого друга. — По-моему, можно лететь в Москву: материал — что нужно, спасибо.

— Как Энвери? Не подвел?..

— Отличный парень! Деликатный. Толково переводил. Одно . смушало — ни копейки не позволил потратить за всю дорогу. Я в коман-

дировке, доказываю, мои расходы входят в ее смету, а вы — простой инженер. Не слушает...

— Паша, дорогой, — увещаяюще прервал меня Шалва, — если б он год тебя возил и всюду платил, все равно моим должником остался бы. Я его в партию принял. Две машины ему сделал. Так когда хочешь домой?

— Да хоть завтра, если найдется билет.

— Для нас билет всегда найдется. Первый рейс устроит?

— Устроит.

— Будь готов утром. Я за тобой заеду за час до вылета.

В аэропорту Шалва вручил мне билет, проштемпелеванное командировочное удостоверение. Я полез за бумажником, достал деньги.

— Оскорбить хочешь напоследок? — надулся Шалва. — А я считал — мы друзья.

— Перелет-то оплачен нашим директором в оба конца...

— У нас свои порядки. И ты их, пожалуйста, не нарушай.

Так я, не покидая пределов СССР, побывал в стране, которая казалась знакомой, а повернулась ко мне столь разными и неожиданными сторонами, где приходилось разговаривать с местными жителями через переводчиков и соблюдать чужие обычаи и установления. Потешная вроде бы эмиграция и временная — в любой момент вернуться можно.

Но главное — появилась работа по специальности, работа, по которой соскучился.

Лео был доволен моим грузинским отчетом. И советник его Гуревич и главный киноавторитет Борис Галантер одобрили идею, вызревшую в самолете. Оба они заслуженно снискали славу наиболее сведущих в документальном кино людей. А последний к тому же был режиссером на Центральном телевидении, то есть прекрасно ориентировался в критериях начальства, которому придется сдавать готовую картину.

Придумалось вот что: нужно отправить Лауру в санаторий. Да хоть в Кобулети — это недалеко. Лео без труда достанет путевку. И затраты невелики для сметы большого фильма. На отдыхе мать нашего семейства «случайно» встретит другого курортника, посланного нами в Кобулети — Рамаза Чхиквадзе. Известный актер театра и кино, знаменитый исполнитель шекспировского Ричарда III, он удивится, узнав, сколько детей у этой простой крестьянки. Ему захочется услышать ее историю, и отсюда начнет раскручиваться лента. Чхиквадзе примет на себя роль ведущего в кадре и за кадром. Уговорить Рамаза сниматься будет несложно, учитывая дружеские отношения с ним Лео и его окружения.

Обаяние и находчивость Чхиквадзе неоспоримы. Действие примет как бы самоигральный ход.

Еще надо будет устроить краткосрочный отпуск солдату — через штаб округа проблема решается в два счета. Вызвать в определен-

ный период домой учащихся — да они примчатся, только скажи! Ну, и все остальное живо провернет мой режиссер-постановщик, который, как уже отмечалось, слыл виртуозом по части умения все организовывать.

Сценарий был написан быстро. И через пару недель мы вчетвером — Бакрадзе, оператор Геннадий Мякишев, второй режиссер Ольга Трофимова и я отправились в Грузию.

— Изображение будет люкс, — довольно щелкал пальцами Лео, заполучив на картину прекрасного мастера с Центральной студии. Мякишевская манера снимать отличалась лиризмом, который обычно не свойствен документалистам. Своих, грузинских кинооператоров Бакрадзе почему-то проигнорировал...

Лео не давал мне передышку и в Тбилиси, пока собиралась группа, проводились пробы пленки, комплектовалась аппаратура, выбивался автобус для автономного передвижения кинооравы.

Как всегда, приготовления затягивались. И Лео принял решение — выслать меня вперед. До Хоби я должен был добраться поездом. А оттуда заблаговременно тормозить народ в Саджиджао.

Лаура уже грелась под солнышком в Кобулету. Солдат спешил на побывку. Студентки и учащийся профтехшколы получили освобождение на дни съемок.

Никогда не передвигался по Грузии железнодорожным транспортом. Не Индия, конечно, но очень похоже. Вагон был набит земледельцами, которые возвращались домой после удачной распродажи в столице, везли мешки с городскими покупками. Толчея невероятная!

Нас невольно прибило друг к другу с одним подполковником. Он тоже, как выяснилось, ехал в Хоби, где служил районным военкомом.

Перестук колес сближает. У него с собой было, по вошедшему в обиход слову сатирика. Мы приняли на душу, несмотря на духоту, — так вроде воздух не казался столь густым...

— Говорят, курорт, до моря — рукой подать, но трудно, — жаловался на судьбу подполковник. — Трудно обеспечить призыв. Никому не хочется покидать родную благодатную землю и трубить в каком-нибудь Заполярье, где бродят белые медведи.

В Хоби он зазывал меня к себе. Я настоял на гостинице. Ссылался на то, что не сегодня-завтра прибудет группа, нужно подготовить для нее номера. Он согласился с моими доводами, подбросил попутчика до двухэтажного местного отеля, помог устроиться.

Вышел его проводить, попрощаться.

— Расстаемся до вечера, — предупредил подполковник. — Видишь справа сооружение? Это ресторация. Между прочим, частная. Ради нас владелец птичье молоко выставит. Так что спускайся сюда часиков в девять.

Немного соснул с дороги. Пробудившись, принял душ, но голова трещала. Поход в ресторацию был в самый раз.

Подполковник углядел меня, как только я вошел в заведение. Широким движением руки указал на просторный стол, за которым сидело несколько офицеров.

— Паша, тебя ждем!

Нас обслуживали по высшему разряду. То и дело подходил хозяин и спрашивал:

— Официанты внимательны?

Как расплачивались, я уж и не помню.

Зато, когда на какой-то день прикатил Лео в собственной «волге» (он держал этот автомобиль в Тбилиси специально для поездок по Грузии, хотя давно жил в Москве) и мы пошли вдвоем ужинать, я был принят в ресторации, точно самый желанный посетитель.

Лео, конечно, понимал толк в мингрельской кухне и заказывал наиболее дорогие блюда, удивляясь почету, которым меня окружила обслуга. Наконец богатый мой режиссер потребовал счет. И был сражен окончательно.

— С Пашиных друзей денег не берем! — безапелляционно заявил хозяин.

— Чем ты его взял? — спросил пораженный Лео, когда щедрый частник отошел.

Но я не раскрыл Бакрадзе тайну своего финансового могущества.

Мой престиж вознесся еще выше после появления в ресторане с Рамазом Чхиквадзе. Это было чуть позже, уже во время съемок.

Рамаз попросил ледяного боржомы. Его в Хоби можно было получить только в этом приватном заведении. Поэтому мы и направились туда. Честно скажу: я присутствовал при Рамазе в качестве стража, дабы он не хватил чего-нибудь крепкого — число съемочных дней сокращено до минимума.

Только ступили с Чхиквадзе под входную арку, как нас из-за стойки бара заметил хозяин. Мигом перескочив через ограждение, он бросился навстречу с блаженной улыбкой на устах.

— Батоно Рамаз, батоно Рамаз? — восклицал ресторатор, точно не веря глазам своим. Лицезреть живого Чхиквадзе, несомненно, было для него величайшей радостью.

Я попросил боржомы из холодильника. Ледяная бутылка тотчас была выставлена, и в ту же минуту содержимое ее уже пузырилось в запотевших фужерах. Рядом, — я и не уследил, каким образом, — появилась и другая бутылка — с баснословно дорогим коллекционным коньяком. Ловко хлопнув пробкой, хозяин наполнил ароматной жидкостью три пузатые рюмки. Поняв, к чему идет дело, друг Паша запротестовал:

— Нет, нет, у нас напряженная работа!

Но наш соблазнитель не отставал:

— Батоно Рамаз, только по одной! Детям и внукам буду рассказывать, с кем пил!

И мне не хватило характера...

Тот съемочный день выдался успешным и закончился грандиозным банкетом, в котором участвовало чуть ли не все село. Непьющий оператор Гена Мякишев снял и пир. И кадры веселья не испортили ленты...

Для меня же этот пир обернулся болезнью — пищевое отравление. Наутро залег в гостинице с высокой температурой. Заметив мое отсутствие на очередной съемке и выяснив, что со мной, сельчане прислали ко мне целую делегацию и ведро буйволиного мацони.

— Оно целебное, Павел Семенович, — заботливо объясняли сердобольные жители Саджиджао, — попьешь — и будешь здоровый...

Трое суток я питался исключительно кислым молоком буйволицы, и хворь как рукой сняло.

Деятель общепита — знаток и ценитель театрального искусства. Чаеводы в роли лекарей. Ну, как не умилиться новым мингрельским друзьям?..

Исчерпан запас плёнки. Выразительные эпизоды, будто ненароком увиденные в Кобулет и Саджиджао нашим ведущим и остроумно им прокомментированные, уложены в коробки. Настал черед теперь уже прощального ужина.

На нем упились все, кроме режиссера и меня. Лео хитро уклонялся от требований тамады «пить до дна», незаметно сливал спиртное в стоящую рядом кадущку с пальмой. Я мог после недавнего отравления оставаться трезвым на законных основаниях.

И как это было кстати! На обратном пути пытался сесть за руль автобуса вместо в стельку пьяного шофера. Тот не желал уступать рабочее место, утверждая, что он в полном порядке. Тогда мне пришлось устроиться рядом. Так мы и ехали, вцепившись в баранку вдвоем. Без моей страховки угроза свалиться в текущую параллельно дороге бурную горную речку была вполне реальной.

Утро в гостинице. Долго приходим в себя, измотанные неделей напряженных киношных трудов. Венчающая их попойка позволила немного расслабиться, но усталости не убавила.

В Тбилиси отбыли поздно. Впереди двигалась «волга» режиссера. В ней разместились наши герои и мы с Ольгой. Когда высадили в Кобулет Рамаз и Лауру, — не пропадать же недоиспользованным путевкам, — легковая машина пошла резвее, оставив далеко позади неуклюжий автобус.

Ночь застала нас на перевале. А тут еще дождь. Потоки воды, скатываясь с придорожных утесов, заливали узкую полосу асфальта. Лихой водитель Лео, изменяя себе, вез нас с величайшей осторожностью. И все-таки невозможно было избежать заносов на поворотах, а значит и роковой случайности.

— Давайте остановимся, Леонид Петрович, — предложила Оля. — Переждем грозу.

— Можно и ночлег где-нибудь найти. Тут же кругом населенные пункты, — высказался я.

Вдруг потоп кончился — хляби небесные истощились. Бакрадзе плавно свернул на обочину, выключил двигатель.

— Выйдите, передохните, подышите озоном, — посоветовал он пассажирам, но сам «волги» не покинул.

Погуляв, размяв ноги, я минут через десять вернулся к авто и в свете все еще вспыхивающих зарниц обнаружил партийного Бакрадзе молитвенно шевелящим губами и творящим крестные знамения. Он не медитировал, он смиренно, как истинный христианин обращался к Господу.

«Э-э, да он верующий...» — осенило меня. Я и раньше замечал: у него есть Бог в сердце. Только уж очень непоследовательной была его приверженность благому духу. Он мог быть чутким и добрым, а мог — грубым и бесчеловечным, бывал щедрым, но и расчетливо-мелочным со склонностью к обману, заботливым товарищем и вместе эгоистичным, думающим только о себе барином. Мы потом не раз сталкивались с ним из-за этих противоречивых его свойств. Больше всего меня задевало то, что, пока я был нужен ему, души во мне не чаял, всячески обхаживал, но лишь закончили картину, которую очень хорошо приняли и на студии и на Центральном телевидении, я точно перестал для него существовать.

Когда, к великой моей печали, перестал существовать он, и не фигурально — на самом деле, когда ушел навсегда, вдова Лео Натэла позвонила и сказала, что хочет отдать общие наши фестивальные призы тому, кто завоевывал их вместе с мужем.

— Нет у нас общих призов, — возразил я.

— А вы приезжайте — посмотрите.

Поехал и обнаружил две весьма почетные награды, о существовании которых даже не подозревал: Лео скрыл от меня факт их присуждения. Щадил мое самолюбие? Ведь фамилия подлинного автора этих фильмов нигде не значилась...

Двусмыслен статус «негра». Делаешь за другого престижную работу, числясь всего лишь ассистентом режиссера в каком-то никому не ведомом трудовом соглашении. Не фигурируешь в титрах, хотя в действительности являешься и сценаристом и режиссером-постановщиком.

На студии недоумевали, что меня заставляет мириться с такой ролью. Лео глухо скрывал, что привлек к производству картины вчерашнего отъезжанта.

При новом директоре Чабуа Амирэджиби что-то, видимо, всплыло, иначе как объяснить то, что произошло дальше. Чабуа — бывший многолетний зэк, теперь же — известный писатель, был тесно связан с московским литературным миром. Оттуда и просочился слух.

Так вот, являюсь я в кабинет Амирэджиби после срыва плановой смены.

— Чабуа Ираклиевич, сил моих больше нет бороться с неэффективностью некоторых студийных служб.

— Кто ты собственно такой? — сорвался в крик всегда уважаемый Чабуа. — Вон! И чтоб ноги твоей здесь не было!

Выскочил в приемную и, не говоря никому ни слова, покинул здание и территорию кинофабрики. «Быстрее в кассу аэрофлота — только бы купить билет. Больше здесь меня никогда не увидят!» — разогревал в себе обиду, а сам во всю прыть бежал в спасительное агентство.

До сих пор не ведаю, каким образом Лео узнал об инциденте. Но он перекрыл все пути к бегству.

— Паша, не пори горячку! Главное — закончить фильм. Ну, мало ли что может ляпнуть начальство?..

— Пусть извинится твое начальство, тогда останусь.

— Хорошо, я поговорю с Чабуа.

Не уверен, было ли у них объяснение, мне же Лео доложил:

— Просил передать, что сожалеет о случившемся.

— Что ж он сожалеет заочно? Оскорблял не с глаза на глаз — при сотрудниках.

— Ты слишком много хочешь... Он ведь князь и мировая знаменитость!

Я смолчал в ответ. Да почему-то вспомнились столичные разговоры, будто Амирэджиби не сам писал «Дату Туташкия», который его прославил, а нашел талантливую литобработчицу — редактора журнала «Новый мир» Инну Борисову — не один я ходил в «неграх». Версию подтвердил через двадцать с лишним лет второй и последний роман этого автора «Гора Мборгали» — литература совсем другого уровня....

Ты тоже испила горькую чашу. Приняли корректором в «Савраску» — «Советскую Россию». В Союзе же писателей не восстанавливали, хоть давно подала туда заявление.

«Судьба предоставила мне достаточно времени для спокойного и трезвого раздумья», — начиналось оно. Далее следовало: «Я поняла, что связана с Родиной, с русской советской поэзией, с товарищами-поэтами связью поистине неразрывной. Я перечитала биографии и стихи Марины Цветаевой, Константина Бальмонта, Игоря Северянина, Саши Черного и других русских поэтов, волею судеб оказавшихся в эмиграции, и все они говорили мне одно и то же; я должна жить и творить тут, дома, а не где-то там, на чужбине. Большое влияние на меня оказали коллеги-писатели...»

Оставшиеся мне годы, много их или мало, хочу работать в русской советской литературе честно, активно, в меру отпущенных мне способностей».

На руководство писательской корпорации заявление не произвело нужного впечатления. И я решил обратиться к Феликсу Кузнецову — первому секретарю московского отделения. Мы немного сблизил-

лись когда-то в Коктебеле, пася играющих вместе маленьких дочек, по-товарищески перешли на «ты». Он ставил себе в заслугу и даже гордился тем, что в свое время приветствовал дебют Александра Солженицына в литературе.

После, встречаясь эпизодически, вели разговоры, которые можно было счесть и доверительными. Так, возвратившись из поездки в Канаду, где у него были контакты с послом Александром Яковлевым, Феликс рассказывал удивительные вещи. Раньше Яковлев занимал крупный пост в ЦК партии. Неосторожно выступив со статьей «Об историзме», он обрек себя на опалу и был отправлен в почетную ссылку за океан. Не знаю, чем Феликс вызвал посланника на откровенность, не знаю, какой тот располагал конфиденциальной информацией, но мой приятель был воодушевлен: по словам Яковлева, очень скоро в нашей стране грядут чрезвычайно важные перемены. До Горбачева и перестройки оставалось ровно шесть лет...

Позвонил Кузнецову домой.

— Приезжай в союз, я предупрежу секретаршу. — И назначил время.

Принимал как большой начальник — вместо рукопожатия кивок.

— Феликс Феодосьевич... — начал я.

— Только давай, Павел, без обиняков, — перебил он меня.

— Что вы Тамару терзаете — тянете с восстановлением? Если она в чем и виновата, то лишь в том, что любит мужа. Все затеял я. И еврей — тоже я. Мне и отвечать...

— Хорошо, что пришел, откровенно изложил, как обстоит дело. Это будет учтено при рассмотрении ее заявления.

Долго еще вопрос висел в воздухе. Наконец, собрали заседание секретариата. На него вызвали Тамару.

— Россия — не вокзал! — укорил жену поэт Владимир Костров.

Его поддержали и другие рьяные патриоты. И заклеили бы предательницу, если б их не осадил Кузнецов. Подействовали мои признания...

Может, и не возвратили бы Тамаре писательского билета, если б не возникли новые обстоятельства. Сокурсник жены — чудесный тонкий прозаик, автор замечательных рассказов Юрий Казаков отдал годы переводу на русский язык романа «Кровь и пот» казаха Абдижамила Нурпеисова. Рассказы свои забросил, деньги зарабатывал.

— Я на этот гонорар дачу в Абрамцеве купил, — радовался Юра. — Слава Богу, участок большой! Ты учти, Паша, — наставлял он меня, — без земли в голод не спасешься. А голод обязательно будет. Надо бы и вам с Тамарой обзавестись усадьбой.

Благодаря казаковскому переводу Нурпеисов получил Госпремию СССР. Теперь у Юры отбою не было от предложений националов переписать их по-русски.

Киргиз Шукурбек Бейшеналиев проявлял особую настойчивость. Что делать? Надоело Юре переводить, да хотелось помочь сокурснице, которая нуждалась в заработке. Потому он и позвонил Тамаре:

— Давай, старуха, вместе перетолмачим сей двухтомный фолиант. Вдвоем мы быстро это провернем...

Издательство «Советский писатель» заключило договор с обоими переводчиками и выплатило аванс — двадцать пять процентов.

Никто не ждал такого горя: Юрий Казаков скоропостижно умер, не дожив до пятидесяти шести лет.

Только теперь поняли и оценили, какого прозаика потеряла русская словесность. Жаль, что последние годы недолгой жизни он потратил на чужое вместо того, чтобы писать свое...

Юра не успел прикоснуться к бейшеналиевскому подстрочнику. Неподъемный труд свалился на Тамару.

Роман «Стальное перо» повествовал о полной злключения судьбе манасчи — национального киргизского сказителя. Действие начиналось задолго до революции и заканчивалось чуть ли не в наши дни. Диалогия претендовала обернуться эпопеей. Сам Шукурбек, помимо литературных должностей, занимал в Киргизии номенклатурную должность председателя Комитета защиты мира. Но, в отличие от других литературных бонз обнаружил себя человеком благодарным. Бывая в Москве, навещал нас в Текстильщиках, не скупясь на подарки. Узнав, что я больше пяти лет прожил в соседнем с его родиной Казахстане (казахов не случайно, не делая разницы, раньше называли киргизами), со мной Шукурбек разговаривал как с земляком. Мы обсуждали с ним общие для двух народов приметы быта и психологии. В его произведении эти особенности национальной жизни были прописаны подробно и тщательно.

Видимо, Бейшеналиеву не давала покоя мысль, что переводчица у него хорошая, только не помешала бы судьбе русской версии романа история с несостоявшимся отъездом. И как-то он обмолвился:

— Пытаюсь что-то сделать для восстановления Тамары в Союзе писателей. Попросил Володю Александрова, — он помощник Сергея Владимировича Михалкова, — походатайствовать перед шефом о поддержке. Его слово всесильно...

Может быть, и эти старания ничего бы не дали, если б не поход в ЦК КПСС Маргариты Иосифовны Алигер. С ней не было короткого знакомства. О Тамариных злключениях она услышала от нашего близкого друга Лидии Борисовны Либединской. Мужественная Алигер бросилась к партийным идеологам, одним из которых был и ее последний муж Игорь Черноуцан. Раздался звонок со Старой площади. И все решилось. Не без закавык и издевательств, но решилось.

Состоялось новое судилище уже на более высоком уровне — в писательском союзе России. Оправдательный, не без хулы вердикт был, наконец, вынесен, многотиражка «Московский литератор» 23 апреля 1982 года опубликовала сообщение об этом, приведя текст уже цитированного заявления жены.

Как же я удивился, когда некто Юрий Дружников воспользовался заметкой, чтобы разразиться обличительным письмом через израильскую русскоязычную газету «Наша страна». Он копил негодование до середины августа. И обрушился на бедную Тамару с такими инвективами:

«... понятно ли Вам за что именно Вас восстанавливают? Может быть, за литературные заслуги? О них речь не идет. Вас вернули в лоно Союза писателей за другое, за то, что Вы оказываете помощь в деле сокращения эмиграции. Вы помогаете ОВИРу доказать: эмиграция, якобы, сокращается не сверху, а снизу, евреи больше ехать из СССР не хотят».

Поистине бессовестный и немилосердный поступок совершил сей радетель за свободу выезда! Зачем было ему передергивать факты? Мне, больше всего пострадавшему, первому и судить, сколь несправедлив поклеп Дружникова. Несдобровать бы автору «Открытого письма Тамаре Жирмунской», да слишком поздно оно дошло до меня — Дружников уже укатил в Соединенные Штаты Америки.

Стремление любыми средствами приобрести политический капитал, а заодно каким-никаким гонорарцем разжиться атрофирует нравственность.

Меж тем Лео Бакрадзе надел мне на шею новое ярмо.

Приближалось двухсотлетие Георгиевского трактата, по которому Грузия, теснимая с двух сторон Персией и Турцией, вошла в состав Российской империи, ища спасения под крылом православной соседки. Договор, заключенный в 1783 году, лишь оформил давнее тяготение друг к другу единоверных стран. Еще сын владимирского князя Андрея Боголюбского — Юрий был женат на той самой царице Тамаре (Тамар), что воспета в народных песнях. Брак, правда, продолжался недолго: муж обнаружил гомосексуальные наклонности и стойкое пристрастие к вину.

Распад династического супружества не мог не омрачить отношений. Но к концу восемнадцатого века казус забылся. Необходимость заставила грузинского монарха Ираклия II подписать соглашение с представителем Екатерины Великой генералом Павлом Потемкиным, родственником фаворита. Грузия сохраняла свой суверенитет. Царствующему дому оставлялось право престолонаследия, содержания собственной армии, чеканки монеты. Россия получила возможность беспрепятственно перемещать войска по всей грузинской территории и приняла на себя обязательство защищать ее от внешних врагов.

Генерал смог выделить для этой цели один-единственный батальон. Потому-то всего через три года шаху Ага-Магомету удалось овладеть Тбилиси, сжечь дотла и увести в плен десятки тысяч его жителей. Красивые грузинки были проданы персами в многочисленные стамбульские притоны.

Союз, провозглашенный в станице Георгиевской, в 1801 году бесцеремонно и вероломно нарушил другой Павел, неуравновешенный сын Екатерины. Грузинские цари утратили трон, Грузия — независимость. И еще почти сто двадцать лет, до Октябрьского переворота ждали ее в Сакартвело, чтобы снова потерять менее, чем через три года — до самого распада Советского Союза.

Но тогда, в канун двухвекового юбилея трактата, а иначе и не называлась дата, которую намечалось отметить с необычайной помпой, намерение создать большой документальный фильм, посвященный историческому событию, казалось вполне естественным. Ведь все народы, как твердили наши историки, присоединялись к России добровольно и все благодарили за это счастье.

Заказ достался Бакрадзе, потому что после «Семьи» он прослыл мастером крупных форм, наделенным редким умением очеловечивать пропагандистскую жвачку. И опять зартачился Гуревич, не желая потрафлять Софье Власьевне. И снова Лео вспомнил меня.

Я уже говорил, что с окончанием первой картины перестал для него существовать. Тут ему пришлось восстанавливать контакт. Старался, улещивал, как мог, извинялся. Вдвое против прежнего увеличил гонорар, что, впрочем, составляло только половину того, что причиталось автору.

Согласился я не без колебаний: другой, легальной работы все еще не давали.

Не однажды потом раскаивался, что впрягся, однако, воз надо было везти. И тянул его честно и в полную меру сил и способностей.

Прежде, чем садиться писать сценарий, следовало окунуться в прошлое, в бездну событий и фактов — два столетия. Тогда-то я и начал изучать историю Грузии.

Еще труднее было найти современный материал, от которого не разило бы откровенной конъюнктурой. Не убежден, что всегда получалось, но старался, как только мог.

Вот название отыскал легко. Перечитывал Тициана Табидзе в переводе Бориса Пастернака и выделил чеканную строку — «Единой Отчизны звучанье». Мне она показалась подходящей, выражающей сверхзадачу фильма. В искренности двух великих поэтов сомнений не было...

В действительности содружество двух стран складывалось сложно, в бореньях противоречивых интересов. Сознание общего Отечества появлялось, конечно, не у всех грузин. Но те, кто проникался им, были беззаветными патриотами. Достаточно вспомнить Петра Ивановича Багратиона, смертельно раненного в битве при Бородине. И таких людей было немало и в минувшем и в настоящем. Их надо было только отыскать.

Если главными в картине представлялись связи Грузии и России, то чем же это подтверждать, как не личными взаимоотношениями людей?

Грибоедов и Нино Чавчавадзе... Страсть российского посланника и грузинской юной княжны не менее пронзительна, чем чувства знаменитых романтических пар: Тристана и Изольды, Петрарки и Лауры, Ромео и Джульетты. Памятник Грибоедову на набережной Куры в Тбилиси горожане шутливо-ласково прозвали «Наш зять». Овдовев через год и два месяца после раннего замужества, Нино похоронила прах мужа на священной горе Мтацминде.

На могиле написала теснящие сердце слова:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,

Но для чего пережила тебя любовь моя?»

Чавчавадзе-Грибоедова в одиночестве дожила до преклонного возраста.

После кончины, как завещала, положили ее рядом с мужем.

Пытался в наше время обнаружить примеры чувства подобной же высоты. Параллель была бы очень выигрышной. Прослышал об одной такой паре — Вере Александровне Давыдовой и Дмитрие Семеновиче Мчедлидзе. Несколько раз навестил стариков.

Они давно оставили оперные подмостки, преподавали вокал. Многие их ученики стали прекрасными певцами. Маквала Касрашвили — теперь звезда Большого театра.

Там же когда-то блистали в молодости и супруги. Давыдова — народная артистка РСФСР, многократный лауреат Сталинской премии, славилась не только редкостной красоты голосом. Она и сама была красавицей. И тонкой драматической актрисой к тому же.

Мчедлидзе обладал сильным бархатного тембра баритоном.

Баритон и меццо-сопрано вместе учились в Ленинградской консерватории. В студенческие годы возникла и взаимная привязанность, которая сохранилась до глубокой старости.

Одно обстоятельство омрачило жизнь этой семьи: в Давыдову влюбился Сталин. Находящийся рядом, поющий на той же сцене Мчедлидзе мешал планам вождя. Отправил в Грузию — художественным руководителем Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили.

Подчиниться всемогущей воле? Нет. Вера Александровна хватает маленького сына Рамаза и тайно уезжает к Дмитрию Семеновичу.

Дальше — опала. Больше никогда не пела в Москве. По всесоюзному радио запрещены передачи ее записей.

Обоих строптивых певцов минуют отличия и награды.

Консерваторские профессора показали мне пожелтевшие фотографии, на которых он и она в разных партиях в расцвете таланта. Аида-Давыдова была замечательна. Я наслаждался звучанием довоенных шедевров Давыдовой. Нашел в архиве кадры кинохроники, где Вера Александровна снята в роли Кармен. Читал пожухлые газетные вырезки с рецензиями. Монографию, посвященную своему творчеству, Давыдова подарила мне на память.

Написал в сценарии впечатляющий эпизод об этой удивительной чете. Лео уперся:

- Снимать не будем!
- В чем дело? Почему?..
- Не будем — и все.
- Так хоть объясни причину.

Лео отмолчался, и переубедить его не удалось.

Через годы донеслась молва о выходе в Лондоне бульварной книги, где утверждалось, что Давыдова была-таки любовницей «кремлевского горца». Говорили, чтиво получилось неприличное. И есть ли там доля правды, не знаю.

Но стало понятно, почему Бакрадзе был против: мужская солидарность, помноженная на национальную. Как-никак Иосиф Виссарионович пытался попать или даже попрал супружеские права соплеменника. А для грузина — это позор.

Извлек из забвения еще трех старцев, которые сооружали первый БАМ, что в начале тридцатых затеял НКВД. Магистраль от Байкала до Амура пробивали преимущественно заключенные, и то считалось государственным секретом. Выдашь — сам попадешь за колючку. Даже через многие годы наши первопроходцы помалкивали, что рядом с ними, тогда молодыми инженерами, выпускниками Тбилисского института железнодорожного транспорта, и под их началом работали подневольные люди.

Старцы не сказали, а я не знал. Непростительное неведение...

Представлялось многообещающим протянуть сюжетную нить между обеими стройками, и я ухватился за эту идею. БАМ при Брежневе гремел на всю страну. Каждая республика посылала туда свои отряды. Был и грузинский. Он торил путь между станциями Ния и Икабья. Руководил Герой Социалистического Труда Анзор Гвалишвили.

Съемочная группа собралась в экспедицию, прихватив с собой первопроходцев. Не понаслышке знакомый с трудностями сибирских перелетов, я заставил Лео упредить наше появление в тех краях радиogramмой замминистра гражданской авиации. Второй по рангу небесный начальник приказал повсеместно сажать нас на «борт» первыми.

Приземлились в Чите. Отсюда надо было добираться до Чары. И тоже по воздуху. Ждем день, другой, третий. Никого не выпускают — непогода.

Наконец, наступил просвет. Погрузились со старцами и аппаратурой. Небольшой самолет стлался над тайгой. На прогалинах лиловел багульник.

Садились на грунтовой в выбоинах аэродром. Лужи кое-как присыпаны речной галькой. Глянул в иллюминатор, и дух захватило: изпод колес с шумом и грохотом во все стороны — струи воды вперемешку с камнями и грязью. Чудо, что мы уцелели, грохнувшись оземь.

Встретили нас с кавказским размахом. Поили, кормили прозрачной от жира жареной рыбешкой хариусом. Охотно рассказывали о себе, показывали свою работу и быт. Договорились с Анзором о торжественном вбивании «золотого костыля» — символической стыковке двух сомкнувшихся участков БАМа. Каждый из дедов, поднатужившись, ударил кувалдой по макушке стального, выкрашенного желтой сусалью крепила. На торжестве выступали строители, старики вспоминали свою молодость, отданную упрямоу государству, которое во второй раз на их веку соединяло несоединимое.

Как подсчитали впоследствии дотошные экономисты, одиннадцать миллиардов еще догайдаровских рублей угрохали на новый БАМ. А сколько сил и здоровья, сколько жертв?..

Только магистраль оказалась никому не нужной. И теперь безлюдно, медленно разрушается.

Возвращаясь в Москву, мы опять засели в Чите. Здесь скопилась тьма отпускников-военных и другого народа, спешащего на отдых через столицу. Ни с востока на запад, ни с севера на юг у нас не проедешь, минуя ее, любимую. Лео размахивал перед начальственными носами дубликатом РД — радиогаммы замминистра. Мест на «бортах» все равно не было.

Жили в аэропортовской гостинице под нестерпимый рев самолетных турбин и двигателей, проедали последние деньги. Один из стариков заболел. Но первый предоставленный нам билет Лео взял себе.

— Из Москвы легче будет давить, чтоб отправили группу, — сказал он в свое оправдание. — Паша, остаешься за старшего.

— Ты не можешь бросить меня с тремя старцами на руках! Им вместе двести пятьдесят лет. Режиссер, как капитан — корабль, должен покидать киноэкспедицию последним!.. — Тут я сорвался на крик: — Ты дешевка — не моряк! — Среди приднестровских пацанов, одним из которых был и остался, это выражало крайнюю степень презрения.

Лео обиделся... и упорхнул. В конце концов улетели и мы, причем, без его содействия.

Наши отношения — снова вдрызг. До завершения картины общались по необходимости, а потом разошлись, как мне казалось, навсегда.

Сознавал: надо во что бы то ни стало легализовать свою фамилию, появиться в титрах, на страницах печати, иначе не прожить. Но где, в чем то средство, что позволит пробиться?..

Приближалось сорокалетие Сталинградской битвы. У меня же хранились воспоминания генерал-полковника артиллерии Г. В. Полуэктова. Там была и глава о нем — о самом кровавом сражении Второй мировой войны. Решил: попробую опубликовать.

Почему мемуары Георгия Васильевича оказались в моем распоряжении — отдельный сюжет. В начале семидесятых, после фильма «Ро-

димцев», я получил предложение написать сценарий о Пятой гвардейской армии. Тридцать второй родимцевский корпус входил в эту армию, а его командующий справедливо считался героем из героев среди сталинградцев.

Выбор был остановлен на мне, потому что ветеранам понравилось то, что я сделал.

Против выступил важный чиновник из Российского кинокомитета Рябинский. Его отлуп объяснялся просто: мы узнали друг друга еще в те далекие кишиневские времена, когда он состоял тренером по легкой атлетике и мужем Гали, нашей университетской чаровницы. Брак этот не по-хорошему распался. Рябинского потянуло назад, в Ленинград, поближе к институту физкультуры, который ему довелось закончить. Может, так бы до пенсии и натаскивал спортсменов, но во второй раз женился на даме из партноменклатуры. Открылась дорога на телевидение. Оттуда — в кинематограф. Карьера была обеспечена. А что он понимал в кино?

Да, опасно быть посвященным в сомнительные жизненные перипетии стоящего над тобой начальства.

Кинобоссу не пристало менять гнев на милость, но двух прославленных полководцев — Родимцева и Жадова не проигнорируешь: меня утвердили сценаристом. В этом случае. Реванш был взят в следующий раз.

Генерал армии Алексей Семенович Жадов, который командовал Пятой гвардейской от Сталинграда до Праги, ревниво следил за ходом работы. У него был опыт общения с пишущими людьми. Дочь его очаровательная Лариса, вопреки воле отца, вскоре после победы вышла замуж за Семена (Сарика) Гудзенко. Боевой офицер, весь израненный на войне, и талантливый поэт не устраивал тестя лишь потому, что был евреем. Могу предположить: тут сказались злоключения Жадова из-за собственной фамилии. Я рассказывал о них в первой части книги.

Вторым мужем Ларисы был Константин Симонов. Этого зятя Алексей Семенович уважал.

— Вечный труженик, — одобрял его строгий, скупой на похвалы генерал армии, — все пишет и пишет. — Павел Семенович, — неожиданно предложил Жадов, — вы не будете возражать, если я покажу ваш сценарий Константину Михайловичу?

— Что вы, Алексей Семенович! Сочту за честь.

Прошло несколько дней. В одно прекрасное утро — звонок от Жадова:

— Я сейчас говорил с Симоновым. Сценарий он прочитал. Не занимайте телефона. Константин Михайлович хочет лично высказать вам свое мнение.

Аппарат висит на стене прихожей, у двери в нашу густонаселенную коммуналку. Прошу жильцов повременить с телефонными разгово-

рами — в течение пятнадцати минут должен позвонить Симонов. Это производит впечатление. Только бы со стороны никто не вторгся...

Желанная трель.

— Здравствуйте, Павел Семенович. Симонов на проводе, Константин Михайлович. Ознакомился с вашим сценарием. Добротная вещь. Может получиться хороший фильм. — По-дворянски груссирует, голос тих, но внятен.

— Спасибо, Константин Михайлович. Как всегда, многое зависит от режиссера...

— Если понадобится помощь, связывайтесь со мной или моим литературным секретарем Ниной Павловной. Запишите, пожалуйста... — Далее следовало два телефонных номера.

К Симонову за содействием обращаться не пришлось. Авторитетный отзыв человека, хорошо знающего и войну, и документальное кино, — он к тому времени уже был автором таких картин, как «Если дорог тебе твой дом» вместе с Василием Ордынским, «Гренада» и «Чужого горя не бывает» — с Романом Карменом, вынашивал идею «Солдатских мемуаров», — очень поддержал меня и режиссера Евгения Гинзбурга.

Когда снимали Героя Советского Союза генерал-полковника Полуэктова, в чьих руках на полях сражений была вся огневая мощь Пятой армии, скромный и, как большинство артиллеристов, интеллигентный Георгий Васильевич грустно сказал:

— Нечем стало жить...

В послевоенные годы он состоял заместителем у главкома стратегических ракетных войск маршала Москаленко, затем — начальником академии. Выход на пенсию выбил его из колеи.

Я посоветовал Полуэктову засесть за воспоминания.

— Многим, мне кажется, будет интересно прочитать про крестьянского парня, который стал трехзвездным генералом и военным академиком, — был мой последний довод.

— Столько уж издано! Стоит ли множить?.. — возразил Георгий Васильевич.

А через пять лет все же разыскал советчика по телефону.

— Приезжайте, Павел Семенович. Хочу показать, что накопал — вы подбили...

Выбираюсь к Полуэктову в проезд Серова. На письменном столе — высокая стопка бумаги — с полтыщи плотных листов. Начинаю просматривать. Где стариковским слабым почерком, где на машинке — текст мемуаров.

— Поздравляю, Георгий Васильевич, с завершением большого труда!

— Рано поздравлять. Ознакомьтесь сначала, скажите, получилось ли. Извините, что не все перепечатано — не успела дочка. Да не терпится услышать ваше суждение.

— Хорошо, прочитаю. Вроде разобрать можно...

Сочинение Полуэктова подкупало очень личной доверительной интонацией, точностью наблюдений, решимостью рассказать правду, какой бы горькой она ни была. Вместе с тем местами оно выглядело сыроватым, требовало редакторской выделки. Об этом я сказал Полуэктову при следующей встрече.

— Вот вы, Павел Семенович, и доведите мою писанину до ума. Только вперед определите, сколько стоит ваш труд. Я выдам аванс, чтоб не отвлекались на другое.

— Как раз другим и занят.... Да и сколько могло бы это стоить, не знаю.

— Поймите, я выложился до дна. Без вас мне нипочем не справиться...

В нашем издательстве «Карта Молдовеняжскэ» за литературную обработку одного печатного листа платили, кажется, сорок рублей. Полуэктов удивился мизерности ставки и, смущаясь, выложил восемь сотен в счет будущего вознаграждения.

— Уж вы, Павел Семенович, не отказывайте старику. И грамотную машинистку, пожалуйста, найдите. Затраты возьму.

Стыдно было бы отмахнуться от просьбы Полуэктова. Выдалось свободное время — засел за манускрипт. Два месяца вытягивал. Когда ж передал его генералу, выправив и перебелив, тот удовлетворенно признал:

— В каждом деле важен профессионализм! Теперь можно и в Воениздат нести.

Собираюсь в командировку на Урал — звонок Полуэктова-младшего. Мы знакомы через отца — Юрий Георгиевич воевал, хотя между нами лишь пять лет разницы: убежал на фронт под Сталинград подростком, был сыном полка, потом закончил курсы младших лейтенантов. Теперь он — ракетчик, полковник Генштаба.

— Павел, батя в госпитале.

— Что-то серьезное?

— Ежегодная профилактика. Завтра еду в Архангельское. Может, вместе?..

— А удобно?

— Его пожелание.

Входим на другой день в палату, нагруженные гостинцами. Полуэктов, естественно, в одноместной — положена по чину. В постели, но бодр и весел. Общаемся. Рассказываем свежие новости, анекдоты. Среди шуток Георгий Васильевич неожиданно посерьезнел.

— Если что со мной случится, в том, что касается рукописи, оставляю вас обоих моими душеприказчиками.

Предчувствие? Находясь в Свердловске, узнал о скоропостижной кончине генерала, но на похороны не поспел...

Ранней весной отправились на Кунцевское кладбище. У нас нет добрых вестей для души Георгия Васильевича. Уже получена рецензия — рукопись отклоняется. Безвестный генерал-лейтенант вменяет автору в вину, что его воспоминания расходятся с официальной трак-

товкой важнейших событий Великой Отечественной войны, а исправлять ошибки некому: так распорядилась смерть.

Минет несколько месяцев, и безвременно умрет Юрий Полуэктов. Я остался единоличным распорядителем мемуаров генерала.

Глава, которую рассчитывал напечатать первой в связи со сталинградской датой, была предложена журналу «Новый мир». Редакции глава понравилась. Ей придумали название — «Записки фронтового артиллериста». И отправили в типографию.

В январском номере за 1983 год «Записки...» увидели свет. И немедленно разразился скандал. Причина? Заключительная фраза краткого редакторского предисловия: «Публикацию подготовил П. С. Сиркес».

Меня срочно вызвали в отдел публицистики.

— Почитайте, Павел Семенович, что мы получили в связи с представленными вами воспоминаниями генерала Полуэктова... — ледяным тоном говорит сотрудница уважаемого мною издания и передаст возмущенное послание члена ССП, Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, гвардии полковника, доктора технических наук Марка Лазаревича Галлая. Сверху пометка: «Копия — Союзу журналистов Москвы».

Что же вывело из себя такого мужественного, стойкого и закаленного в авиационных терниях товарища? Двадцать два года искал он злостного литературного вора, который украл целые абзацы из его повести «Испытано в небе». Не удивительно, что произведение Галлая преподнес читателям «Новый мир» — оно того стоило. Страшно, что он пригрел и виновника плагиата... И этим похитителем чужого творческого достояния оказался никто иной, как гражданин, который до сих пор скрывался от справедливого возмездия и теперь, наконец, найден. А дело в том, что в книге, изданной в молдавской столице, бдительный пилот обнаружил свою узурпированную интеллектуальную собственность. Кишиневская книга называлась и, возможно, посейчас не переменяла титла, «Группа “Меч”» — все правильно: кавычки в кавычках. На обложке стояло имя автора — Герой Советского Союза Игорь Середа. Содержание недвусмысленно раскрывало биографию отважного мемуариста: летчик-истребитель, воевал под командованием трижды удостоенного геройского звания Ивана Кожедуба, дослужился до майора, демобилизован по ранению.

Летчик у летчика беззастенчиво позаимствовал куски отмеченной неповторимой индивидуальностью прозы?.. Галлай слабо в это верил. Но все же написал Середе, предлагая объяснить прискорбный факт.

Профессиональная прозорливость не подвела Марка Лазаревича. Ответ Середы гласил, что злополучные абзацы были, видимо, самовольно перенесены редактором в отсутствие ничего не ведающего аса.

Заглянув в выходные данные, Галлаю удалось узнать фамилию редактора — П. Сиркес. И не поленился борец за честность снова взяться

за перо, на сей раз адресуясь к издательству и требуя примерно наказать вороватого сотрудника. Увы, вместо ожидаемого, на бланке, сообщения о принятых мерах Кишинев прислал отписку, что означенному П. Сиркесу, который, к счастью, уволился из издательства, удалось скрыться в неизвестном направлении.

Увидев после десятилетий поисков, что П. Сиркес пробрался на страницы журнала, где он плодотворно сотрудничал, Галлай смог довести начатое до неминуемой кары. «Новому миру» надлежало, как считал Марк Лазаревич, навсегда отказаться от моих услуг, Московскому отделению Союза журналистов — изгнать меня из рядов.

Передо мной бесхитростная «Группа “Меч”».

На титуле - автограф: «Павлику Сиркесу, сделавшему многое, чтобы книга стала лучше — от души. Игорь Середа. 22 января 1961 г.»

Нужны ли здесь комментарии?

Я был причастен лишь ко второму изданию «Группы». Вызвал директор, представил Середу:

— Наш Герой. Собираемся выпустить новый, дополненный вариант книги. Помогите. — И вручил скромный томик с вложенными в него страницами машинописных вставок.

— Как прочитаю, сразу вам позвоню, — обнадежил я сочинителя, по себе зная, как нетерпеливы пишущие.

Красноватое лицо Середы расплылось в улыбке, сверкнул зуб из того же металла, что и звезда на лацкане пиджака. Начес типа «заем» не перекрывал полуоторванного уха.

Творение, переданное мне для редактирования, нуждалось в большем — его попросту надо было подвергнуть коренной стилистической правке. Причем, как тиснутый немалым тиражом томик, так и пока неизвестные публике дополнения. Откровенно сказал об этом Середу. Тот был самокритичен. Я получил карт-бланш.

Только сумасшедшему могло бы прийти в голову улучшать Середу, уворовывая у Галлая. Да и не догадывался о существовании разностороннего Марка Лазаревича в шестидесятом году — сознаюсь в непростительном своем невежестве.

Есть ли у редактора резон заниматься плагиатом для улучшения книги, которую он готовит к печати, так сказать, по должности? В «Новом мире» понимали абсурдность галлаевского обвинения, но представить оправдательное разъяснение все-таки пришлось...

Ровно через день, утром 23 февраля, в мужской что называется праздник, — новый удар — от, как теперь говорят, четвертой власти.

— Павел Семенович, сообщаем, что вы исключены из Союза журналистов СССР. Немедленно сдайте членский билет!

— Когда, за что?

— Еще четыре года назад, когда нам и сообщили о вашем выезде в государство Израиль.

— Не выезжал я. Кто мог такое сообщить?

— Люди, что были у вас на проводах.

— А на похоронах моих никто не был? .

— Так завезите билет.

Снова доказывай — не совершил ничего криминального.

Настрочил заявление, что только собирался эмигрировать, сам же и отказался, а в журналистское объединение вступил в трудных условиях Караганды в 1958-м, когда оно только создавалось. И отправился на Суворовский.

— Я-то думала, вы нежитесь под пальмами Палестины, — одарила меня улыбкой яркая холеная брюнетка.

— Нет, остался в Москве.

— Жаль. Попросила бы вас прислать колготки...

— Столь интимную принадлежность незнакомой даме не презентуешь...

— Да что теперь говорить? .

— Если исключили в семьдесят девятом, то почему все последующие годы у меня принимали членские взносы? — задал я бестолковый вопрос и протянул заявление.

Брюнетка пробежала его глазами и крест-накрест перечеркнула карандашом.

— Слишком вы категоричны. Нужен другой тон и другие слова. Давайте, я откорректирую, и, если примите мои поправки, дадим заявлению ход.

Так и поступили. Мне оставалось только ждать.

Ответа нет и через пять месяцев. Осмеливаюсь потревожить благосклонную к ходатаю брюнетку.

— Вас чуть было не восстановили, — рассказывает она. — Улучила момент — на правлении отсутствовал председатель и поставила ваш вопрос. Доложила чин-чином, вернула — «есть мнение, что решить надо положительно». В общем, проголосовали «за». Все изменил неожиданный приход председателя. «Как повестка?» — спрашивает. «Да вот, — говорю, — восстановили одного блудного сына...» Он допытывается, как наблудил этот сын, а узнав правду, делает безапелляционный вывод: «Предателям нет места в нашей идеологической организации!» Ну, отменили свое же постановление... — Виновато смотрит в глаза и присовокупляет: — Получите выписку из протокола и распишитесь. И билет все-таки придется сдать...

— Спасибо за безуспешные усилия, — поблагодарил я. — Невежливо, наверно, так отвечать на заботу, но билет оставлю у себя... в память об освоении целинных и залежных земель... И о молодости.

Она улыбнулась моей грустной шутке и развела руками.

— Захотите посетить Домжур, отберут на вахте.

Только не ходил я в хлебосольный ресторан Центрального дома журналистов — не до того было. Пропитаться бы с женой и дочкой. И маме худо-бедно денежный перевод отослать.

Наступил восемьдесят четвертый год. Умер заведующий отделом публицистики «Нового мира». Оформила пенсию сотрудница, которая готовила в печать мемуары Полуэктова.

Вроде и оправдался в приписанном грехе, да больше некому было привечать в журнале незадачливого публикатора, замешанного в какой-то истории.

Везучий я человек! Назначают нового заведующего. И не кого-нибудь — Виктора Казакова. Мы с ним вместе учились в КГУ, он, правда, на три курса был старше, заодно подвизались в университетской многотиражке и неизменно испытывали взаимную товарищескую приязнь.

Нагрянул в кабинет Казакова незванно, не чинясь попросил:

— Витя, закажи материал — позарез нужно напечататься...

— Слышал, ты уезжать собрался...

— Собирался, да остался.

— А не подведешь?

— Ты ж меня знаешь.

— Иди в отдел, я дам команду.

Рецензюшка, которую написал, появится лишь в двенадцатом номере... Что еще предпринять, чтоб выбраться из безымянности?

В поликлинике на бегу налетел на Александру Михайловну Пистуну. В шестьдесят третьем она первой опубликовала мою статейку в «Литературной России». Был новичком в Москве, никому в столице не известным газетчиком, а Пистунова в меня поверила.

— Сколько лет, сколько зим!.. Павлик, где вы теперь?

— Все больше в кино.

— Сделаете для нас что-нибудь по старой памяти.

— Охотно. Только что?

— Беседу с Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым. Он сейчас закончил картину о Льве Толстом.

— Попробую, если Герасимов согласится.

Я уже дозрел, допёр, додумался, что в моей крайности нужен «паровоз». Беседа — такой жанр, где важен не интервьюер, а интервьюируемый. Никогда не готовил бесед для печати. Попробую. Может, «ЛитРоссия» тиснет, соблазняясь знаменитой фамилией. Так, глядишь, и моя проскочит...

Сергей Аполлинариевич неожиданно позвал к себе домой, во флигель высотки, где гостиница «Украина».

Пространство комнаты теснят книжные полки. На стенах — живописные полотна в простых деревянных рамах. У изголовья тахты на тумбочке лежат том полного Пушкина, сборник Заболоцкого.

Перехватив взгляд корреспондента, Герасимов сказал:

— Никогда с ними не расстанюсь...

Отсутствие примет роскоши, рабочая обстановка. Вообразил, как в эту квартиру приходят к своим профессорам Сергею Аполлинариевичу и Тамаре Федоровне Макаровой студенты-вгиковцы, будущие актеры и режиссеры. Сам дух такого дома воспитывает созревающего художника.

Сергей Аполлинариевич выглядел крепким, его биологические часы, казалось, заведены еще надолго. И все же обращение к нравственным исканиям Толстого ощущалось как настоятельная душевная потребность человека на склоне лет. Мог ли я представить, что уход Герасимова так близок, а фильм «Лев Толстой» — последнее его создание?

Завизировал готовый материал у Сергея Аполлинариевича, — поправки он внес собственной рукой, — и отвез Пистуновой. Получив пухлое многостраничное интервью, она кисло сказала:

— Переборщил!

— А вы прочитайте — интересно же. Для такого можно и не жалеть газетной площади.

— Как посмотрит главный... Приезжайте завтра. На следующий день Пистунова не скрывает восхищения:

— Отличная беседа! И очень нужная. Но главный требует сократить до полосы.

Сократить вдвое?.. Герасимов ни за что не согласится. Неужели проведали? Неужели и сюда просочилось, и неприемлемое требование ополовинить интервью — только предлог?..

В серой конструктивистской коробке на Цветном бульваре на соседних этажах помещалась также «Литературка». Не рискнул предлагать ей — близко, источники информации общие.

Выбрал «Советскую культуру». Как водится в подобных случаях, вперед надо было позвонить в редакцию, напустить туману, мол, хочу именно для вас, а времени возьмет столько-то. И, выждав, притащить готовенькое. Да устал по-заячьи петлять, использовать всякие уловки. Пусть будет ясность. Может, не всем разослан запрет печатать меня?..

В «Советской культуре» в отделе кино сидел неведомый мне азербайджанец Фархад Агамалиев. Скоро он проштрафится — упомянет в статье, что город Киров в его родной республике раньше назывался Гянджой. Фархада выгонят с позором из газеты ЦК КПСС. Это наказание потом, после развала СССР, вознесет Агамалиева в ранг пресс-атташе посольства суверенной прикаспийской страны.

У выходцев с окраин нюх друг на друга. Мы сразу же прониклись обоюдной симпатией. Я рассказал Фархаду, почему пришлось взять беседу из «ЛитРоссии».

— Оставь, старина, я подкину шефу, не вдаваясь в детали.

Тем же вечером Агамалиев позвонил мне домой:

— Паша, Парфенов в восторге. Интервью идет с колес и слово в слово.

Лев Александрович Парфенов заведовал редакцией кино в газете, которая от имени Политбюро надзирала за всей художественно-творческой жизнью в Советском Союзе, была в этой области второй по значимости после никогда не ошибающейся «Правды». Он обладал правом засылать материалы о кинематографе в набор. Теперь с большой долей вероятности можно было надеяться, что я появлюсь в «Культуре».

И, в самом деле, появился! Отныне любой посвященный в мои обстоятельства наверняка думал: так просто страниц партийной прессы не предоставляют. Следовательно, простили штрафника.

Парфенов выразил желание познакомиться с расторопным журналистом, который добыл интервью с самим Герасимовым.

— Удачно получилось, потому и два подвала дали — не поспешили. Павел Семенович, а не сделать ли вам такую же подробную беседу с Сергеем Федоровичем Бондарчуком? Он заканчивает «Бориса Годунова». Нас это интересует.

— Я бы с радостью, да пойдет ли на разговор Бондарчук? Он — человек капризный.

— Попытка — не пытка. Попробуйте.

Бондарчука, действительно, пришлось долго уламывать. Он был уклончив и неприветлив. Странно было слышать, как Сергей Федорович бубнит в трубке голосом доктора Дымова и Пьера Безухова:

— Позвоните завтра. — И так день за днем.

Стаж личного необщения с мэтром для меня начался в истоке шестидесятых, когда он собирался ставить «Войну и мир».

Еще недавно, в университете, я серьезно занимался Толстым, преимущественно романом-эпопеей. Отношение к будущей экранизации, — о ней трубили на всех перекрестках, — у знатока толстовского шедевра, каким себя по молодости считал, было ревнивым и настороженным. Понимал, недостатка в консультантах не предвидится, но, опасаясь искажений при воплощении любимой моей прозы в фильм, написал Бондарчуку: возьмите в помощники, хоть «хлопушкой» щелкать, буду полезен, потому что посвятил «Войне и миру» несколько лет.

Ответила режиссер Лихачева. Выполнила поручение невероятно занятого Сергея Федоровича. Они оба оценили внимание к их работе. Только доверить «хлопушку» — значит доверить учет всех отснятых кадров. А для этого нужен опыт. Одного энтузиазма мало. Душевное движение юноши тронуло постановщика. На студии нет дефицита сочувствующих. Важнее умение, профессионализм. Проблема прописки в Москве непреодолима. Привлечение в штат иногороднего жителя исключается.

В тот раз выручила посредница. Теперь не обойтись без непосредственного контакта. Самолюбие страдает. Журналистский апломб ущемлен. Мне за пятьдесят. Пристало ли гоняться за интервьюируемым, точно ты мальчик?.. Ладно, наберу напоследок бондарчуковский номер...

— Приезжайте в объединение через полчаса, — неожиданно предлагает Сергей Федорович.

До «Мосфильма» от Текстильщиков не ближний свет. Чтоб успеть вовремя, без такси не обойтись. Подфартило: мигом поймал, наскреб денег до самой проходной. В бюро пропусков не потерял ни секунды, — членом СК поблажка. Поплутал чуть-чуть по бесконечным коридорам. Через нужный порожек переступил без опозданий. Секретарь остудила прыткого корреспондента:

— Бондарчука нет.

— Так ведь назначил...

— Тогда ждите.

Он появился спустя сорок минут, хмуро взглянул на посетителя и, ни о чем не спросив и не извинившись, прошел к себе.

Может, я бы и до сих пор сидел в приемной, если б, не слыша приглашения, сам не постучался в кабинет.

— Кто там еще? — донесся приглушенный массивной дверью недовольный баритон Сергея Федоровича.

— Сотрудник «Советской культуры».

— Что же не заходите?

Пока Бондарчук изучающе рассматривал навязчивого собеседника, тот пустился в воспоминания двадцатидвухлетней давности — о письме и ответе на него Лихачевой.

Что-то шевельнулось в Бондарчуке.

— Как же, помню... Ваше предложение нас умилило.

Он потеплел, сменил отчужденность на дружелюбие. И началось собственно интервью под магнитофон. На вопросы Сергей Федорович отвечал так, точно знал их заранее и давно составил мнение обо всем, чего мы касались.

Под конец меня угостили редкостного аромата чаем с сушками. А когда настал момент прощаться, смягчая строгость душевностью, Бондарчук наказал:

— Обязательно покажите готовый текст.

— По-другому и быть не может, — заверил я.

Не откладывая, перенес разговор с кассеты на бумагу, дословно сохраняя сказанное Бондарчуком. Чуть подправил стиль, без чего не обойдешься при переводе устной речи в письменную. И уже как доброму знакомому позвонил Сергею Федоровичу:

— Текст готов.

— Посмотрю после командировки в Индию.

— Надолго она?

— Около месяца.

— Помилуйте, Сергей Федорович! В редакции мне не простят такой нерасторопности. Найдите, пожалуйста, время до отлета.

— Разжалобили... Я сейчас еду домой обедать. Потом в Лечсанупр. Вот по дороге и почитаю. Поспеете на Горького, садитесь в мою машину — и будьте на стреме.

Опять хватаю такси на последние, мчусь к облицованному мрамором и гранитом зданию, где на фасаде мемориальные доски с фамилиями знаменитых жильцов, отошедших в мир иной. Место бойкое — рядом Центральный телеграф.

В справочнике указан адрес Бондарчука. Пробегаю от подъезда к подъезду вдоль по улице — нет такой квартиры. Значит — надо во двор.

Хорошо, здесь охраны не поставили... А во дворе-то, во дворе выгуливает пуделя балерина Надежда Павлова. И он и она в пушистых шубках. И так грациозно переставляют стройные, обутые в ботики ножки по присыпанной песочком наледи.

Нашел! У бордюра «волга» с включенным мотором — не замерзнет шофер. Я же в куртке на рыбьем меху. Придется сесть в машину, как и велел Бондарчук. Закоченеешь при минус двадцати, когда дворовая труба насквозь продувается колючим ветром.

Стучусь в дверцу.

— Чего тебе? — спрашивает, приспустив покрытое инеем стекло, водитель.

— Сергей Федорыча тачка?

— Его.

— Я с ним сейчас дальше поеду.

— Тогда размещайся на заднем сиденье — да побыстрей.

Обед привел Бондарчука в благодушное настроение.

— Ну, что у нас получилось? — И вперилась в переданные ему страницы.

Путь недалний, но снег пошел, автомобильные пробки сразу возникли. В Москве любая непогода — помеха движению. Вот и радовался я: успеет прочесть и завизировать.

Остановились у поликлиники Четвертого управления.

Бондарчук и не заметил — погружен в листки.

— Неужели газета напечатает такое?

Это он к кому — к себе или ко мне?..

— Уж если вам не дадут сказать, что думаете, то...

Мое наивное замечание вызвало усмешку.

— Хорошо! Лишь в конце надо чуть-чуть изменить. Не то получается, что я угробил Шукшина.

Он там рассуждал про актеров представления и переживания и приводил в пример Василия Макаровича, который умер на его картине «Они сражались за Родину» — сердце не выдержало.

Сам вычеркнул, сам внес поправку.

И поставил подпись.

Я пожелал счастливого возвращения и отправился в редакцию.

«Советская культура» расщедрилась — отвела нам почти целую полосу своего большого формата. Номер увидел свет 24 ноября 1984 года. Привожу беседу полностью. Она того стоит.

АВТОР СЦЕНАРИЯ - ПУШКИН

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственных премий СССР, народный артист СССР Сергей БОНДАРЧУК ведет диалог с нашим корреспондентом.

Корреспондент: Сергей Федорович, вы ставите «Бориса Годунова». Почему именно сейчас пришло ему время явиться в кинематограф?

Бондарчук: Давно надо было поставить в кино это гениальное творение Александра Сергеевича Пушкина. Почему именно сейчас? Да потому, что появилась наконец такая возможность, счастливая возможность. Это была моя давнишняя мечта. Я к ней подбирался очень тщательно и, как всегда, с некоторым страхом: уж слишком велика ответственность, когда обращаешься к произведению, которое стоит в ряду особом. Оно и на сцене не получало достойного воплощения в течение многих лет — там какой-то секрет есть. Вот кинематограф и попробует своими средствами разобраться в этом.

Достоевский однажды сказал, что если кто-то из другого мира, другой цивилизации захочет узнать все про нашу жизнь, про землю нашу, он должен прочитать «Дон Кихота». Федор Михайлович был убежден, что такие книги появляются раз в тысячелетие. К подобным созданиям я отношу и «Бориса Годунова».

Корреспондент: Насколько мне известно, у вас не было предшественников в кино, не считая фильма Веры Павловны Строевой, запечатлевшего оперный спектакль Большого театра.

Бондарчук: Как раз опера — она немножко заслонила совершеннейшее из драматических сочинений Пушкина. В ней соединились сразу три гения — Пушкин, Мусоргский и Шаляпин. Шаляпина, на мой взгляд, никто из оперных певцов до сих пор не смог превзойти. Но ведь он был и великим артистом-трагиком.

Корреспондент: Сергей Федорович, а сценические интерпретации «Бориса Годунова», — влияют ли они на ваш замысел?

Бондарчук: Все, что связано со сценической историей «Бориса», мной изучено. Самые знаменитые постановки принадлежат: первая — Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, вторая — Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. Правда, мейерхольдовская постановка не увидела света. Но есть стенограммы, есть очень подробные и очень интересные свидетельства. Недавно в журнале «Театр» были опубликованы новые материалы о работе над «Борисом» Немировича-Данченко, очень содержательные. Некоторые режиссеры придерживаются взгляда: ничего знать о предшественнике не надо, начи-

нать нужно с чистого листа. У меня другой подход. Мне необходимо вникнуть в то, что сделано прежде. Из недавних видел дипломный спектакль ГИТИСа и спектакль Харьковского академического театра.

Если обратиться к статьям Белинского, он так определяет существеннейшую особенность пушкинской трагедии: это произведение эпическое. Следовательно, ни Борис Годунов, ни Самозванец главными героями не являются. Главный герой — событие. Значит, и люди, участвующие в событии, — народ.

«Красные колокола» я тоже обозначил для себя как эпическое произведение, где главным героем выступает событие. У меня нашлись оппоненты из умников-критиков, они сказали, что-де хорошо бы, чтобы не событие стояло в центре, а несколько исторических персонажей. Можно, конечно, и так. Сложнейшие перипетии XX века можно выразить и через одного человека. Что же до меня, то не представляю, как это сделать...

Корреспондент: Какие проблемы, волновавшие Пушкина в «Борисе Годунове», вы намерены актуализировать и почему?

Бондарчук: К слову «проблема» я отношусь с подозрением, более того, с неприязнью. Такого понятия, как проблема, я попросту не признаю применительно к искусству.

Корреспондент: Скажем так: какие мысли Пушкина...

Бондарчук: Мысль тоже не существует в искусстве.

Корреспондент: Есть образ...

Бондарчук: Образ? Может быть. Но если правильно, то надо говорить о содержании: главное — содержание, важное для жизни людей.

Корреспондент: Все-таки любимый вами Лев Николаевич Толстой писал, что в «Войне и мире» он любил мысль народную, а в «Анне Карениной» мысль семейную...

Бондарчук: Не мысль, там нет такого слова.

Корреспондент: Простите, это факт, который легко подкрепить цитатой.

Бондарчук: Он к мысли подозрительно относился.

Корреспондент: Толстой, конечно, понимал неоднозначность мысли.

Бондарчук: Он имел в виду содержание.

Корреспондент: Хорошо, какое содержание, вложенное Пушкиным в его трагедию, вы хотели бы сейчас актуализировать?

Бондарчук: Актуализировать — и это слово не люблю. Произведение Пушкина всегда было нужно людям. Всегда. Поэтому оно и классика. Оно не на какой-нибудь отрезок времени. Оно вечно, как вечно все живое на земле.

Корреспондент: И как образец прекрасного, художественное создание гения.

Бондарчук: Да, да... Вот почему выражать словами все, что заложено в «Борисе», — пустое и ненужное занятие. Затем я и обратился имен-

но к кинематографу, его средствам, надеясь, что они позволят проникнуть во глубину пушкинского шедевра. Здесь уместны только средства искусства. Мы часто подменяем его силлогизмами, это, мне кажется, приносит вред колоссальный... И даже терминология, которая у нас сложилась, она кощунственна по отношению к искусству.

Корреспондент: У критики просто нет другого инструментария...

Бондарчук: Вот мы подошли сейчас с вами к содержанию. Важность содержания для жизни людей — вот что меня волнует. А какая может быть проблема?.. Если бы была одна проблема, пусть самая глобальная, я бы не обратился к этому произведению. Коли приводить примеры... Вот, допустим, роман Галины Николаевой «Жатва». Помните? У нее там поднималась актуальная, видимо, в то время сугубо техническая проблема соосности. Как она сейчас отражается на жизни людской? Да никак. Вам она нужна сейчас, сия проблема?.

Корреспондент: Нет.

Бондарчук: Вот видите. Если бы Пушкин писал ради проблем, его бы давно забыли.

Корреспондент: Но все-таки он говорил, что ему важно разобраться во взаимоотношениях народа и власти

Бондарчук: Нигде он такого не говорил, наплели. Он был Пушкиным, он был гением. Он говорил, можете записать, даже процитировать, это очень полезно и для молодых наших авторов, и для маститых, я взял его слова эпиграфом к сценарию: «Что нужно драматическому писателю? Философия, бесстрашие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода».

Корреспондент: А кто снимается в картине?

Бондарчук: Бориса буду играть я, Самозванца играет артист Центрального детского театра Александр Соловьев, Шуйский — Анатолий Ромашин, Воротынский — Вячеслав Бутенко из театра имени Моссовета, Афанасий Пушкин — саратовский актер Владимир Седов, Пимен — Евгений Валерианович Самойлов, патриарх — Роман Филиппов из Малого театра, Петр Басманов — Анатолий Васильев (ЦАТСА). У нас снимаются и польские артисты: Марина Мнишек — Андриана Беджиньска из Варшавского драматического театра, Юрий Мнишек — Хеник Махалица, патер Черниковский — Олгердт Лукашевич.

Корреспондент: Скажите, а чем вы руководствовались, выбирая того или другого исполнителя на роль, что для вас важно?

Бондарчук: На какие конкретно роли?..

Корреспондент: Почему вы сами решили сыграть Бориса, мне понятно...

Бондарчук: Ну, может, и непонятно...

Корреспондент: Нет, зная ваше творчество, зная ваши художнические интересы, могу представить, что такая роль должна была давно вами вынашиваться.

Бондарчук: Да. Но получить возможность ее сыграть — надо было завоевать такое право.

Корреспондент: Я думаю, вы к этому шли всей своей жизнью.

Бондарчук: Спасибо. А так, если режиссер будет себя сам назначать на главные роли, ничего хорошего из этого не выйдет...

Корреспондент: Я того же мнения.

Бондарчук: Каждый должен творчески это отстоять, да?

Корреспондент: Безусловно. Но еще, конечно, должен быть определенный расклад судьбы.

Бондарчук: Да. Например, в моей биографии есть шекспировская роль, и толстовская, и чеховская, то есть классика. Но образ Бориса, он как бы стоит в стороне, для меня, актера, он самый сложный образ в русской классической литературе, сложнее ничего нет. Борис немножко статичен, предшествующее словно вынесено за кадр, все решается на монологах, а как же иначе в драме?.. Он начинается сразу с высокой ноты:

*— Ты, отче патриарх,
вы все, бояре,
Обнажена моя душа
перед вами...*

Это вслед за коронацией.

И проходит время:

*— Шестой уж год
я царствую...*

Шесть лет сразу... Вот... Но вообще-то подбор артистов ведется обязательно по природе темперамента. Существуют градации темперамента, открытые очень давно, академик Павлов их систематизировал: сангвиник, холерик и т. д. Так вот, темпераменты должны совпадать. И внешне, конечно, актер должен подходить, так как кинематограф не терпит грубого грима, особенно сейчас, когда мы снимаем в цвете. Самозванец, например, не может быть крупным, рослым. Он небольшой, ловкий.

Марина Мнишек — тоже маленькая, с огромными глазами. Ей шестнадцать лет. В опере мы можем принять в этой роли певицу другой фактуры и значительно старше по возрасту. В кино актриса должна соответствовать историческому персонажу.

Корреспондент: Сергей Федорович, а музыку какую вы используете?

Бондарчук: Музыку напишет Вячеслав Овчинников, с которым я работал над «Войной и миром», «Они сражались за Родину», «Степью».

Корреспондент: Значит, Мусоргский совершенно уходит со своей музыкой?

Бондарчук: Ну, как он может уйти?.. В картине не будет звучать, но всегда будет рядом с нами.

Корреспондент: У меня вот какой вопрос: не возникает ли трудностей для актеров при произнесении стихотворного текста? Это ведь существенно в кино. Когда, например, в «Романсе о влюбленных» герои заговорили стихами, значительная часть зрителей восприняла их речь как нечто неорганичное. Другое — пушкинский текст. И все равно, не опасаетесь ли декламационности?

Бондарчук: Нет. Я, наоборот, требую от актеров — и самые большие усилия предпринимаются в данном направлении — умения читать стихи, потому что многие разучились делать это. Они стихи обращают в прозу. Я проверял. Попросишь почитать — и слышишь не ямб пятистопный, а прозаическую речь, порой косноязычие. Пропадают и размер, и мелодика стиха, в общем обнаруживается полное незнание того, как же произносить стих пушкинской трагедии, что обязательно должна быть цезура после второй стопы, что одну строку надо непременно отделять от другой — это непреложный закон и стихосложения, и стихопроизнесения. Мы работаем. И с польскими актерами я занимался этим. Они усвоили. Я уже сказал, что актеры разучились читать стихи. В школе их плохо учат. И в театральной — тоже. Старшее поколение лучше. Самойлов прекрасно читает поэзию. Этого и Мейерхольд добивался, и Станиславский, и Немирович-Данченко — прозрачности стиха. Стих — это, можно сказать, высшая интонация. Это так удивительно — сохранить слово, само слово. У нашего великого Шаляпина не только фраза, слово, каждый звук жил. А сейчас небрежно произносят такие слова, как «земля», «человек». Слышите, какое красивое слово: «че-ло-век»! И его на трактирный манер усекают: чловек. Нет речевой культуры. Раньше у нас Малый театр был центром русской речи. Об этом когда-то выступал в печати Борис Андреевич Бабочкин, недавно Елена Николаевна Гоголева: о шептунах и вообще о небрежении словом. Так вот, я хочу, чтобы у нас чисто прозвучало поэтическое слово, несмотря на обывательский взгляд, будто стих противопоказан кинематографу...

Корреспондент: Кто у вас автор сценария?

Бондарчук: Пушкин. Я просто переложил его средствами кинематографа.

Корреспондент: Вы сохраняете пушкинскую форму или от нее будут какие-то отступления?

Бондарчук: Что вы имеете в виду?

Корреспондент: Известно, что Пушкин отказался от деления трагедии на акты, он отказался от трех единств...

Бондарчук: В кино никогда не было деления на акты, и оно отродясь не следовало законам классицизма.

Корреспондент: Трагедия Пушкина очень кинематографична, хотя она написана за много десятилетий до рождения самого кинематографа...

Бондарчук: Вот это надо сказать! Пушкинский гений будто предвидел такое молодое искусство, как искусство кино.

Корреспондент: У Пушкина происходит членение трагедии на какие-то чисто кинематографические эпизоды, каждый из которых настолько значим, что у нас нет провалов и неясностей в восприятии прошлого. Сквозное действие пьесы подчинено только художественной правде.

Бондарчук: Кинематограф обращен к миллионам зрителей, то есть предназначен для вас. И вы все о нем знаете, а мы, те, кто делает фильмы, ничего наперед не ведаем. Знают зрители, знают руководители кино — все знают, какая должна быть картина. И вот вы, задавая вопросы, заранее определили ее для себя, уже видите будущую ленту. Это беда, я считаю.

Корреспондент: Как каждый грамотный человек, я экранизировал «Бориса Годунова» своими глазами, когда читал Пушкина. Вы тоже создадите свою версию трагедии.

Бондарчук: Это моя профессия. Потому я иду к результату, не ограничиваясь первым прочтением или перечитыванием, как это сделали вы. Чтобы проследить за процессом, который происходил во мне, когда я готовился к «Борису», газете пришлось бы публиковать мои размышления в течение, может быть, трех лет, предоставляя в каждом номере по полосе. Это не первое классическое произведение в моей режиссерской практике. Огромное счастье — заниматься высокой литературой. Если бы не предшествовавшая работа, связанная с именами Толстого, Чехова, Шолохова, я бы, конечно, не дерзнул приблизиться к произведению Пушкина. Творчество наших великих писателей — оно взаимосвязано. Если я стану утверждать, что Лев Николаевич Толстой был самым непосредственным продолжателем творчества Пушкина, вы, возможно, мне не поверите. Метод сопряжения и сцепления, наиболее плодотворно развитый в романе «Война и мир», взят из «Бориса Годунова». Толстой скрыл это свое заимствование от литературоведов, оно осталось его секретом, а он весь из Пушкина, Толстой, целиком. Об этом, к сожалению, никто не говорил и не писал. Метод сцепления и сопряжения с наибольшей полнотой реализован в трагедии, и без него поставить «Бориса» нельзя. Оттого он, может быть, и не получался в театре.

Когда вышел роман Толстого «Война и мир», многие недоумевали: что это, семейная хроника или историческое повествование? Эпизоды существуют отдельно, они распадаются, представлен набор каких-то картин — у дядюшки, в Отрадном, Бородино, великосветский салон. Почему? Но прежде, еще в «Борисе»: «Сцена у фонтана» и вдруг — корчма. Что это, а? Вот ведь штука!

Сергей Михайлович Эйзенштейн подбирался к методу, открытому Пушкиным и подхваченному Толстым, говоря о монтаже — интеллектуальном и вертикальном и еще Бог весть каком. Это когда после соединения — склейки двух планов не просто возникает некий новый, третий смысл, а рождается то, чего даже нельзя объяснить, выразить словами.

Корреспондент: Сергей Федорович, так правильно было бы сказать, что ваша работа будет все же не экранизацией трагедии Пушкина, но кинематографической ее постановкой?

Бондарчук: Именно будет экранизацией. Зачем же унижать экранизацию? Экранизация — перенесение произведения литературы на экран. Если вы пишете сценарий, а я его ставлю, это и есть экранизация. Чем отличается плохой сценарий от великой литературы? Плохой сценарий не надо экранизировать, великое литературное произведение — необходимо. Я считаю: лучше «Фауста» поставить, чем дребедень, какую иной раз делаем. Вот мы хвалимся, что выпускаем сто пятьдесят фильмов в год. Только на нашей одной студии — пятьдесят. Но «Фауста», увы, пока нет в кино!..

Корреспондент: Если взять вашу режиссерскую биографию, Сергей Федорович, то здесь — революция, Великая Отечественная война, далекое прошлое России через классику. Чем определяется движение ваших художественных интересов, их динамика?

Бондарчук: Просто работаю — и все.

Корреспондент: Но есть какая-то последовательность в вашей работе?

Бондарчук: Есть, есть. Мне очень нравится определение, что такое история: «Движение человечества во времени». Вот я и хочу проследить это движение. Вот что интересно! Я начинал с 1805 года. А сейчас избрал конец шестнадцатого-семнадцатый век. Смею надеяться, что по двум моим фильмам — «Войне и миру» и «Ватерлоо» можно изучать эпоху наполеоновских войн и участие в них России.

Корреспондент: В критике существует мнение, что Бондарчук думает о классике, но видит в ней не способ уйти от современности, а возможность через ее образы сказать что-то очень важное людям. Видимо, такое мнение небезосновательно.

Бондарчук: Небезосновательно. Если опять вспомнить злосчастную проблему соосности на одном полюсе, а на другом — содержание искусства, которое бьется над тем, для чего человек рождается на белый свет, как он должен жить на нашей земле, что должен оставить или не оставить после себя, куда в конце концов он идет, то ведь это вопросы не злободневные, как у нас принято говорить, — вечные. И они будут раздаваться столько же, сколько будет существовать все живое. И Толстой, и Достоевский, и Чехов, а из наших современников Циолковский утверждали, что зло в мире накапливается и ему в противовес нужно копить добро. В периоды, когда зло уж слишком

преобладает, возникают взрывы. Даже и атомные! Один народ нападает на другой, чтобы уничтожить его. Засоряют космос. Природу коверкают. Но она может отомстить, как живое существо!

Цель художника — не разъединение — соединение людей. Однако еще выходят книги, фильмы, которые нас разобщают. Я считаю, самый большой вред, какой только можно принести человеку, от таких произведений. Почему Толстой так ратовал за эмоциональное начало в искусстве? Единое чувство сплачивает. А проблема, не много ли мы ей сегодня уделили внимания?.. Вы с ней согласны, я — нет. И возникает непонимание между одним человеком и другим, потом и между целыми нациями. Иное — образное постижение мира.

Недавно мы смотрели материал — еще не завершенную картину про мальчика, которого воспитывает папа, он его уводит на природу, общается к живому миру, и мальчик преобразается. Понимаете? Такое содержание принесет пользу людям. Когда же суть в том, брать премию или не брать, или то, что брат играет на кларнете, — это ужасающе.

Многие фильмы призывают юношей и девушек быть первыми, обязательно быть первыми — в спорте ли, в жизни. Почему только первыми?.. Мой сын Федя учился плаванию. Просто ему нравилось плавать. Вдруг его стали готовить к рекорду, и он сказал: «Я не хочу!» И ушел. Не знаю, что ему подсказало такой поступок, но правильно сделал...

Корреспондент: Вы, Сергей Федорович, в своем творчестве чаще всего опираетесь на русскую, советскую классическую литературу. Возможности ее для кино, естественно, далеко еще не исчерпаны да и вряд ли когда-нибудь истощатся, тем более что каждый новый этап в развитии технических средств кинематографа — он как бы предлагает и новые версии экранизации. Ну, например, вашего же «Отца Сергия» неправомерно сопоставлять с протазановским...

Бондарчук: Почему? Можно. С учетом особенностей немного кино.

Корреспондент: Значит, появилась потребность увидеть это, сделанное уже на современном этапе. У вашей картины новые зрители. И даже те, кто знал фильм Протазаноза и Мозжухина, помнили: они ходили в кино, конечно, не для того, чтобы сравнивать Бондарчука с Мозжухиным, но потому, что им хотелось увидеть на экране это произведение Толстого, прочитанное сегодняшним художником.

Бондарчук: Да... Шолохов под конец жизни мечтал о «Тихом Доне» во всей его полноте на телевидении. Почему-то не предоставили такой возможности... В чем тут веление времени? «Гамлета» ставили на протяжении столетий и не перестанут, пока будет существовать сцена. Чем же кинематограф хуже?..

Корреспондент: Но мне, Сергей Федорович, всегда казалось, что слово такого художника, как вы, обращенное к согражданам и высказанное об их жизни, драгоценно. В связи с этим у меня такой вопрос. Вы редко обращаетесь, а в своей режиссерской работе никогда не об-

ращались к материалу сиюминутному, сегодняшнему. Это у вас принципиальная установка? Или не находите литературного, драматического материала, который бы хотелось воплотить?

Бондарчук: Да, да, да! Я все время ишу такое произведение. У меня были попытки, должен был делать, а потом как-то... Сейчас даже, по моему, забыли о том замысле. Повесть называлась «Грачи прилетели» — Александр Андреев написал. Я уже и сценарий подготовил, но потом отказался. Детство мое было связано с селом, с колхозной жизнью, и я очень хорошо знал материал. Только мы прособирались, время как бы опередило нас — опоздали. Наш кинематограф, он не очень подвижен. Это беда. В среднем одна картина отнимает пять лет. Это же...

Корреспондент: Жизнь уходит?...

Бондарчук: Ну, конечно. Все так долго готовится, утверждается. Кошмар!

Корреспондент: Сергей Федорович, я помню кадр в «Судьбе человека», когда Андрей Соколов лежит, разметавшись, на поле, в овсах. В свое время Юрий Ханютин писал, что это было лучшим выражением единства человека и природы в вашем творчестве, что здесь сопряглись традиции Шолохова в Довженко. Но ведь природа меняется и гораздо быстрее, чем меняется человек, именно под его воздействием.

Бондарчук: Он ее просто уничтожает. Говорят, через тридцать лет нам станет не хватать кислорода. Если говорить о содержании, я считаю, это самое важное, на первом месте — человек и природа. И еще — антивоенное содержание. Это самое главное сегодня для меня. Я бы сейчас с удовольствием снял картину о человеке в природе. Давно не перечитывал «Русский лес» Леонова, нашего живого классика, там есть поразительные вещи. Правда, был фильм... А Соколов в овсах — другое. На этот кадр меня натолкнула украинская песня «Дивлюсь я на небо...»

Корреспондент: Юрий Ханютин в посвященной вам книге много размышляет о сквозном действии образа на примере кинематографических работ Бондарчука. От чего оно — от сознательной актерско-режиссерской установки или ощущения характера, его целостности?

Бондарчук: Это термин Станиславского. Но у него есть еще более точное слово — это сверхсверхзадача. В нем должна выражаться вся философия образа, вещи. Сверхсверхзадача — ради чего я что-то делаю. Тут определяющим является мировоззрение художника. Если рассматривать профессию как средство выражения твоего отношения к жизни, людям, как средство, а не цель, то иного пути нет. Актер только таким способом выявляет свое отношение к действительности. Бывает и по-иному: профессию подчиняют комедианству. Есть актеры, которые все разыгрывают, представляют, стараясь потешить публику или продать себя сходно. Тогда гибнет искусство — и актерское, и режиссерское. Получается лишь подделка, она с головой выдает самое себя...

Корреспондент: Мне кажется, что в «Борисе Годунове», где ряд как будто бы разорванных во времени эпизодов должен передать непрерывность человеческой жизни на экране, это умение вести сквозное действие образа особенно важно. Если ваш Борис появляется в фильме во второй раз спустя шесть лет, он ведь будет другой?

Бондарчук: Есть такое определение — развитие характера. И еще есть понятие — текучесть характера, еще более сложное. Режиссура и заключается в умении выстроить характер. Сам Борис, он не решает сверхзадачи трагедии. Я уже говорил: не он главный герой. Главный герой — событие. Вначале народ провозглашает: «Да здравствует Борис!» — потом кричит: «Да здравствует Димитрий!» — а под конец молчит. В этом развитие события, как его обуславливает историческое движение. Развитие характеров подчинено тем же законам, что и всегда в нашем деле.

Корреспондент: Сергей Федорович, с первых ваших шагов в кинематографе вас называли актером авторского склада, еще когда вы и режиссером не были...

Бондарчук: Это кто называл? Я что-то не знаю...

Корреспондент: Так вот, мне кажется, что ваш приход в режиссуру был закономерен, диктовался этим вашим стремлением реализовать свое свойство актера авторского склада.

Бондарчук: Может быть, да, потому что к режиссерам я всегда... подозрительно относился...

Корреспондент: Да? А если эту подозрительность перенести на самого себя?

Бондарчук: Они мне только мешали (смеется)...

Корреспондент: Ну, хорошо. Но как трансформировались ваши свойства актера теперь, когда вы одновременно и режиссер?

Бондарчук: Когда вижу, что актер не просто исполнитель, а художник, соавтор, творец, я ему даю полную свободу. Если же он оказывается беспомощен — такое бывает нечасто, но бывает, — заставляю делать то, что считаю нужным, диктаторствую, хотя в режиссуре это самое противное.

Корреспондент: Но вы, наверное, выбираете таких актеров, которые...

Бондарчук: Случаются такие промахи, когда поздно обнаруживаешь, что актер несостоятелен, а заменить уже нельзя — часть материала отснята, тогда прибегаю к показу, добиваюсь результата жесткими мерами.

Корреспондент: А кто вам близок из актеров?

Бондарчук: Актеры школы переживания. Хочется вспомнить Василия Макаровича Шукшина и нашу с ним работу в «Они сражались за Родину», которая, к несчастью, оказалась для него последней. У нас с ним как получилось? Я ему сразу сказал: «Ты мне нужен весь как личность. Ты гораздо богаче того, что играл в чужих картинах. Откажись от всего, будь полностью раскрепощен». И во время съе-

мок он на глазах непостижимо раскрывался, потрясал своими открытиями, превращениями, что в нем происходили.

Корреспондент: Значит, идеальный актер для вас — Шукшин?

Бондарчук: О-о-о! Я только удивлялся ему. К примеру, в сцене у разбитого танка я требовал от него предельной эмоциональности. Он немножко сопротивлялся, у нас в кино это считается дурным тоном — обнажать себя. Актер школы переживания не изображает, а трагит себя до конца. В этом могущество метода переживания. И зритель это чувствует. Здесь все, как говорил Всеволод Илларионович Пудовкин, делается на подлинном горячем. Можно подменить горячее — не поедет машина. Надо без подмены...

Корреспондент: Сергей Федорович, а когда думаете закончить картину?

Бондарчук: Закончим мы в 1985 году, в конце. Выйдет она, может быть, в начале восьмидесят шестого. Как долго!..

Бел беседу Павел СИРКЕС.

Начал печататься салагой-младшекурсником в сентябре пятьдесят второго. И за тридцать два года журналистской работы на то время ни один мой материал не имел подобного резонанса. Звонили незнакомые коллеги, поздравляли друзья и недруги, даже из других городов.

— Он что, в самом деле все это наговорил? — недоумевали скептики.

— Здорово ты его раздел! — радовались злопыхатели.

Я возражал:

— У меня и в мыслях не было...

Не верили. Теперь обо мне говорили:

— Тот Сиркес, который сделал интервью с Бондарчуком.

Такая нелепая известность.

На гребне шумихи дал знать о своем существовании и Лео Бакрадзе:

— Ну, ты выдал! Хватит нам, Паша, дуться один на другого. Снова, как раньше, снимем фильм. Я получил правительственное задание. Тема — Ленин и Грузия. Сценарий — твой и Дэви, постановка — моя. И теперь твоя фамилия будет в титрах на первом месте.

— Нет уж, уволь,

— Паша, плачу десять штук, независимо ни от чего. Насколько знаю, тебя все еще не пускают в кино. А нам светит... золотой значок с профилем Ильича. — Он отогнул левый отворот пиджака и покрутил указательным пальцем, будто сверлил чем-то острым отверстие под медаль лауреата.

И не столь почетное отличие поправило бы положение. Да обойдут, как всегда. Разве не так было с картиной «Казахстан в Великой Отечественной», когда я еще и не помышлял эмигрировать?..

Фильму присудили госпремию республики. Награду получил режиссер. Авторам ничего не дали. Нас было трое, но только де-юре, фактически вся нагрузка легла на меня. Двух других вставили для проформы. Первый возник как национальный кадр. Второй, местный русский писатель, потому, что участвовал в войне.

Не чувствовал бы себя обойденным, если бы не пришлось вкалывать и за режиссера. Тот не владел профессией, а мои решения отвергал, независимо от того, удачны они или нет. Сначала я не понимал причины. Со временем догадался: и на съемках, и в монтажной мы находились в окружении сотрудников. Его несговорчивость объяснялась боязнью уронить свой престиж.

Что ж, значит, надо действовать по-другому. Теперь каждый творческий ход предварял словами:

— Помнишь, ты когда-то говорил, что... — Далее излагалась суть приема. Упрямый казах больше не перечил. И премию за чужой труд принял единолично и без зазрения совести.

Режиссерский хватательный инстинкт сильнее различий и расы, и веры, и принадлежности к тому или иному народу...

Лео, определенно, располагал точными сведениями, что я прилагаю невероятные усилия, чтобы возродиться из пепла, но мне все же никак не удастся вернуться в документальный кинематограф. И хитроумно рассчитал: имя реабилитировано, на редкие, хоть и громкие, газетные публикации жить нельзя, выходит, не отвергну хлебного предложения. Заманчивой была и первая строка в титрах — по алфавиту — место Сиркеса впереди Стуруа. Не устою...

Прежде чем писать новый сценарий, погрузился в труды Ленина.

И наткнулся на неизвестное грузинское имя — Буду Мдивани. Обратился к комментариям и узнал о грузинском деле. Суть его в следующем. 1922 год. Близится провозглашение СССР. Сталин отстаивал автономизацию, то есть вхождение национальных республик в Российскую Федерацию на правах автономий. У него нашлись противники. Старый закавказский большевик Буду Мдивани, например, считал, что республики должны составить союз равных.

Точку зрения Буду разделяли многие в Грузии. Чтобы переубедить строптивцев, Сталин отправил в Тифлис Серго Орджоникидзе. Тот погорячился и ударил по лицу одного из оппортунистов. В ответ девять из одиннадцати членов грузинского ЦК подали в отставку. Заварилось так называемое грузинское дело. По словам секретаря Ленина Фотиевой, оно «подействовало очень тяжело» на больного Ильича, ускорило его уход.

Как же Ленину стало известно о событиях в Грузии, очень его напугавших, если Сталин наглухо изолировал вождя от политической жизни страны? Ему о них сообщила Крупская. К сожалению, Фотиева являлась тайным информатором Сталина. Она и донесла на Крупскую. Сталин по телефону устраивает Крупской грубую выволочку. Та жалуется мужу. Ленин шлет Сталину записку с требованием извиниться.

В противном случае грозит полным разрывом отношений. И затем уже следует знаменитое завещание Ленина, где говорится о грубости и нетерпимости Сталина и рекомендуется заменить его на посту генсека...

Вот какой обнаружился драматический узел. Начавшаяся перестройка позволила рассказать о событиях, которые связали Ленина и Грузию и десятилетиями замалчивались.

В «Тетради дежурных секретарей» записи и Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Сталина. Они также вошли в ткань моего сценария. Но из бумаги фильма не лепишь, нужен изобразительный материал. Кинулся искать по архивам и музеям. Нигде нет фотографий Аллилуевой двадцать второго года. В партийном архиве при ЦК КПСС нашли лишь маленькую карточку с членского билета Надежды Сергеевны, снятую незадолго до ее самоубийства в 1932 году.

Я уже совсем было отчаялся, как вспомнил: Светлана Аллилуева недавно вернулась на родину после восемнадцати лет чужбины и поселена в Тбилиси. Неужели у нее не сохранились фотографии матери? Летим!

Лео, знающий в грузинской столице всех и вся, быстро установил, что здесь Светлану Иосифовну опекает Медея Джапаридзе, известная актриса, с которой и он хорошо знаком. Через день мне вручили телефон и велели звонить: Аллилуева предупреждена.

Набираю номер, представляюсь, объясняю, зачем нужны снимки.

— Как вы поедете?

— Общественным транспортом.

— Это рядом с бассейном. — Улавливаю разочарование в голосе, мол, что это за московский кинодраматург, перемещающийся по Тбилиси на троллейбусе?.. — Запишите адрес: проспект Чавчавадзе, 75, кв. 5. Приезжайте завтра к двум.

...Выхожу на остановку «Бассейн». Смотрю на нумерацию — до названного Аллилуевой адреса еще десятки домов.

У спорткомитета жестикулирует группа грузин атлетического сложения.

— Простите, — говорю, — мне сказали, что дом рядом с бассейном. А я что-то не вижу ничего похожего...

— Что тебе надо, дорогой?

— Ищу дочь Сталина.

— Так бы сразу сказал! Вон там, за углом, видишь, дом в глубине?.. Она живет на втором этаже.

Дверь открыла Аллилуева — пухлая рыжеватая женщина небольшого роста. На дворе весна восемьдесят пятого, значит, ей было к шестидесяти. Выглядела она моложе своего возраста.

Провела в гостиную. Минувя прихожую, почуял запах жаркого из кухни. Судя по тому, что в квартире, кроме нас, никого не было, хозяйка, видимо, только что оторвалась от готовки. Впрочем, одежда она была не по-домашнему, а нарядно. В вырезе кофточки на

груди — золотой крестик на цепочке. Косвенно подтверждался слух, что по возвращении в отечество Светлана стала особенно набожной, не пропускает служб в Сионском соборе, исповедуется самому католику — патриарху Грузии Илие. Крестилась она еще до отъезда.

Показала на длинный стол, где рядом были разложены фотографии. Я бросился к ним, как к сокровищу, которое устал разыскивать. Светлана давала пояснения:

— Вот мама — совсем крошка, ей одиннадцать месяцев. Здесь она уже постарше, в приготовительном классе. Здесь — гимназистка. Такой она была перед отъездом в Царицын к отцу. Такой — во время дежурств в секретариате Ленина. Именно это вам нужно? Здесь она с маленьким Васей. И так далее.

На последнем снимке были две пары — Сталин с женой и Молотов с Полиной Жемчужиной. Незадолго до рокового выстрела. Я отобрал подходящие фото. Но Аллилуева огорчила меня:

— Нет, с собой не дам. В следующий раз приезжайте с аппаратурой. — И, чтобы смягчить произведенное впечатление, добавила: — Да вы присаживайтесь. Мне так редко теперь случается говорить с москвичами...

— А это кто? — обратил я внимание на фотографию в старинном паспорту, стоящую на пианино.

— Это моя бабушке Кеке — Екатерина Габриеловна. Говорят, я на нее похожа.

Мы расположились за круглым чайным столиком в углу комнаты. И потекла неспешная беседа. Я чувствовал бы себя совсем комфортно, если бы не странная привычка Аллилуевой отводить взгляд очень светлых глаз от своего визави и непрерывное поедание ею шоколадных конфет. Она брала их одну за другой из вазочки и аккуратно клала в рот. Мне угощение не предлагалось. Хотя я вовсе не сластена, это было малопривно.

Хорошо помню не только свои ощущения в тот момент. Вдруг ясно понял, как нелегко этой женщине, чей отец сотворил столько зла на земле. Теперь вольно или невольно она должна нести этот крест, отмаливать его грехи.

Еще накануне решил, что из деликатности не буду задавать лишних вопросов. Цель была одна — найти уникальный снимок, при удаче — несколько. Я молчал, предоставляя инициативу в разговоре хозяйке, что так несвойственно нам, литераторам и журналистам.

— У вас очень редкая фамилия. Никогда не встречала такой.

— В Молдавии ее носит довольно много людей. Правда, почти все они — мои родственники.

— Так вы из Молдавии? Когда-то я восхищалась молдавским кино. Помню «Колыбельную» Михаила Калика. Чудесный фильм!

— Калик давно живет в Израиле.

— А я и не знала.

— Он уезжал со скандалом, направил в «Известия» письмо, объясняя свою эмиграцию желанием развивать национальное кино. Об этом много говорили западные радиоголоса. Но в Израиле его творческая судьба как-то не задалась — снял одну заметную картину по горьковской «Мальве».

— Да? Мне об этом ничего не известно. Я ведь в Америке была оторвана от всего такого... А вы случайно не знаете Дмитрия Сергеевича Писаревского? Он был связан с кино.

— Как же! Наш главный редактор в «Советском экране»! Долгие годы изучал фильм «Чапаев». Защитил по нему докторскую.

— А мать его жива?

— Мать умерла. А он процветает. Мы виделись недавно в Доме кино.

Значит, не врала редакционная байка, что наш рыжий Митя (так его называли меж собой сотрудники) одно время ходил чуть ли не в женихах дочки Сталина...

Светлана Иосифовна почему-то стала рассказывать, что, возвращаясь на родину, она надеялась восстановить связь со старшими детьми — сыном Иосифом и дочерью Катериной, связь, которая была прервана столько лет. Увы, ничего не получилось! О сыне Аллилуева отозвалась еще резче: будто бы он был против нее заодно с КГБ.

Чувствовалось, что она разочарована своей жизнью в Тбилиси, хотя здесь ей предоставили отличную квартиру, раньше в ней жила дочь второго секретаря ЦК КПГ Колбина, платили приличную пенсию, доставляли на дом дефицитные в то время продукты, при необходимости присылалась машина из цеховского гаража.

Выходя, разглядел на стене в прихожей самодельный плакатик. На нем был изображен знак атомной бомбы — окружность и как бы распирающий ее перевернутый игрек, а сверху была надпись цветными фломастерами по-английски: «Этот дом — зона, свободная от атомного оружия». Заметив, что я остановил взгляд на плакатике, Аллилуева сказала:

— Рисунок дочки Ольги. Жаль, что вы ее не застали. Она ушла на теннис.

Мне же подумалось, что не случайно, видимо, визит был назначен на такое время, когда девочки не будет дома.

Вторая встреча оказалась сугубо производственной. Мы с оператором снимали отобранные мной фотографии. Ехать с нами напросился и звуковик фильма, которому делать при этом было совершенно нечего. Просто ему очень хотелось посмотреть на живую дочь Сталина.

В первый раз я был у Светланы Иосифовны в мае. Во второй, с коллегами, — в октябре. Через полгода вдруг сообщение по телевизору: после восемнадцати месяцев на родине Аллилуева снова навсегда уехала за границу. Мечется человек...

В разгар съемок, когда очередь дошла до кремлевской квартиры и кабинета Ленина, потребовались согласования на самом верху, иначе не войти бы нам в «святая святых». Лео обожал преодолевать такие препятствия. У него для этого имелись свои рычаги — в ЦК, в охране Кремля, в ИМЭЛе. Поразительно было умение Бакрадзе найти подход к сидящим в высоких инстанциях. Очаровать словами, подкупить подарками, обещать несбыточное, привести в движение связи, которые переплетались в сеть и в совокупности наверняка гарантировали результат, было для него вожделенным занятием. Для верности он и в консультанты взял цековского — тбилисского армянина Леву Оникава. Советов тот не давал, толкачом выступал исправным.

Наконец, пустили в Кремль... на один день.

Сначала ввели в покои Ильича. Немногочисленное семейство занимало четыре или пять казенно обставленных помещений, где до революции жил прокурорский чиновник. Простота и скудость интерьера редкостные. Да так оно и лучше. Ничто не отвлечет будущих зрителей от закадрового текста, выстроенного на мемуарных свидетельствах современников, документах, записях дежурных секретарей Ленина. Текст этот, как уже сказано, возникал на соответствующих фотографиях действующих лиц.

Несколько панорам по анфиладе комнат. Фиксация ложа, на коем больной Ильич проводил дни и ночи до отъезда в Горки. Прикроватная тумбочка, точно в лазарете. Только настольная лампа служит признаком спальни, а не лечебной палаты. Сквозь узкие окна сюда едва пробивается тусклое зимнее солнце. Пока все работало на так долго культивируемое представление о неприязательности Ульяновых в быту.

Потом переместились в кабинет. Он долго оставался недоступным. Говорят, его закрыли по приказу Сталина. Ключи оставили только Крупской и безграмотной уборщице. Как-то Крупская рискнула показать святилище своему близкому сотруднику по Наркомпросу Кафтанову, будущему министру. Кафтанов только после разоблачения культа осмелился признаться, что участвовал в опасном осмотре.

Отдельные детали антуража были узнаваемы по снимкам. Например, скульптурка обезьяны, измеряющей циркулем человеческий череп. Другие предметы свидетельствовали о привычках и интересах Ленина. Вот вертящаяся этажерка. Как видно, он любил одним поворотом ее обнаружить нужную книгу.

Вообще книги здесь преобладали. Они были повсюду — на полках, в шкафах, на письменном столе, даже на полу. Среди них попадались и вышедшие из-под пера прямых антагонистов, оппонентов, ярых врагов Владимира Ильича: Плеханова и Богданова, Мартова и Деникина, Милюкова и атамана Краснова. По моей просьбе, наш кинооператор запечатлел уникальную библиотеку. На корешках томов прочитывались и крамольные названия.

И еще карты. Ими увешаны стены. География российская и мировая. Ленину, должно быть, нравилось зримо представлять необъятные пространства, которыми завладеет коммунизм, когда пролетарии всех стран соединятся.

К кабинету примыкает небольшой продолговатой формы зал. В центре — длинный заседательский стол. Ряды стульев по бокам. В торце — место председателя.

— Здесь при Сталине собиралось Политбюро, — объяснил сопровождающий, который неотступно находился при съемочной группе. — А в этой кабинке и сейчас стоит аппарат ВЧ. По нему звонили в экстренных случаях.

Сооружение в углу напоминало телефонную будку. Только сделана она из полированного красного дерева.

Время двигалось к обеду. Не худо бы и в туалет заглянуть, и руки вымыть, и перекусить, чем Бог послал.

Охранник, наверное, тоже услышал голос естества.

— Надо покормить людей, — обратился страж к Лео, безошибочно вычислив в нем старшего. — Я сейчас пойду, договорюсь в столовой.

Когда он удалился, Бакрадзе вернулся в кабинет, уселся в ленинское кожаное кресло за массивным письменным мастодонтом, откуда коммунистический вождь пять лет управлял несчастной страной.

— Ну-ка сними меня на память, — крикнул он фотографу, который входил в состав нашей группы, и принял горделиво-грозный властительный вид.

...А фильм «Ленин и Грузия» мы сделали, хотя и встретили яростное сопротивление ИМЭЛа. Только ветер перемен задул уже всюю. И нашу картину выпустили на экраны. А Ленинская премия сорвалась — ее просто перестали присуждать. Впрочем, не думаю, что она досталась бы Бакрадзе, даже если б все шло по-старому. Пришлось Лео довольствоваться своим изображением в кресле Ленина.

После окончания фильма Лео, как и обещал, вручил мне оговоренный гонорар. Он явно доплатил свои — из постановочных. Почет был для него ценнее денег.

А случается, предпочтение отдается золотому тельцу... после пре-
сыщения известностью.

В середине шестидесятых в первый раз попал за границу, в Будапешт. У меня там неожиданно появились хорошие знакомые: Мария и Михай Ваци. Она — искусствовед, владеет русским, он — видный поэт. В Москве при первом общении в официальной, под эгидой КГБ обстановке журнала «Советская женщина», где я недолго работал, взаимная симпатия была приглушена. Письмо общего друга поэта и ученого Дмитрия Сухарева, привезенное мной, оказалось лучшей рекомендацией. Теперь мы безоглядно доверяли друг другу.

О чем только не говорили! Вспомнили о венгерском восстании пятьдесят шестого года. Рана еще кровоточила — прошло всего десять лет после его подавления красноружными танками.

Рассказал о неприятностях, которые возникли у меня в Караганде, когда я хорошо отозвался в редакции о книге Дудинцева «Не хлебом единым». В ответ услышал, что подобные мне молодчики стреляют в наших солдат на берегах Дуная. Инцидент довершил мое мировоззренческое прозрение, которое началось поздно — после самоубийства Александра Фадеева и закрытого доклада Хрущева XX съезду партии.

Выяснилось, что при всей разности судеб и жизненного опыта мы с Марией и Михаем о многом думаем схоже.

Мария загорелась желанием показать мне мастерскую мировой знаменитости — ваятеля Жигмонда Кишфалуди-Штробля. Старику было далеко за восемьдесят. Он бойко болтал по-немецки, комментируя свои произведения.

На одной из задвинутых в тень полок заметил два стоящих рядом присыпанных пылью не то мраморных, не то гипсовых бюста: Ворошилов и Муссолини. И удивился такому соседству.

— И тот и другой хорошо заплатили, — объяснил старик.

— Почему же скульптуры остались у вас?

— Заказчики получили бронзовые отливки — они дороже стоили...

— А как же идеология?

— Идеологии их немногим отличались. Но я всегда был аполитичным художником.

Все чаще болела мама. Она больше не была одна. Ее посватал после тридцати четырех лет вдовства бодрый еще Марк Яковлевич — влюбился.

Маме казалось диким выходить замуж. Советовалась со мной:

— Как быть, сын? Стыдно перед людьми...

— Ты жалуешься на одиночество, а жить ни с кем из детей не хочешь. Только колесишь между Одессой, Запорожьем и Москвой. Нигде долго не задерживаешься. Плохо к тебе относимся? Сколько так можно?..

— Нет, вами я довольна. Непокойно мне...

— Вот и попробуй. Не под венец идти...

Жили двенадцать лет. И неплохо ладили, пока здоровье мамы совсем не сдало.

— Павлик, — сказал мне Марк Яковлевич в мой летний приезд, — рядом с мамой должен быть родной человек.

— Что же вы — неродной?

— У меня не хватает сил.

— Представьте, состарится Тамара, а я ее сплавлю дочке — не могу, мол, не справляюсь. Вы оба, как костыль и палка, — опора нетвердому стоящему на ногах...

Ему нечего было возразить.

Погостил, сколько позволял перерыв между съемками. А с осени маму взяла к себе Идочка. В ноябре — тревожный звонок сестры:

— Вылетай немедленно, если хочешь еще повидаться с живой мамой.

Через четыре часа был в Одессе. Вхожу в комнату мамы — она в слезы.

— Все, умираю, сынок...

— А обо мне ты подумала?

— Что я могу?

— Пока ты жива, ты стоишь между мной и смертью — заслоняешь от нее.

— Как же я могла забыть о тебе?..

И успокоилась. И дух окреп. И телевизор ей сделался интересен. И через два дня сама встала в туалет.

Я пробыл неделю — торопили из Москвы. Улетел, оставив маму, которая чудодейственно пошла на поправку.

Часами говорили по телефону. Она уже начинала томиться в шумной семье Идочки. В конце марта засобиралась из Одессы.

— Вызову Марка Яковлевича. Он меня довезет. И как-нибудь вдвоем...

— Рано еще. Погода неустойчивая. Скоро я освобожусь, приеду за тобой. И вместе проживем в Кишиневе.

— С тобой, как ни с кем, хорошо. Я дома подожду.

— Простудишься в дороге — нельзя рисковать.

— Нет, я все равно поступлю, как решила.

— Не послушаешься, знай, у тебя нет сына...

Такой разговор. Пригрозил — и тотчас пожалел. Да было поздно. Лучше б у меня язык отсох!

На другой день, первого апреля, позвонил Марк Яковлевич:

— Павлик, с мамой плохо. Спустились за пенсией в соседний дом, где сберкасса, — и там она упала.

— Увезли в больницу?

— Нет, здесь она.

— Передайте ей трубку.

— Мама не может говорить.

В аэропорту билеты продавались только на четвертое. Но по моему виду все поняли.

— Берите на любое число и бегите к диспетчеру по транзиту — вас посадят.

У постели мамы я очутился раньше сестер.

Склонился над мамой, прижался к щеке. Из ее груди прорывался тяжелый хрип.

— Мамочка, ты слышишь меня? Это я — Павлик.

Она чуть-чуть разлепила веки.

— Мой сын...

Больше не произнесла ни слова, хотя боролась с инсультом до восьмого апреля.

И остался я один на один с неизбежностью...

Теперь, когда моя фамилия вот-вот должна была появиться в титрах, да еще фильма о Ленине, я как будто мог считаться реабилитированным. И сделанного было не стыдно. Даже рекомендатель Гуревич, посмотрев сборку картины с текстом, не поскупился на подвалу:

— Молодец, Пашка! Не пропел осанну Кузьмичу. И Сосо уел с этим «грузинским делом».

Пройдет совсем немного времени и как раз из-за Сосо возникнет конфликт — до полного разрыва между Бакрадзе и Гуревичем: Лео выкажет себя вульгарным сталинистом. Ему, видите ли, претит тенденция поливать гениального грузина. Это бросает тень и на нацию.

Леня ответил через «Искусство кино».

А загорелся сыр-бор из-за нескольких фраз в их очередной ленте о так называемом эксперименте в Абаше. Что за эксперимент? Партийный секретарь райцентра придумал развязать инициативу окрестных крестьян, разрешив им столько держать скотины, сколько прокормить смогут. Ехидный Гуревич тут-то и припомнил изверга Сталина, который проводил политику раскрестьянивания. Помирить бывших неразлучников мне удалось лет эдак шесть спустя...

Клапан вышибло. И, вырвавшись следом наружу, я пустился аллюром по студиям. Трудился и в Алма-Ате, и в Ташкенте, и в Москве — на Центрнаучфильме. И всюду получалось. Два скрипта даже удалось, чего раньше не бывало, напечатать в альманахе «Киносценарии». Первый назывался «Одним исполненный добром» — о друге Пушкина, предтече декабристов Владимире Федосеевиче Раевском. Второй — «За други своя» был посвящен поручику мятежного Черниговского полка Ивану Ивановичу Сухинову.

Негаданно позвонил Гуревич:

— Паша, может, нам с тобой вместе что-нибудь залудить?..

Сто лет ждал от него такого предложения, ждал во дни жестокой нужды, но все равно раскудаhtался:

— Да, да, Ленечка, для меня, сам понимаешь, твой опыт...

— Сергей Стародубцев из Ростова-на-Дону собирается делать картину об Андрее Платонове. Ему нужна добротная драматургическая основа. Я сказал, что мог бы взяться с Пашей Сиркесом. Извини, тебя не спросил...

— Что за беда?.. Нет возражений.

— Ты — филолог. Вдвоем мы лихо все накааем. Материалу наскрести — это по твоей части.

Еще с конца шестидесятых узнал и полюбил Андрея Платоновича Платонова, на мой взгляд, — самого глубокого и оригинального из русских писателей XX века. Крупные его вещи не были опубликована-

ны. Доставал самиздат. «Чевенгур» и «Котлован» бытовали в списках. Чтоб заполучить экземпляр, собиралось с десятков проверенных почитателей, сбрасывались на машинистку. Испытанная — несексотка, она печатала на папиросной бумаге сколько вместит закладка. Опасно, попадешься, можно и в лагерь загреметь за хранение и распространение. Не великой литературы — антисоветчины! Но охота — пуще неволи.

О ксероксах мы даже не слышали...

К моменту, как возникла идея фильма, уже вышли первые с предвоенных времен книги Платонова, которые вобрали основные его произведения, — можно работать. Только — опять же — для экрана необходимы иконография и хроника. Снимков, рисунков — раз, два и обчелся. Ни живого, ни мертвого писателя кинокамера не запечатлела.

Принялись искать людей, что общались с Платоновым. Он ведь умер не столь давно, таких должно быть немало.

Начали с Воронежа. Гуревич — платоновский земляк. Заодно посетил и малую родину. Как водится в России, эта малая проявила небрежение к памяти гениального сына. В Воронеже нет музея Платонова. Никто не мог точно указать, в каком доме он появился на свет. Ни одной мемориальной доски, а ведь учился здесь, трудился! До переезда в Москву, почитай, двадцать восемь лет провел в этом прицаре — губернском, при советах — областном центре.

Воронеж, несмотря на все перевороты и войны, на редкость хорошо сохранил дореволюционный облик: узкие улицы из одноэтажных кирпичных домиков ухабисто переваливают через косогоры, на проезжую часть глядят цветущие палисадники.

В рабочей слободе, а именно там обитала многодетная семья Климентовых (Платонов — псевдоним из отчества), попадались халупы, любая из которых могла бы дать представление, в каких условиях проходили детство и отрочество будущего писателя.

Энтузиасты-краеведы хотели нам помочь, но мало в чем преуспели. И все же дух места приоткрылся.

Ни родни, ни друзей в Воронеже не нашли. Близкие Платонова, те, что уцелели, жили в Москве.

Позвонил дочке — Марии Андреевне Платоновой. Она, видимо, ожглась на общении с предприимчивыми публикаторами и исследователями творчества отца. В новых, благоприятных для так долго замалчиваемого писателя обстоятельствах от них теперь отбою не было. Мария Андреевна повела себя уклончиво, с нескрываемым неудовольствием отказывалась от общения.

Кровный внук от сына Платона прозывался Александром Павловичем Зайцевым — уважил отчима. Обидно, что потомки Андрея Платоновича будут носить чужую фамилию.

Судьба Платоши была трагична. Школьником арестован по сфабрикованному обвинению. Есть мнение, что для Сталина это был способ отомстить обличителю режима.

В лагере сын заболел туберкулезом. Активирован. Выпущен в девятнадцать. Родители умолили Шолохова вступиться. К Шолохову Сталин тогда прислушивался.

Платон Платонов на воле успел жениться. Но безжалостна палочка Коха. После короткой передышки — снова обострение. Отцу, не отходившему от постели умирающего, передалась зараза, от которой и он сошел в могилу. И вот последний мужской продолжатель рода писателя теперь как бы чужой...

Сыскал и сестру Веру Платоновну. Голос в трубке звучал резко и сварливо:

— Некогда мне! Дачу обманом хотят отнять! А не вмешаться ли деятелям кино?.. Вы ж борцы за справедливость...

— Куда надо обращаться?

— Завтра приемный день у председателя райсовета в Красногорске. Поехали бы со мной, — закончила Вера Платоновна, круто сменив сварливость на искательство.

Добрались до подмосковного городка. Выступил я ходатаем и защитником. И выяснилось, что права самой Веры Платоновны уязвимы. Они с соседом по даче схватились из-за узкой полоски земли, будто бы отрезанной, не помню уж, у кого, забором, который разделял участки. Вскипела свара, началась нескончаемая тяжба. Мое заступничество ни к чему не привело.

По совести, не понравилась мне сестра. О брате ничего толком не рассказала, зато проговорила, что считает его неудачником, загубленным писательством. Любопытно?.. Конечно. Но расхотелось тащить в кадр столь своеобразную родственницу.

Поистине рискованно полагаться на ближних сих, пытаюсь понять великого человека.

Удача выпала, когда обнаружил литераторов, чьи пути пересекались с платоновскими.

Евгения Александровна Таратута, критик, автор популярной биографии Войнич, сохранила редчайшие издания Платонова, хотя ее не миновали ни тюрьма, ни ссылка. На одном из них до боли пронзил такой автограф: «Дорогой Евгении Александровне, которая очень похожа на мою дочь, которой у меня нет и не будет...»

Дочь, что уклонилась от встречи со мной, родилась через несколько лет.

Таратута показала мне уникальный документ о присвоении имени Платонова одной из малых планет.

У скульптора и прозаика Федота Сучкова судьба удивительно была связана с судьбой Андрея Платоновича. Они познакомились еще до войны. Сучков учился тогда в Литинституте. В лагере, а арестовали недоучившегося студента на фронте, из случайно обнаруженной у напарника по нарам газеты узнал о смерти своего литературного учителя. И рискнул написать его вдове, выразить чувства соболезнования. Потом, став ваятелем, Федот Федотович всю жизнь лепил из гли-

ны, резал по дереву, вырубал из мрамора очень точные портреты Платонова. Один из них украшает мемориальную доску на доме, где жил писатель, — Тверской бульвар, 25.

Другой студент, уже послевоенный, поэт и правозащитник Владимир Корнилов, сидя на лекциях, видел сквозь открытое окно, как Платонов подметал усадьбу Дома Герцена. Возникла легенда, будто запрещенный после рассказа «Семья Ивановых» Платонов работал в Литинституте дворником. Когда мы посадили Корнилова перед камерой, он вспомнил эпизод из юности и прочитал сильные стихи об этом.

Переводчица Раиса Исаевна Линцер, вдова новомировца Игоря Саца, часто принимала у себя Платонова. И муж, и Андрей Платонович любили посидеть за накрытым столом. Иногда к ним присоединялся друг обоих Василий Гроссман. Линцер живо передавала разговоры, а порой и споры писателей-единомышленников. По счастью, у Раисы Исаевны уцелела драгоценная реликвия — действующая модель паровой машины, которая и сейчас работает, если положить в топку горящего сухого спирта. Машину сын Сацев получил в подарок от Платонова ко дню рождения много лет назад.

Философ Юрий Карякин был исключен из партии за то, что председательствовал на первом посвященном Платонову вечере в ЦДЛ в 1968 году. Он емко и нетривиально размышлял вслух о феномене Андрея Платонова, человека и писателя.

Рассуждения Карякина развивали поэт и литературовед Лев Озеров, кому довелось лично общаться с Платоновым, критик Игорь Виноградов, прозаик Андрей Битов.

Все просилось в сценарий...

Купил путевку в Дом ветеранов кино в Матвеевском. Недалеко — квартира Гуревича. Удобно приезжать. Леня появлялся после завтрака. Составили план. Разделили меж собой сцены. Каждый прописывал свои. После соединяли, чтоб не заметны были швы. Скрипт, как мы считали, вырос добротный — не зазорно передать режиссеру.

То, как нашу драматургию воплотил Сергей Стародубцев, превзошло ожидания. Перерыл кинохранилища и извлек из-под спуда никому не ведомую старую хронику. Рапид, распечатка, стоп-кадры выявили скрытую образность найденного материала.

Оригинальная музыка композитора Александра Бакши своим дерзким строем связала фильмотеку и съемочный пласт картины в гармоничное целое.

Своеобычная интерпретация сценария переросла первоначальный замысел. Вместо одной Сергей смонтировал две сорокаминутные ленты, но не отказался от платоновского названия «Котлован» для всей дилогии. Первая ее половина — «Вещество мысли» — тонко раскрывала философию творчества писателя. Вторая — «Вещество существования» — рассказывала о его мученическом пути.

Дилогию выдвинули на Российский фестиваль. Там она была удостоена почетной премии — заслуга Сергея Стародубцева.

Редкостно талантлив был Серёжа. После филфака с головой погрузился в кинолюбительство. Закончил наши курсы. Перешел в режиссуру. Снимал много и интересно, хотя и попивал — для разрядки. Жену вывел в люди, а она через Польшу бежала с любовником в Германию. Обманутый муж страдал, готов был простить измену, скучал по пасынку, которого вырастил. Вероломная супруга не оценила великодушия Сережи. Тогда тот надумал эмигрировать в Израиль. Взыграла в нем еврейская струйка крови...

В Ростове заявить об отъезде не мог. Обменял квартиру на подмосковную. Жилье за городом сдал, поселился где-то вблизи от моего дома. Звонил. Собирались в гости — он ко мне, я к нему. Случайно свиделись в ресторане Союза кинематографистов.

Стародубцев пил. На столе — большая бутылка портвейна. Пригласил, налил обоим.

— А знаете, Пашенька, я похерил идею осесть в земле обетованной. Подамся-ка лучше к немцам. Буду рядом, авось, Ленка и вернется... И фильм, что давно вынашиваю, легче в богатой Германии сделать.

Ничего не успел Сережа. Его нашли мертвым на обочине Московской кольцевой автомобильной дороги. Кому он мешал? За что, кто убил незаурядного, похожего на мудрого гнома Сережу — так и осталось загадкой. Тело отвезли в Ростов и похоронили в донской земле.

Скорблю о нем. Мир твоему праху, Сергей Митрофанович Стародубцев.

Казалось, мое положение в кино совсем выправилось, но я по-прежнему считался ущербным гражданином: за границу — ни под каким видом.

Заказал у парижского кузена Гарри приглашение во Францию — ОВИР в визе отказал:

— Ваш выезд в нынешней международной обстановке нецелесообразен...

Мир возмущен военными действиями русских в Афганистане. Кто ж разрешит частный визит в свободную страну субъекту с эмигрантскими наклонностями?..

— Понимаю, меня сейчас наказывают за неосуществленное намерение уехать, — промямлил я. — Но должно же это кончиться? Назовите сами срок, когда имеет смысл снова к вам обратиться.

— Кто ж скажет? Ждите, попробуйте, мы рассматриваем все заявления.

Не проскользнуть ли в лазейку международного туризма? Союз кинематографистов в январе регулярно рассылает план групповых зарубежных вояжей на наступающий год, зазывает в путешествия своих членов. На заманчивых маршрутах толчея. Замахнулся на Индию: мало желающих — дорого, болезненная прививка, жара.

Близится дата отправки — не зовет в дорогу труба. Потрусил в иностранную комиссию. На подходе чуть не разминулся с доброй знакомой, тоже сценарным ремеслом кормится.

— Павел Семенович, — радостно окликает меня коллега, — значит, вместе будем считать алмазы в каменных пещерах?!

Ну, думаю, дались ей эти сокровища из оперы «Садко»... Впечатлительная девушка. А вслух говорю:

— Не уверен. Мне пока ничего не сообщили.

— Позвонили бы нашему чекисту.

— Я предпочел личный визит.

Не добродушный Гарьков — зарубежной епархией заправлял другой. Сидит, морду воротит, затаил пакость, на приветствие буркнул сквозь зубы.

— Как моя поездка в Индию?

— Ваша кандидатура еще не утверждена.

— Да ведь вылет на носу...

— В нынешнем году в Индию вы уже, видимо, не попадете.

Два раза еще напрасно подавал заявки. Последний раз — в Египет. Снова отказ. И опять понятно: негоже посылать к арабам еврейского туриста...

Я бы успокоился. Но неугомонный опекун Константин Львович Славин двигал меня в долгосрочную программу «XX век» на студии имени Максима Горького.

— Предстоят, Паша, загранкомандировки, так что увидишь мир...

Не посвящал Славина в свои мытарства. Если он что стороной и узнал, то ничем себя не выдал.

Никуда не денешься — надо пробиваться.

Первым секретарем Союза кинематографистов с недавних пор стал Андрей Смирнов, заменил Элема Климова, который увильнул в творческий отпуск. Андрей был и. о. — исполняющий обязанности, однако, при полноте полномочий. К нему!

Не мог Андрей забыть, как в чухраевском экспериментальном объединении «Мосфильма», сидя бок о бок, мы читали в переброс страницы толстенного исследования Роя Медведева «К суду истории».

У Смирнова тогда у самого были неприятности — положили на полку его первую картину «Ангел». Потом вляпался, слишком смело выступив перед делегатами партсъезда — выкинули из претендентов на Ленинскую премию «Белорусский вокзал». Наконец, напустились на чистую и беспорочную «Осень» за мнимый аморализм. Досталось парню. Он должен меня понять.

Впервые и Андрюша вырвался за рубеж только в начале перестройки.

— Представляешь, Пашуня, сколько пришлось состоять в невыездных?.. Подтвердилось, что я, действительно, говорю по-французски, а не обхожусь воляпюком... — удивлялся он.

Секретарша заслоняла подступы.

— По какому вопросу?

— По личному.

— Андрей Сергеевич занят.

Тут в приемную вышел Смирнов.

— Паша, ты ко мне? Проходи. — И впустил впереди себя. Пересекли обширный, как бильярдная, кабинет, — никогда здесь не был, — уселись. — Рассказывай, что у тебя?

Я был лаконичен.

Андрей участливо выслушал мой невеселый рассказ, метнулся к батарее телефонов на крыле стола, вертанул диск, на котором золотел государственный герб.

— Смирнов... Почему не прошла кандидатура члена нашего Союза Сиркеса? Речь о списке на поездку в Индию. Да. Значит, у ЦК нет возражений? — Положил трубку, поднял на меня лукавые глаза. — Старая площадь не против. Это главное. Загвоздка в КГБ. Пальнем еще разок — по Лубянке.

Теперь он звонил по другому аппарату.

— Мишаня, отчего тормознули Сиркеса? Ну и что?.. Хотел, да перехотел... Не убежит... Ручаюсь за него, как за себя. Да. Под мою ответственность. — Пока говорил, подавал мне ободряющие знаки свободной рукой, показывал поднятый кверху большой палец. Закончив беседу со всесильным Мишаней (нет, не так страшны наследники Дзержинского, думал я, если тезку Горбачева можно по-деревенски кликать Мишаней), Андрей сказал: — Кому как, а тебе повезло, что мы с этим пугалом учились в школе в одном классе. И вот что, если хочешь моего совета: начинать надо с поездки в соцстрану.

— Да я...

— Слушай меня: незачем тратить свои кровные. У нас намечается обмен делегациями с венгерским киносоюзом. Дам команду, чтоб вписали твою фамилию.

Скоро я на десять дней вылетел в Будапешт. Двадцать два года не был на берегах Дуная. Город изменился. В лавчонках свободно продавались американские джинсы. А, может, за них выдавали самопал с привезенными из Штатов лейблами?..

Общался с документалистами — поведение мадьяр было дружелюбным и раскрепощенным. Старались помочь в поиске и отборе хроники пятьдесят шестого — хронике восстания, которую мне в виде предварительной нагрузки поручило объединение «ХХ век».

Десятилетняя блокада выезда была прервана.

Наступил ноябрь-88. Теперь решили, что Сиркеса можно и на Запад выпустить. Да еще какой запад! Само имя отражало это качество: место называлось Западный Берлин.

На пятьдесят седьмом году жизни сподобился... настоящей заграницы. Группа состояла из четырех человек: директора программы сту-

дии имени Горького, двух ее режиссеров и меня. Приземлились в восточном аэропорту Шёнефельд. Встречал представитель Совэкспортфильма на торгпредовском микроавтобусе марки «Мерседес-Бенц». Долго ехали через унылый Берлин-Ост.

Последний отрезок пути — улица, по касательной вдоль смертоносной стены ведущая к контрольно-пропускному пункту. Со стороны ГДР его охраняли агенты Штази. С той, другой — морские пехотинцы США.

— Недавно двое отчаянных молодчиков разогнали здесь огромный ласткрафтваген и, резко свернув, попытались проломить шутцгиттер, — щеголяя немецкими словами, рассказывал киноэкспортер в штатском.

— Что-что? — не понял директор.

— Да ограждение хотели снести грузовиком.

— Ну, и как?..

— Напоролись на огневой шквал.

Нас не остановили на КПП.

— Без проверки? — спросил один из режиссеров.

— Номер машины им известен, а за сидящих внутри и груз отвечаю головой, — объяснил сопровождающий.

Устроились в тихой гостинице на философски-задумчивой Кантштрассе. И водку и закуску захватили из Москвы. В ближних магазинчиках накупили пива, миниатюрных корнитонов и с вечера обмыли прибытие.

В субботу в Германии торгуют до полудня. После завтрака за шведским обильным — ешь, сколько влезет — столом группа двинула в соседний KDV необозримый многоэтажный коммерческий центр. Здесь продавалось все — от суперсовременных автомобилей до свежайших даров моря.

Эскалатор доставил нашу четверку к новому ярусу изобилия.

Взору открылись сонмища прекрасных и недоступных вещей. А, может, потому цены казались фантастическими, что наши суточные мизерны?..

Бродили уже часа два. При подъеме на очередной вернисаж роскоши потерял своих. Да мне уж и поднадоела платоническая потребительская экскурсия: всей-то радости, что за погляд денег не берут...

Спустился вниз, вышел и стал ждать у входа. Наблюдать уличную жизнь было куда как интереснее. Любовался детишками, которых родители катали на пони, слушал бродячих музыкантов. Наши не шли.

Тот берлинский ноябрь выдался холодным. Продрогнув до костей, возвратился в гостиницу.

Залез под одеяло, взял русско-немецкий словарь, чтобы поупражняться перед визитом к здешним коллегам в понедельник.

Только начал отогреваться, в номер вбегает один из режиссеров, — одновременно он был заметным функционером в киносоеюзе. Раскраснелся, в глазах — тревога.

— Ты здесь?

— А где ж мне еще быть?

Он не таясь облегченно вздохнул.

— Хорошо. Пойду и я отдохну.

Так и подмывало сказать: «За меня можешь быть спокоен, дорогой товарищ, — не слиняю: я ведь дважды еврей Советского Союза»... Но предпочел отмолчаться.

Он, видно, почувствовал себя неловко и тихо прикрыл за собой дверь.

УДК 882-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
С 40

Сиркес Павел Семенович

Труба исхода. Непридуманный роман. — М.: РИФ «РОЙ», 1999.
— 288 с.

Труба Исхода... Многие поднялись с насиженных мест по зову этой трубы. Сначала 70-х и посегодня он увлек на чужбину около Миллиона наших соотечественников.

Павел Сиркес тоже поддался ему, но в силу сложных личных причин остался на Родине.

Жесткое повествование о том, что было до и после выливается в роман, где не вымысел, а сама правда. Захватывающая, на пределе открытости исповедь сына уходящего века — вот что такое эта книга.

Первая ее часть «Горечь померанца» была опубликована в 90-м столетнем тиражом и быстро разошлась под одобрение прессы.

Теперь под одной обложкой выходят часть первая и ее продолжение — часть вторая.

С $\frac{4702010102}{С69(03—99)}$

ISBN 5-89956-124-6

Павел Семенович Сиркес

Труба исхода. Непридуманный роман

Ответственный за выпуск *С. Телюк*
Компьютерная верстка *П. Чикин*

ТОО Редакционно-издательская фирма РИФ «РОЙ»
Адрес редакции: Москва, ул. Суцеская, 21,
АО «Молодая гвардия». Кабинет 26.
Контактный телефон: (095)972-22-94

ЛР 061080

Подписано в печать 10.01.99. Бумага офсетная № 1.
Формат 60×90/16. Печать офсетная. Усл.печ.л. 18.
Тираж договорный. Заказ № 1.

Типография ООО Фирма «Пандора — 1».
107143 Москва, Открытое шоссе, д.28.

— Так вот она, правда: ты — импотент!
Ты несостоятелен как мужчина! —
Ее оскорбительные слова были произнесены
почти беззвучно, но мне слышался в ночи
надрывный крик.

— Как ты смеешь? И что ты об этом
знаешь?..

Минули года прежде, чем мы в первый раз
принадлежали друг другу.

— Почему ты не сделал этого тогда? —
горько спросила Рена. — Я бегала б за тобой,
как собачонка...

— С собачонкой жизнь не проживешь, —
ответил я.

Ношу имя человека, которого убили совсем
молодым — в двадцать четыре года. Не очень
часто вспоминал об этом. Но неосознанно то,
что жизнь дяди, папиного брата, в память
о ком я назван, была пресечена насильственно,
как-то, наверно, на меня влияло?! И чем старше
становился, тем сильнее ощущался не страх,
нет, — мной все явственнее овладевало
ожидание неведомо откуда грозящей опасности.

— Папа, ты не обидишься, если я возьму
национальность мамы и запишусь в паспорте
русской?.. Понимаешь, мне, может быть,
придется здесь и в институт поступать...

— Право выбора — за тобой.
Я же предпочитаю быть не с гонителями,
а с гонимыми. — Других слов у меня не нашлось
для родимой моей девочки.

Так и подмывало сказать: «За меня можешь
быть спокоен, дорогой товарищ, — не слиняю:
я ведь дважды еврей Советского Союза...»
Но предпочел отмолчаться.